А. Новиков-Прибой

А.С. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» • МОСКВА • 1963

Капитан первого ранга



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Захар Псалтырев, о необыкновенной истории которого я хочу рассказать, с новобранства находился со мною в одном взводе. Мы были с ним одинакового роста и поэтому, выстраиваясь на дворе флотского экипажа для маршировки, становились рядом. Он был моим соседом и по жилому помещению. На третьем этаже большого кирпичного корпуса, в одной из четырех камер, занимаемых нашей ротой, койка Захара Псалтырева стояла третьей от моей. Таким образом, я имел возможность наблюдать за ним днем и ночью.

Помню, в экипаж он явился в домотканом коротком зипунишке, в облезлой заячьей шапке, в лаптях, с небольшим сундуком за спиной. Засунув сундук под койку, он уселся на нее, снял с кудрявой темно-русой головы шапку и распахнул зипун. Потом пытливо оглядел большими серыми глазами камеру. Длинная, она вмещала в себе более сорока коек, расставленных в два ряда, причем между каждой парой коек возвышалось по шкафу. На продольной фасадной стене висели в рамках какие-то правила для матросов, изображения золотых погон флотских чинов, патриотические лубочные картины. С другой поперечной стены, из посеребренного киота, строго смотрел на людей покровитель моряков — Николай-чудотворец. Лицо Псалтырева, обескровленное деревенской нуждой, на момент приняло выражение беспредельной тоски. Но сейчас же он расправил, словно от усталости, широкие, крутые плечи и, тряхнув кудрявой головою, промолвил:

— Ну, ладно! Начало сделано. Остается немного — только семь лет прослужить.

Кто-то из новобранцев посмеялся над ним:

— Что ж это ты явился во флот в таком наряде?

Псалтырев, не смущаясь, ответил:

— А для чего мне другой наряд? Казенное добро получу,— защеголяем.

Мы все были подстрижены нолевой машинкой. На второй день нас сводили в баню. Недели через две мы все оделись в одинаковую флотскую форму.

За это время мы перезнакомились друг с другом. Мы уже о многих знали, откуда кто пришел, какая семья у него осталась, знали, кто женат и кто холост и чем занимался дома. По праздникам у нас учений не было, но в город все равно никого не отпускали. Приходилось сидеть в камере и скучать.

Прошло две недели, как мы поселились во флотском экипаже, а некоторые новобранцы все еще с завистью относились к тем, которые по каким-либо причинам были забракованы приемочной комиссией. Тут же вспоминались разные случаи.

Захар Псалтырев, прислушиваясь к разговорам, долго молчал, а потом заявил:

— А я очень рад, что попал на службу.

Говорившие повернули к нему головы и с удивлением уставились на него.

— Что дома ел? Квас с картошкой, квас с редькой да постные щи. А здесь скоромным супом кормят и кашу дают. Я сам напросился во флот. В нашем селе Хрипунове никакой речушки нет. Воду можно увидеть только в колодцах и в лужах во время дождя. Одно лето мне все-таки подвезло. Работал батраком на Оке. Это будет от нас верст сто. Там и плавать научился и пароходы повидал. А теперь моря и океаны увижу. И уж очень мне хочется узнать, как военные корабли устроены. Может, какой-нибудь специальности обучусь.

— Черт с ней, со специальностью, лишь бы дома остаться! — сказал один из новобранцев.

Псалтырев строго посмотрел на него:

— Если так каждый будет рассуждать, то мы без армии и флота останемся. А тогда другие государства

раскромсают нашу Россию по частям и приберут к своим рукам. Хорошо будет?

Он улыбнулся и заговорил о том, как гуляли «забритые».

— Эх, и закуролесили мы напоследок! Дым коромыслом стоял! И говядинки поели. Известное дело — все родители режут для рекрутов живность. Так уж исстари повелось. И моя мать то же сделала. Были у нас три курицы и петух. Пожалела она курицу: яйца, мол, будет нести. Взяла да и отрубила голову петуху. Такого красавца больше не найти. Сильный, пером огненный. Запоет, бывало,— на всю волость слыхать. А насчет драки — во всем селе ни один не мог против него устоять. На спор я на нем целковых пять выручил. Вот до чего жалко такого петуха! Лучше бы мать овцу зарезала.

Время шло, но мы, несмотря на молодость, чувствовали себя подавленными. До рекрутчины у каждого из нас была какая-то своя особая жизнь, свои занятия, родственники, друзья, знакомые. Почти до двадцати двух лет, начиная с детства, мы жили — одни в городах, другие в деревнях,— привязанные к привычным условиям. И вдруг связь с прошлым оборвалась, и наша жизнь должна продолжаться в новой обстановке. Нас пугали стены казармы. Мы ложились спать по приказу начальства, вставали утром под игру горнистов и грохот барабанов. Без разрешения фельдфебеля мы не могли завтракать, обедать, ужинать. Инструкторы оглушали нас бранью, а мы вытягивались перед ними, выслушивая их грубые наставления. Если у кого из нас был слабо подпоясан ремень, то инструктор сам затягивал его, до боли нажимая коленом на живот. Казалось, что мы перестали принадлежать самим себе, перестали быть людьми. Все первоначальное учение сводилось к тому, чтобы в новобранцах заглушить самостоятельную мысль и превратить их в послушные и нерассуждающие автоматы. Многие из нас старались заглянуть вперед — что же будет дальше? И служба нам рисовалась нудной, как осенняя слякоть, и невероятно длинной, как этапная дорога через Сибирь.

Не унывал только Псалтырев. Его серые глаза, роговицы которых были усыпаны маленькими, как маковые зерна, сияющими точками, смотрели на все с жадно-

стью,— так хотелось ему скорее разобраться в новой жизни. Каждое движение его было неторопливо и рассчитано. А месяца через полтора он стал выявляться перед нами как исключительно даровитый человек. В самых простых вещах он видел намеки на что-то интересное, чего другим было невдомек. Всем людям, например, свойственно летнею порою любоваться цветами. А Псалтырев не только любовался, как все, но и более глубоко над этим задумывался. И в беседах с новобранцами у него возникали самые неожиданные, озадачивающие товарищей мысли.

Однажды после занятий, утомленные, мы расположились на койках. Один из новобранцев утирался носовым платком. Увидев на платке вышитые васильки, Псалтырев спросил:

— Цветы, должно быть, любите?

— Невеста на прощание подарила,— ответил тот.

— Ах, цветики-цветочки! Они для меня загадка.

Псалтырев оглядел всех и продолжал:

— Помню, оставался у меня на огороде квадратный аршин свободной земли. И посадил я на нем разные цветы. Почва была одинаковая, одинаково на нее светило солнце, и одинаково орошали дожди. А почему-то рядом росшие былинки зацвели все по-разному. На одном и том же месте пестрели красные, синие, желтые, розовые цветки. Откуда же, спрашивается, берут они свои особенные краски? С неба, что ли, или из земли? Ведь каждый из вас и на лугах видел то же самое.

Вопрошающим взглядом Псалтырев обвел присутствующих, но в ответ на него уставились недоумевающие лица. И мнение всех выразил один новобранец огромного роста и могучего телосложения. Почесав стриженый затылок, верзила мрачно пробасил:

— Вот черт! Какой дотошный!

— Чудно, правда, получается. Откуда у травы такие расцветки?— отозвался другой тоненький голосок сзади.

— Как будто какой-то невидимый художник так их разукрашивает,— добавил самый грамотный из нас.

На минуту все задумались.

А у Псалтырева уже готов другой вопрос:

— Или вот еще сохатый. Ну, чем этот лось-бык питается? Травы, прутики, кора и хвоя. Пища мягкая, а ро-

га-то какие у него бывают — твердые и крепкие, словно камень. Зимой сбросит, а за год они опять у него вырастают, да еще на один отросток прибавятся. Как и отчего каменеют рога — тоже непонятно. А ведь, наверное, есть такие ученые люди, которые все знают. Хорошо бы с таким знатоком поговорить. Спросил бы я его еще о желудке. Всякую снедь он в животе переваривает, а сам остается цел, словно чугунный. Просто диву даешься, как это он вместе с пищей сам себя не переварит. А попади он в другой желудок — тоже переварится. Вот тебе и чугун!

Так Псалтырев огорошивал нас многими странными вопросами, разрешить которые не были в состоянии ни мы, ни он сам. Его любознательность удивляла товарищей. Без устали он допытывался обо всем, стремился проникнуть в самую суть окружающих вещей. Малограмотность не мешала ему знать много песен, былин, сказок. У него была необыкновенная память. Говорил он складно, пересыпая свою речь пословицами и неожиданными сравнениями. Приходили послушать его новобранцы и из других камер. Своими сказками он отрывал нас от гнетущей действительности и уносил в мир фантазий и необыкновенных приключений. Собиравшиеся вокруг него люди то слушали, затаив дыхание, то разражались молодым, задорным смехом,— в зависимости от того, что он рассказывал.

II

Однажды вечером, после словесных занятий, инструктор Храпов подозвал к себе новобранца Филатова, дал ему пять копеек и тихонько сказал:

— Сбегай в лавочку и купи для меня фунт колбасы.

Филатов, не поняв, в чем дело, робко заявил:

— Господин обучающий, фунт колбасы стоит восемнадцать копеек.

Инструктор рассердился:

— Чубук! Исполняй то, что я тебе приказал! И принесешь мне гривенник сдачи!

Озадаченный Филатов рассказал об этом другим новобранцам.

— Брось ты этот пятачок в его поганое рыло! — посоветовал ему Псалтырев.

Но все начали возражать против такого совета.

— Ну и пойдет Филатов под суд. Хоть инструктор и маленький, а все же начальник. А начальник всегда останется прав. Этот его приемчик уже давно известен.

— Да, это, пожалуй, верно,— согласился Псалтырев.— Если часы врут, то всегда бывает виновата минутная стрелка.

У Филатова навернулись слезы. Ведь те двадцать три копейки, которые он на этой покупке должен был потерять из собственного кармана, равнялись почти половине его месячного жалованья. Но он скрепя сердце побежал в лавочку. Мы разговорились о жадности инструктора, а через минуту уже все слушали только одного Псалтырева, у которого на всякий житейский случай был свой пример.

— Чей в селе лучший дом стоит рядом с церковью? Ну, известное дело,— попа. Тот поп, о котором я хочу рассказать, был жадности непомерной. Вставал он раньше всех и будил своего работника и работницу, чтобы не ели они даром хлеба. Как-то в субботу он поднялся с кровати на заре и взглянул в распахнутое окно. Тихо. Село еще спит. Только один кривой мужичок, по прозвищу Свят-свят, хитрый-прехитрый человек, суетится что-то около поповского колодца. А прозвали этого мужичка потому так, что он был заугольшем и будто бы родился от вдового дьякона. Таращит батюшка глаза на колодец и не верит самому себе. Что же это такое происходит? Не дьявольское ли это наваждение? Или это все представляется ему во сне? Подергал поп себя за сивую бороду, ущипнул уши — больно. Стало быть, это не во сне. А с другой стороны, разве не диво, что мужичок ловит удочкой рыбу в колодце? Из окна хорошо видно, как она трепещется, когда Свят-свят вытаскивает ее наверх. Спешно натягивает поп штаны на ноги, набрасывает подрясник на плечи и выходит на улицу. Еще издали кричит мужику:

— Ты что тут делаешь?

— Карасей ловлю,— отвечает кривой мужичок и целится одним глазом на попа.

— Откуда же могут быть тут караси?

— Значит, бог послал.

Подходит поп ближе и смотрит в ведро, а в нем действительно штук двадцать живых золотистых карасей. Все как на подбор — по фунту в каждом будет. От зависти он даже задрожал. А Свят-свят вытаскивает удочкой из колодца еще одного карася и говорит:

— Теперь хватит с меня на уху.

Набросился поп на кривого мужичка за то, что наловил он рыбу в чужом колодце,— хотел отнять у мужичка добычу, а тот угрожает:

— Вот расскажу людям, что в твоем колодце караси водятся. Придут они и всю рыбу выловят. А ее тут, надо думать, пудов двадцать будет.

Отступил батюшка и просит никому об этом не говорить. Свят-свят ушел. А батюшка потом целый день провел в хлопотах: то удочки бегал искать, то лесы готовил,— для этого ему пришлось вырвать волосы из хвоста своей кобылы,— то удилища приспосабливал. А сам все время думал, как завтра, в праздник, попадья нажарит ему карасей в сметане и с каким аппетитом он будет их кушать. А у матушки в этот день случилось большое горе. Знала она, что ее батюшка любит водку, настоенную на черной смородине. А делала она это хорошо: сначала на ягодах настаивала спирт, а потом разводила его водой на любую крепость. И вот попадья приготовила такой настойки целое ведро, процедила ее сквозь сито и разлила по бутылкам. Но что делать с оставшимися ягодами? Попробовала их есть — горькие. Спиртом они пропитались. Как ни жалко было попадье, а пришлось ей эти ягоды выкинуть во двор. А там ветерком их продуло — перестали они пахнуть спиртом. Первым наткнулся на них петух. Проглотил он одну ягоду, другую — ничего. И давай созывать всех своих жен. А их у него было более двадцати штук. Набили они свои зобы наспиртовавшимися ягодами и захмелели. Веселье пошло среди них небывалое: петух качается и все время поет, куры кудахчут и тоже качаются. Некоторые из них заспорили между собой и пустились в драку,— может быть, из ревности к петуху. Другие уже на боку лежали, а продолжали голосить. Словом, закуролесили птицы, точно пьяные люди в трактире. Потом одна за другой начали замолкать, и все подохли.

Попадья до того расстроилась, что прямо волосы на себе рвет. Какой убыток! И кушать кур нельзя — дохлые. Приказывает она кухарке ощипать их, чтобы хоть не пропали перья. Та сделала свое дело, сложила птичьи тушки в переулок и крапивой прикрыла. Забоялась, что на дворе они могут загнить и нехорошо будут пахнуть. А в переулке авось за ночь собаки растащат их.

Случилось это вечером под воскресенье. Поп ничего не знал о курах и всю ночь думал только о карасях. Встал он на заре, осмотрел все вокруг двора, не подглядывает ли кто, и пошел к колодцу. А кривой мужичок Свят-свят встал еще раньше и побежал по селу. Будит он народ и говорит каждому:

— Наш батюшка с ума спятил.

— А ты откуда об этом проведал?—спрашивают его.

— Удочкой ловит рыбу из своего колодца. Кто же в здравом уме будет это делать?

Взбаламутились мужики и бабы и заторопились к поповскому дому. Кто из-за угла, кто с огородов смотрят они на своего батюшку. А тот действительно запускает в колодец удочки. Никаких карасей, конечно, там не было. Ведь кривой мужичок Свят-свят наловил их в озере, а не в колодце. Надул он попа. Долго батюшка возился с удочками и с досады плевался: хоть бы одна маленькая рыбешка попалась. Заметил он, что мужики и бабы глазеют на него, сконфузился и побежал в свои хоромы.

Скоро заиграл на рожке пастух, и со всех дворов стали выгонять скотину. Бабы высыпали на улицу, и тут уже все, от малого и до старого, узнали, что поп свихнулся. Когда заблаговестили к заутрене, весь народ повалил в церковь, чтобы посмотреть, что будет делать взбесившийся поп. Но в этот день никто не попал в божий храм. Около него началось что-то невиданное. Оказалось, что поповские куры не сдохли, а были только пьяными до бесчувствия. Ну так же, как это бывает с человеком,— другой напьется водки до того, что пластом лежит и еле-еле дышит. А у кур кто же заметит дыхание? И вот эти «дохлые» птицы за ночь отрезвели и воскресли из мертвых. Вот тут-то и пошла потеха. Петух не узнает своих жен, куры не узнают своего мужа и своих подруг. Ведь им никогда не приходилось видеть себе подобных голыми, без единого перышка. В испуге, с криком шарахают-

ся они друг от друга в разные стороны, словно тоже спятили с ума. А народ животики надрывает от смеха, улюлюкает. Попадья приказывает работнику и работнице переловить кур и порезать их. Да разве такую уйму скоро переловишь? Про церковь все забыли. Тут уж не до нее, коли на улице такое представление идет, какого не увидишь ни в одном цирке. Церковный сторож сказал об этом попу. Тот прямо в ризе и с кадилом в руке выскочил на паперть. Как глянул он, что делается на улице, глаза у него на лоб полезли: визг, хохот, крики, голые куры туда и сюда мечутся, а за ними его работник и работница гоняются изо всей мочи. Перекрестился поп и понесся прямо в ризе к себе домой. А кривой мужичок Свят-свят кричит ему вслед:

— Подожди, батюшка! Давай карасиков в колодце половим!

До самого полдня народ не расходился и даже вспотел от хохота.

Наконец всех кур зарезали. Но что с ними делать дальше? В погребе у попа не было снега, а так они могут протухнуть. Батюшка с матушкой надумали зажарить сразу всех кур и от жадности так наелись, что оба заболели животами. А народ уверился, что не только поп, но и попадья сошла с ума. С той поры перестали ходить в церковь. Решили, что через такого попа никакая молитва не дойдет до бога.

После того как новобранцы посмеялись, я спросил Псалтырева:

— Откуда, Захар, ты столько знаешь сказок и песен?

Он охотно объяснил:

— От бабушки. Она первая сказочница на селе. И плакальщицы такой нигде не сыскать. Ее на свадьбы часто приглашают — поплакать по невесте. Вот уж начнет причитать — кажется, камни прослезятся.

— А почему фамилия у тебя церковная? Отец у тебя не псаломщик?

Захар Псалтырев усмехнулся:

— Почти что... Когда-то он мог железную кочергу скрутить, как веревку. Да простудился, ревматизм нажил себе. С клюкой стал ходить. Работать ему стало не под силу. Приспособился он псалтыри по покойникам чи-

тать. Вот и дали ему прозвище — Псалтырев. А писарь, истукан, и меня по уличной кличке записал. А ведь как говорится: дурак завяжет — и умный не развяжет.

Подумав немного, Захар добавил:

— Жаль отца. Трудно теперь ему без меня. Все хозяйство теперь лежит на матери да на младшей сестренке. А человек он с головой. Сам научился грамоте и меня научил. Сначала я мог только по-славянски читать. Потом мне попался оракул и сонник. Вот по ним-то я научился и другие книги читать, то есть не церковные. Только мало их у нас в селе, книг-то.

Захар был худ, но обладал такой широкой костью и такими мускулами, что с ним никто не мог бороться. Двухпудовой гирей он забавлялся, как мячиком, подбрасывая ее до двадцати раз подряд выше головы и не давая ей упасть на землю.

Вскоре в нем обнаружилась еще одна особенность: страсть перенимать всякое дело самоучкой. Товарищи по службе удивлялись, как ловко он подшивал им сапоги, не будучи никогда сапожником, перекраивал казенные брюки и фланелевые рубахи, прилаживая их под рост тех, кем они были получены. К любому замку он мог сделать новый ключ вместо потерянного, умел починить остановившиеся часы. А разобрать на части винтовку и снова собрать ее для него ровно ничего не стоило. Это он мог бы сделать даже с завязанными глазами.

— Цепок на всякую работу! Золотые руки! — отзывались о Псалтыреве его товарищи.

— Вот бы такому парню да образование дать,— далеко бы он пошел! — восхищались многие, глядя на то, как под складным ножом Псалтырева простая деревянная чурка постепенно превращалась в модель корабля. Это было в недолгие часы отдыха.

Но ничего нельзя было изменить в те однообразно жуткие часы, когда до способностей Псалтырева не было никому никакого дела. Большого начальства мы еще не знали, а маленькое только калечило нас по-своему... Помимо старшего инструктора, нас обучал строевому делу его помощник, младший унтер-офицер Карягин. Такая фамилия никак не подходила к этому маленькому, рыжему, осыпанному веснушками человеку. Худой и малосильный, он вместе с тем обладал чрезвычайной

подвижностью и беспокойным характером. Он никого не бил, но мучил нас до изнеможения. По его приказанию мы во время учений на дворе ложились в грязь. Иногда мы бегали по двору до тех пор, пока от нас, как от загнанных лошадей, не начинал клубиться пар. Все это казалось нам лишним и ненужным, как было не нужно держать винтовку на прицеле до дрожи в руках.

Псалтырев однажды сказал о Карягине:

— Такие же вот тощие бывают клопы в заброшенной избе. Поглядеть на них — одна шкурка осталась. Но не дай бог человеку к ним попасть — заедят.

Новобранцы зло посмеялись над таким сравнением, но кто-то из них передал об этом Карягину. Он стал придираться к нам еще больше. В особенности доставалось Псалтыреву. В своей мести помощник инструктора всячески изощрялся над ним.

— У тебя нос не в порядке — прочисти!

Мы продолжали свои строевые занятия, а Псалтырев, выделенный из взвода, стоял на отлете и в продолжение десяти — пятнадцати минут громко сморкался. Это повторялось изо дня в день. Кроме того, Карягин придирался к нему, что он будто бы не умеет отдавать честь, и придумал для него особое учение. Он заставлял Псалтырева проходить мимо столба, стоявшего во дворе, и козырять дереву, как офицеру. При нашем экипаже жил лохматый пес из дворняжек, по кличке Триссель. Старый, с поврежденным позвоночником, он не мог уже бегать. Карягин становился в конце двора и манил Трисселя к себе. Пес послушно шел на зов, неуклюже расставляя задние ноги. Псалтырев должен был идти ему навстречу и за три шага становился во фронт, словно перед адмиралом.

Карягин выкрикивал звонким тенором:

— Плохо, Псалтырев! Отставить! Повтори!

И снова начиналась комедия, над которой, однако, никто из нас не смеялся. Это было выше нашего понимания, особенно после пространных разговоров на уроке словесности о высоком значении офицерского чина. Как же это так? Нам настойчиво внушали самое глубочайшее уважение к начальству вообще, а тут выходило наоборот: адмиральские почести воздавались какой-то паршивой собаке. В наши головы, забитые строжайши-

ми правилами чинопочитания, Карягин своими выходками вносил сумятицу. Мы были наивны, и никто из нас не знал, что и подумать о таком, как казалось нам, кощунственном нарушении дисциплины.

III

Каждый из нас, будучи еще в деревне, много понаслышался об Иоанне Кронштадтском. Слава о нем гремела по всей стране. Почти в каждой избе среди икон можно было увидеть его портрет. Этот священник заживо был зачислен в бесконечный сонм святых. О нем писали в газетах, а устная молва разносила, что он может изгонять из женщин бесов и вообще творить всякие чудеса. Был случай, когда буйно помешанный будто бы сразу же вылечился от одного только его благословения. Кроме того, он считался ясновидцем. Достаточно человеку лишь о чем-нибудь подумать, как он узнавал его мысли. В необыкновенную силу этого священника люди верили, ему молились, и каждый просил о своем: хворые — об исцелении от болезней, преступники — о прощении грехов, богатые — о ниспослании еще большего богатства, бедные — об избавлении от голода, бесплодные — о нарождении детей, нелюбимые — о любви. И как магометане в Мекку, так и православные со всех концов России тянулись в Кронштадт, чтобы присутствовать при богослужении отца Иоанна. От наплыва людей в этот город хорошо богатели хозяева гостиниц.

Иногда матросы назначались начальством для охраны священника. Выйти ему из боковой двери Андреевского собора и пройти до кареты, стоявшей за оградой, было очень трудным делом: богомольцы, бросаясь под благословение отца Иоанна, могли сбить его с ног. Вот здесь-то и требовалась помощь со стороны солдат или матросов. Они выстраивались в две шеренги, одна против другой, и, ухватив друг друга за руки, образовывали собою коридор. В такой коридор могли проникнуть только богатые люди, подкупив полнотелую женщину Снигиреву, «батюшкину овцу», как она сама себя величала, или проворного белокурого псаломщика.

Старые матросы по этому поводу смеялись:

— Выходит, что без денег так же нету тебе божьей благодати, как и хорошей выпивки и закуски в трактире.

От них же мы узнали, что Иоанн Кронштадтский очень богатый человек. Ему шлют деньги со всех концов России. Секретарь его ежедневно ходит с большой кожаной сумкой на почту и получает там мелкие и крупные переводы. Правда, когда отец Иоанн едет в коляске, то разбрасывает нищим медные и серебряные монеты, но это все делается больше для славы. Крупные суммы остаются при нем. Он имеет собственный дом, выезд и пароход. Какой же это святой? Вся эта критика, услышанная нами от старых матросов, сопровождалась страшной руганью.

Один из новобранцев нашего взвода, метко прозванный Стручком, был высок, тонок и сутул. Судя по его гибким и нежным рукам, он никогда не занимался физической работой. Во время молитвы в роте он отличался большим усердием и, обладая хорошим баритоном, очень красиво пел. В его синих, как весеннее небо, глазах светились наивность и задушевная простота. Но за этими располагающими внешними признаками в нем скрывалась большая хитрость. Как только он заявился в экипаж, то первым делом подарил инструктору Храпову серебряные часы. Тот ко всем новобранцам относился с особой жестокостью, а к нему сразу же проникся любовью. У Стручка было много денег, и каждую неделю появлялись новые карманные часы. От родителей он ничего не получал. Откуда же у него такие доходы? И только, поживши с ним, мы узнали, в чем дело. Это был мошенник-профессионал. С неподражаемой ловкостью он, как выражаются матросы, «запускал водолаза» в чужие карманы. Но, как волк не беспокоит скотины той деревни, вблизи которой он проживает, так и этот новобранец никогда не позволял себе обидеть кого-либо из своих людей. Наоборот, он старался всячески ублажать нас.

Под видом набожного человека он каждый праздник отпрашивался у инструктора в Андреевский собор, где обыкновенно отправлял свое богослужение Иоанн Кронштадтский. Храпов охотно отпускал Стручка. Мы оставались в роте и скучали. Как дети ждут ласкового отца с базара, зная, что он привезет им подарки, так и мы с нетерпением поглядывали на дверь. Появление Стручка было для нас большой радостью. Он приносил

карманные часы, бумажники, портмоне. Инструктор Храпов получал от него денежную награду. Не оставались и мы в обиде: для нашего взвода он покупал пуд баранок, полпуда колбасы, полведра водки, наделяя при этом каждого доброй горстью конфет. Новобранцы, изголодавшиеся на казенных харчах, с жадностью набрасывались на еду и водку. Если у Стручка выручка была особенно солидной, то пиршество продолжалось два дня. Товарищи, подвыпив, хвалили его на все лады:

— Ты наш благодетель.

— Пошли, господи, многолетней жизни тебе и отцу Иоанну.

— Без тебя, Стручок, где бы мы могли отведать такое кушанье? Да еще с выпивкой.

Стручок добродушно посмеивался, прищурив невинные синие глаза. Он жил среди нас аристократом. Всеми почитаемый, он выходил только на учебные занятия, но никаких казенных работ не выполнял и даже не стирал для себя белье. Все это делали за него другие новобранцы. Инструктор Храпов, пользуясь его подачками, во всем ему потворствовал.

Однажды Псалтырев спросил его:

— Не грех тебе заниматься в церкви такими делами?

Стручок спокойно возразил ему:

— Пойдем как-нибудь со мной к обедне,— я тебе покажу настоящих грешников. Ты сразу поумнеешь.

Мы с Захаром Псалтыревым имели к Андреевскому собору двойной интерес: хотелось увидеть священника, совершающего чудеса, и работу Стручка.

В один из праздников, по ходатайству Стручка, Храпов отпустил нас в церковь. Для нас это был удачный день: в Андреевском соборе служил сам Иоанн Кронштадтский. По этому случаю в храме собралось столько народу, что с трудом можно было передвинуться с одного места на другое.

Сначала мы стояли втроем недалеко от алтаря. Потом Стручок, чтобы не подвести своих товарищей, начал понемногу отодвигаться от нас. Мы с волнением следили за ним и за алтарем.

Наконец, блестя золотой ризой с голубой вышивкой, появился на амвоне отец Иоанн. По всему храму, слов-

но от порыва ветра в лесу, пронесся сдержанный шорох. Тысяча рук взметнулась,— люди стали креститься. Молился и сам священник. Он был среднего роста, худощав, с русой бородой, с жиденькими волосами, выбившимися на затылке поверх ризы. Но во взгляде его светло-серых глаз было что-то суровое и настойчивое. Возглашая молитву, он как-то странно всхлипывал и произносил каждое слово резко и нервно, как будто отрывал его от своего горячего сердца. Казалось, что он беседует с живым богом, которого никто, кроме него, не видит. Но в то же время не верилось, что это был тот самый священник, слава о котором гремела по всей Руси. Может быть, потому, что мы успели наслышаться от старых матросов немало насмешек о его делах, у меня невольно возникал вопрос: что это за человек? Действительно ли он обладает чудодейственной силой или просто занимается шарлатанством? Верит ли он сам в свои чудеса? Справа, недалеко от нас, около какого-то купца, стоял Стручок. Когда мы взглянули на него, он приподнял левую бровь. Это, как мы условились, означало, что чей-то карман был им уже очищен. Он стал передвигаться дальше, боясь, очевидно, что обворованный человек, спохватившись, может его задержать. Но могло быть у него и другое соображение: он наметил себе новую жертву. А момент для этого был самый удобный: внимание всех молящихся настолько сосредоточилось на священнике, что они не замечали чужой руки, шарившей в их карманах. Я испытывал двойственное отношение к отцу Иоанну: мне хотелось верить в его священнодействие, и, наряду с тем, меня разъедало сомнение. Если он ясновидец, то почему бы ему сейчас не изобличить этого мошенника? Он должен бы повернуться к народу и громогласно крикнуть:

«Православные! Среди вас есть один человек, по прозвищу Стручок. Это — карманник. Он забыл бога и потерял свою совесть. Вот там он стоит в матросской форме. Один богомолец уже пострадал от него...»

Это произвело бы на всех потрясающее впечатление. Самые отъявленные скептики поверили бы в чудеса отца Иоанна. Но он, как ни в чем не бывало, продолжал свое богослужение, а Стручок, оглянувшись на нас, второй раз приподнял левую бровь.

В соборе пахло ладаном. Перед иконами горели свечи, освещая нарядные лики святых. Множеством огней сверкала богатая люстра. Отец Иоанн скрылся в алтаре. С амвона провозглашал ектенью дьякон, громадный и пышноволосый. С его раскатистым басом как бы перекликался налаженный хор, наполняя храм стройным пением. Все это располагало мирян к молитве и надежде.

Наступил самый напряженный момент, когда все приготовились к всеобщей исповеди. Отец Иоанн вышел на амвон, постоял с минуту перед алтарем, сосредоточенно глядя на царские врата, словно вдохновляясь божественной силой. Внезапно его плечи вздрогнули. Он порывисто повернулся к народу и, нахмурив брови, молча осмотрел всех, грозный, как судья. Тысячи человеческих грудей, раздавленных тяжестью грехов, перестали дышать. Стало так тихо, как будто весь храм сразу опустел. Казалось, не отец Иоанн, а кто-то другой взволнованно заговорил за него, необыкновенно строгий и повелительный, не допускающий никаких сомнений:

— Братие во Христе! Я — немощь, нищета; бог — сила моя. Это убеждение есть высокая мудрость моя, делающая меня блаженным. И вы станете блаженными, если избавитесь от грехов своих. Будьте искренни на исповеди. Господь бог наш бесконечно милосерд, он все простит. Кайтесь в содеянных вами грехах.

Он замолчал и, ожидая покаяния мирян, стоял в такой позе, словно приготовился взвалить на свои плечи непомерную тяжесть чужих преступлений.

Какая-то женщина громко взвизгнула:

— Батюшка!

И вслед за этим, словно по сигналу, весь храм наполнился гулом голосов. Это был вопль не менее трех тысяч человек, опускающихся на колени. Казалось, закачались стены Андреевского собора. Я взглянул на Псалтырева. Упрямо наклонив голову, он удивленно озирался, точно бык, попавший не в свое стадо. Чтобы не выделяться среди других людей, мы тоже опустились на колени. Кругом происходило какое-то безумие. Ни в одном доме для умалишенных нельзя услышать того, что происходило здесь. Лишь немногие каялись тихо, а остальные как будто старались перекричать друг друга. Очевидно, им хотелось, чтобы священник услышал их сло-

ва,— иначе душа не очистится от грехов. В этом разноголосом гаме можно было понять только тех, кто находился ближе к нам. Рыжебородый купец, мотая головой, признавался:

— Я застраховал свои товары, а потом сам же их поджег. Мне досталась большая страховка. А за меня пошел на каторгу мой сторож.

Пожилой чиновник бил себя в грудь и стонал:

— Грешник, батюшка, я изнасиловал десятилетнюю девочку.

Лысый человек, похожий на ломового извозчика, выкладывал свой грех с надрывом:

— Я спьяна избил свою жену, а на второй день она умерла. И теперь не могу забыть своего горя...

Молодой деревенский парень, несуразно широкий, с уродливым лицом, хрипел, как в бреду, о том, что он занимается скотоложством.

Около нас худая женщина рвала на себе волосы, колотилась в истерике и вопила:

— Батюшка! Я собственными руками задушила своего ребенка. Сердце мое почернело от греха... Нет мне больше жизни...

Некоторые фразы долетали до нас издалека, и мы не видели, кто их произносил:

— Я родную мать уморил голодом...

— На суде под присягой я был лжесвидетелем...

— Из-за меня удавился мой родной племянник...

Чем дальше шло покаяние, тем сильнее было от него впечатление. Очевидно, к отцу Иоанну съезжались люди, может быть, почитаемые и уважаемые дома, но втайне подавленные ужасными грехами. С высоты амвона он мрачно смотрел на свое коленопреклоненное человеческое «стадо», собранное из непойманных преступников. Что он думал в это время? На его окаменевшем лице не было никаких признаков брезгливости перед мерзостью, извергаемой устами трех тысяч людей. Может быть, он привык к этому, и никакая, самая жуткая, тайна человеческого бытия его уже не удивляла. Но нам было страшно. Здесь, в этом прославленном храме, никто не говорил о каком-нибудь добром поступке. Каждый выворачивал свою душу наизнанку, и сочилась она, как запущенная рана, смердящим гноем. Даже в вооб-

ражении нельзя было нарисовать себе то, что выкладывалось на всеобщей исповеди. Казалось, вся человеческая жизнь состоит из одних только подлостей.

Началось причастие. Люди, приняв его, будут считать себя очищенными от грехов. Потом они разъедутся по домам, чтобы снова творить свои гнусные дела.

Мы с Псалтыревым вышли из храма.

От ограды собора, около которой уже стояла карета в ожидании отца Иоанна, и до самого его дома вытянулись ряды нищих и калек. Тут были безрукие, безногие, слепые и всевозможные уроды. Они ждали того момента, когда рысак помчит карету. С нее священник одной рукой будет благословлять их, а другой — бросать им медные и серебряные монеты.

— Больше я не ходок в эту церковь,— задумчиво сказал Псалтырев.

— Почему? — спросил я.

— Тошнит, точно я мух наглотался.

Он кивнул головою на калек и заговорил:

— Посмотри на них. Хоть сто раз встречайся они с Иваном Кронштадтским, а все равно у безногих не вырастут ноги, безглазые не станут зрячими, уроды не превратятся в красавцев. Будто бы с божьей помощью он творит чудеса, а такого пустяка не может сделать. Выходит — бог создал солнце, звезды, землю, людей, а помочь этим несчастным у него оказалось силы нет. Нет, брат, тут что-то не то.

К нам присоединился Стручок, весело ухмыляясь.

— Ну, как сегодня твоя выручка? — спросил у него Псалтырев.

— Подходящая. Дома подсчитаем. Идем скорее, есть хочется.

И мы втроем, дыша свежим морозным воздухом, быстро направились в экипаж.

IV

Нас, шесть человек новобранцев, отрядили на кухню чистить картошку. Занятие надоедливое. Время приближалось к полуночи, а у нас работы оставалось еще часа на два. Руки устали, и после дневных учений всем хотелось скорее добраться до своих коек. Но нас развлекал Захар Псалтырев. У него был неистощимый за-

пас разных сказок, легкомысленных и серьезных. Иногда мне казалось, что некоторые из них он сам сочиняет или, во всяком случае, рассказывает по-своему.

— А то вот еще было какое происшествие,— начал Псалтырев ровным и спокойным голосом новую сказку.— После смерти встретились две души. Известное дело,— на тот свет ничего с собою из нарядов не возьмешь. Обе души были голые. Так что нельзя было понять, какое место каждая из них занимала на земле. Только потом выяснилось, что одна душа вышла из царского тела, другая — из тела самого бедного мужика. Перед ними одна только дорога, и похожа она на длинный, бесконечный мост. Других путей никаких нет. Кругом ни леса, ни речки, ни земли — одна пустота. Идут они этой дорогой и никуда свернуть не могут. Обоим скучно стало. Первым заговорил бедняк:

— Ты куда шествуешь, добрая душа?

— Куда дорога приведет. А ты? — спрашивает царь.

— Я тоже. Стало быть, мы с тобой попутчики.

— Да, выходит, так,— неохотно буркнул царь. Он еще не привык, чтобы с ним разговаривали без разрешения, и потому был недоволен.

Мужик хоть и бедный был, но любил поговорить и обо всем полюбопытствовать. Может быть, земляка встретил? И вот пристал он к царю с расспросами:

— Долго жил на земле?

— Сорок лет.

— Что так мало?

— И сам не знаю,— отвечает царь.

— Может быть, на работе надорвался?

— Я совсем не работал.

— Значит, без работы остался? Не с голодухи ль помер?

Сравнение с безработным, как крючком за печенку, задело царя, и он отвечает бедняку:

— Ошибаешься, грубый человек. Еды я имел столько, что некуда было девать. Около меня сколько еще людей кормилось! Мне доставляли пищу со всей нашей страны. Даже из-за границы привозили ее. Тысяча человек была занята тем, чтобы ублажать меня и мою семью. У меня были самые ученые повара, и они трапезу готовили для меня из самых лучших продуктов. Сре-

ди зимы я мог есть свежую малину, землянику, яблоки, груши, виноград. Не было на всей земле такого кушанья, какое мне отказали бы подать. А вина какие я пил! Самые дорогие. И наливали их мне в хрустальные бокалы. А разные яства подавали мне на серебряных и золотых блюдах. И пока я обедал, играла музыка. Вообще только было бы у меня какое желание,— все для меня делалось.

— Да,— удивляется мужик,— пожил, видать, ты хорошо. А все-таки в сорок лет скончался. Вот и у нас был такой случай. Недалеко от нашего села жил помещик. Считался первым богачом во всей округе. Земли и леса у него было — за неделю не обойдешь. И скотины он имел больше, чем было во всем нашем селе. А скотина какая! Племенная! И хоромы с садом были на славу. Одним словом, ни в чем нужды не имел. И вот он влюбился в одну бабенку. И бабенка-то была невзрачная — тоненькая, черненькая, на цыганку похожая. Присушила она его, что ли? А только, как познакомился с нею, закуролесил наш барин. Каждый день у него пошли пиры — танцы, выпивка, музыка, игра в карты. Через два года все просадил. Пришли заимодавцы и выгнали его из дому. Даже негде было ему приютиться. Последнюю одежонку спустил на водку. А тут наступили холода. И пришлось ему валяться под забором. Ну, значит, простудился и помер. Наверно, и с тобой так случилось?

Царь даже обиделся и говорит:

— Либо ты настоящий дурак, либо притворяешься дураком. Да у меня разной одежды осталось столько, что можно было бы одеть целый полк. И такой дорогой одежды никто не имел. И собственные дома остались— не дома, а каменные палаты. В них сотни комнат. Если бы ты увидел, как они убраны и как украшены, ослеп бы от блеска. Кроме всего, я был первым богачом. Все мои подвалы загружены золотом...

Бедняк перебил царя:

— Эх, вот это жизнь! Ничего не делай, а богатства пропасть. Ешь и пей, что твоей душеньке угодно... Радуйся, да и только!

— А мне скучно было,— говорит царь.— Все мне надоело: и почести, и богатство, и пища. Доходило до того, что я и сам не знал, чего мне еще хочется.

Бедняк подумал и говорит:

— Не могу понять: при таком богатстве и так рано ты помер. Я бы на твоем месте тыщу лет жил. Лекарей, что ли, не было около тебя поблизости?

— Были. И какие! Самые отборные, самые ученые. Как только я родился, меня окружили доктора. С тех пор они следили за каждым моим шагом. По их совету я спал, ел, пил, прогуливался. Разных лекарств и снадобий я за свою жизнь принял — счета нет! И заморские доктора приезжали лечить меня. А вот ничего не помогло — я помер.

Бедняка еще больше любопытство заедает:

— Может быть, ты нехристь и ни разу в церкви не молился?

Царь отвечает:

— Ты какой-то чудак. Да ежели хочешь знать, церковь у меня находилась прямо в палатах, а службу справляли в ней архиереи да митрополиты. Это тебе не простые попы! Я мог заставить их служить за меня молебен в любой час. Я по нескольку раз в году исповедовался и причащался. И во многих монастырях мне приходилось бывать. Не раз прикладывался я к святым мощам. И не только я один молился. Со дня моего рождения за меня молились все церкви, все монастыри и больше ста миллионов моих подданных. А когда я захворал, то печальный звон раздавался по всей моей стране. О моем выздоровлении служили молебны и богу, и сыну божию, и богоматери, и всем святым. Не только в церквах, но и во всех домах горели свечи и лампады перед иконами. Да ведь я сам — помазанник божий. А вот — ничто не помогло. Пришла смерть.

— Погоди,— говорит крестьянин.— Кем же это ты на земле был?

— Царем-самодержцем!

— Ах, вот оно что!.. Ты, значит, царем был. Так, так. Ну, понятно: тут, конечно, тебе всего вдоволь хватало. Это ты верно говоришь, что за тебя все молились. Когда нам поп объявил, что ты захворал, то и я пошел в церковь. И моя свечка за тебя горела у Николая-угодника. А теперь выясняется, что впустую я истратился тогда. Да... А прожил ты все-таки маловато: сорок лет. Совсем пустяк! Получается, что и должность-то у тебя была незавидная.

Оба немного задумались. Потом царь спрашивает бедняка:

— А ты сколько жил на земле?

— Хватит с меня,— накинь на сотню пять годков.

— Сто пять лет!—удивился царь и хотел было остановиться, но какая-то невидимая сила толкнула его вперед.

— Я бы и еще пожил, да нанялся у одного торговца лес рубить. Сколько я за свою жизнь лесу свалил! Все сходило благополучно. А тут сплоховал — прихлопнуло меня деревом.

Теперь царь пристал с расспросами к мужичку, как он жил, да что кушал, да на чем спал.

— Богатым я сроду не был. Наше дело крестьянское,— работай всю жизнь, и больше ничего. Избенка у меня осталась шесть на шесть аршин. Да и та сгнила вся,— все равно через годок-другой развалится. Прижили мы с женой двенадцать человек детей. Она была у меня баба исправная, почти каждый год рожала по ребенку. Трое детей померли маленькими, а остальных всех вырастили. Двух дочерей выдал замуж. Один сын погиб на военной службе. Будто он офицера оскорбил и пошел за это на вечную каторгу. Понять нельзя, как это мой сын мог оскорбить офицера? Уж такой был тихий да работящий малый. Остальные сыновья все живут. А у меня такое было правило: как сравнялось сыну двадцать лет, так катись от меня на все четыре стороны. Пусть сам себе зарабатывает на пропитание. Только самого младшего оставил при себе. Думал, поможет мне на старости лет. Да ничего из этого не получилось. Как-то раз поехали мы с ним в город. Дело было летом. Жара стояла несусветная. Встретились нам подгулявшие купцы. Захотели они позабавиться над моим сыном: уговорили его за двугривенный на солнце смотреть и не мигать. С полчаса он глаз не закрывал, а может, и больше. Уж очень ему хотелось получить двугривенный. Ведь вот какой дурак оказался! Двугривенный он получил и тут же залился горькими слезами: ослеп на всю жизнь. Пришлось мне его кормить... Спрашиваешь, на чем я спал? Да как придется: на печке, на полатях, на лавке. Подстилку сплел из болотной травы. Бывало, постелешь ее, шубенку под голову положишь, дерюгой накроешься — и храпишь себе во все носовые за-

вертки. Да ведь за день так умаешься, что и на голых дровах проспишь. А насчет еды — что можно сказать? Харч у нас известно какой: квас с редькой, квас с капустой, щей с хлебом похлебаешь. Больше на картошку наваливались. Каша у нас редко бывала. А мяса разве только на пасху да в престольный праздник отведаешь...

Царь спрашивает:

— Что ж ты так бедно жил?

— Да не везло мне: то пожар, то скотина сдохнет. А главное, земли не хватало. По четверти десятины на мужскую душу. А на женскую совсем не давали. Да и земля была неважная. Что с нее возьмешь? Но я все-таки доволен остался своей жизнью. Пусть кто другой пустит такую поросль, какую я пустил из своей избенки; дождался и внучат и правнуков. У них, наверно, лучше будет жизнь. Говорили, от помещичков хотят землицы прирезать крестьянам. Бывало, раздумаешься об этом, водочки хватишь — и так тебе станет весело, что песни поешь.

Царь выслушал бедняка и долго молчал. Все о чем-то думал. А потом давай ругаться:

— Ах, негодяи! Ах, подлецы!

— Кого это ты так кроешь? — спрашивает бедняк.

— Обманщиков. Верил я им. А они надули меня. Все мне лгали: и министры, и генералы, и судьи, и советники, и духовенство. О господи! Если бы можно вернуться на землю! Переиначил бы я всю свою жизнь. Все свои богатства я роздал бы беднякам, а сам ушел бы в народ. Стал бы я трудиться, как и все крестьяне мои, чтобы сто лет прожить.

А бедняк смеется,— не верит царю:

— Это ты только теперь так говоришь. А верни тебя на землю — опять по-старому будешь царствовать. Разве сам человек откажется от такого богатства да от почета? И работать ты не будешь — избаловали тебя. Ведь земля, кормилица-то наша, она любит, чтобы человек поливал ее своим пòтом. А ты, поди, потел только в бане, когда на полкê парился. Да и к нашей крестьянской еде тебе не привыкнуть... Да что там толковать! Хоть ты и говоришь, что на земле все тебе надоело, а все ж таки ни за что ты не расстанешься со своим престолом.

Царь даже заплакал и начал клясться:

— Если я вру, то пусть сейчас же поразят мою душу громы небесные...

Как только он это сказал, сверкнула молния и такой ударил гром, какого никто не слыхал на земле.

Царь проснулся и долго не мог прийти в себя: дрожит, как в лихоманке, весь холодной испариной покрылся. А потом опомнился. Вовсе он не помер! Все это ему приснилось. Он огляделся. Роскошная палата. В одном углу иконы в золоте и бриллиантах. Перед ними неугасимые лампады горят. Около царской кровати доктора суетятся. Один из них обращается к нему:

— Вы бредили, ваше императорское величество. Выкушайте ложечку вот этого лекарства. Оно хоть и горькое, но очень помогает. Потом проглотите вот эти две пилюльки. Минут через десять я дам вам еще одно снадобье. Его только что доставили нам из-за границы.

Царь с тоской посмотрел на доктора и поморщился. Вот уже вторая неделя пошла, как доктора надоедают ему.

— Подождите,— слабо отвечает царь.

В стороне стоят духовные лица: митрополит и архиерей. Они смотрят на иконы и молятся. Митрополит приближается с дарами к царю и говорит:

— Разрешите, ваше императорское величество, еще раз причастить вас и пособоровать.

Царь и ему так же отвечает:

— Подождите.

То, что он увидел во сне, сильно повлияло на него. Приказывает духовным лицам и докторам удалиться. А вместо них созывает к себе всех министров и высших советников. А когда те явились, он спрашивает их:

— Есть ли в моем царстве мужики, которые живут по сто лет?

Они хором отвечают ему:

— Есть такие, что и больше живут.

— А молится ли за меня мой народ? И что теперь делается в церквах и в монастырях?

Тут самый главный министр начинает докладывать ему:

— Вся страна вторую неделю молится за вас, ваше императорское величество. Нет ни одной церкви, где не

служили бы за вас молебны. Весь народ в слезах и в большой печали.

Царь приказал подвинуть к кровати стол, а на него поставить чернила, положить бумагу и перо. Хотел он указ написать. И тут он нахмурил брови. Проходит час, другой, а он все думает и думает. Министры стоят и ждут царского повеления. Ждут сутки, ждут другие. Хочется им и есть и спать,— прямо с ног валятся, а уйти без его разрешения нельзя. А он молчит. И только на третьи сутки говорит им:

— Хорошо. Пусть все останется по-прежнему. Уходите.

Министры удалились и ничего не поняли, для чего царь созывал их и к чему он такие слова сказал.

И опять доктора начали пичкать его разными снадобьями. Митрополит еще раз причастил его и пособоровал. Царю становилось все хуже и хуже. А на второй день он умер по-настоящему.

Когда Псалтырев замолчал, я спросил его:

— А эту сказку тоже от бабушки слышал?

— Нет. Слышал я ее, когда мне было лет пятнадцать. Однажды ночевал у нас странник. Оказался занятный старик. Всю Россию вдоль и поперек исходил он в лаптях. Мой отец израсходовал на него целую бутылку водки, а он всю ночь нам рассказывал. О чем ни спроси у него — все он знал: как золото из земли добывают, чем лечиться от укуса змеи, какие травы бывают лечебные, из чего мыло делают. И сказки его не были похожи на наши деревенские. Позавидовал я тогда этому страннику. Вот бы и мне так походить по Руси. Сколько бы я мудрости набрался!

Сказка Псалтырева нам понравилась. Разговор зашел о странниках. Мне тоже приходилось не раз встречаться с ними на базарах и ярмарках, в трактирах и крестьянских лачугах. Под разными личинами бродили они по кривым, захолустным русским дорогам, одетые или в монашеские рясы, или в зипуны, или в залатанные рубища городского покроя. Одни из них сеяли среди лапотной деревни суеверия, поддерживали у измученных непосильным трудом людей наивную веру в чудеса и помощь святых угодников. Другие,— как пчелы с цветка собирают пыльцу,— впитывали в себя народную

мудрость и заветные надежды, выраженные в сказках и в задушевных песнях, и, как пчелы пыльцу, несли эту плодоносящую мудрость в народ. Лапотная Россия, лишенная школ и книг, подбирала крохи социальной правды от таких именно странников. Поэтому они всегда в деревне были желанными гостями, всегда им были готовы ночлег и душевное радушие хозяев.

V

За период новобранства выпал и на мою долю такой вечер, который навсегда остался в моей памяти.

Наш флотский экипаж осветился газовыми рожками. Мы, новобранцы, только что кончили занятия с ружейными приемами. Все чувствовали себя переутомленными. Хотелось отдохнуть, но уже просвистала дудка дежурного по роте, а вслед за нею раздалась команда:

— На словесность!

Новобранцы нашего взвода, в котором насчитывалось сорок человек, бросились по этой команде к месту учения и расселись по передним койкам. Стало тихо. Только на дворе выла вьюга, залепляя снегом окна. Пользуясь отсутствием инструктора, новобранцы робко озирались. Лица у всех были пасмурны, в глазах отражалась гнетущая тоска.

Рядом со мной уселся новобранец Капитонов, рослый парень, угловатый, низколобый. Он согнулся, съежился, словно старался стать незаметнее. Тяжело ему было на службе. Выросший в глухой деревне Вологодской губернии, не видавший никогда города, он совсем растерялся, попав в чужую ему обстановку. Военное учение давалось ему с невероятным трудом. В особенности он никак не мог усвоить словесность, которая для него, неграмотного, была какой-то непостижимой мудростью. Каждый день его подвергали жестоким наказаниям. И, запуганный, задерганный, он производил впечатление безнадежного человека. У нас с ним был один шкаф, разделявший в заднем ряду наши койки. Вместе мы пили чай, вместе ели ту дешевую колбасу, какую приходилось иногда покупать в лавках. По вечерам, беседуя с ним, я помогал ему разобраться в уставе и заступался за него,

когда над ним смеялись. Он относился ко мне с большой любовью, иногда его подбадривал Захар Псалтырев:

— Главное, Капитонов, ты не робей. Что с тобою может сделать инструктор? Ведь не зарежет ножом? Отвечай ему смелее, вроде как не он, а ты старший над ним. И тогда у тебя дело пойдет.

Пришел инструктор Храпов, крупный и жилистый человек, и важно уселся против нас на стуле. Это был старший унтер-офицер, кончивший армейскую стрелковую школу. На его обязанности лежало обучать нас строевому делу. На этот раз он казался особенно злым. Дело в том, что утром, понадеявшись друг на друга, никто из новобранцев не принес ему чаю. Это его взорвало. Желая нас наказать, он привязал к чайнику длинный шнур, и мы все, сорок человек, ухватившись за шнур, отправились на кухню за чаем. Шли в ногу, распевая:

Дулась, дулась, перевернулась,
Перевернулась и согнулась
В три дуги, дуги, дуги.

Вся эта песенка, которую заставил нас петь Храпов, заключалась лишь в трех бессмысленных строчках. И мы повторяли их, как попугаи. А он, сопровождая нас, командовал:

— Ать! Два! Громче пойте! Не жалеть глоток! Левой! Правой!

Потом целый день он мучил нас во дворе строевым учением.

С появлением перед нами Храпова новобранцы замерли. Некоторые из них неестественно выпучили на него глаза. Он окинул нас недовольным взглядом и, хмурясь, открыл перед собою военно-морской устав. Вдруг инструктор вскрикнул, заставив нас вздрогнуть:

— Наливайко!

— Чего изволите, господин обучающий? — вскочив, откликнулся белобрысый украинец.

— Что такое канонерская лодка?

Наливайко ответил на это более или менее сносно.

— Садись.

Не было такого случая, чтобы Псалтырев запнулся в чем-нибудь. И теперь на вопрос, в каких случаях под-

чиненный не должен исполнять приказания начальника, он отчеканил ответ слово в слово, как сказано в уставе. Храпов заметил ему:

— Тебя, черта головастого, даже скучно спрашивать.

На присяге несколько человек срезались. Инструктор выругался, но, к удивлению всех, никого не ударил. Он прочитал нам вслух несколько параграфов из устава и начал объяснять их своими словами:

— Примерно присяга... Вот вы не ответили насчет ее, а ведь она — это главное на службе. Раз дал присягу, значит — баста: человек с головой и потрохами уже принадлежит царю-батюшке. Не ропщи, стало быть, ни на что. Голод и холод переноси. Потому что это — военная служба, а не свадьба...

Он продолжал дальше произносить несуразные слова, а нам казалось, что мы от них только глупеем.

— Поняли, головотяпы, что я говорил? — закончил Храпов и посмотрел на нас с такой враждебностью, как будто мы были неисправимыми злодеями.

— Так точно, господин обучающий,— ответили новобранцы хором.

— А теперь... Эй ты, морда теркою, повтори то, что я сказал вам,— обратился он к новобранцу Быкову, у которого лицо было изрыто оспою.

Тот вскочил, зашевелил толстыми влажными губами, но ничего не сказал.

— Я от тебя ответа жду, а ты, точно корова, только жвачку жуешь...

— Так что, окромя государя, часовой никому не должен отдавать винтовки,— выпалил, наконец, Быков и сам испугался.

— Вот тебе на! — вскрикнул Храпов и, ядовито улыбаясь, обратился к нам: — Полюбуйтесь на этого молодца! Ты ему про мачту-грот, а он себе палец в рот. О чем я вчера говорил, он мне сегодня повторяет. Ну, как есть бревно! А ведь, ежели правильно рассудить, должен бы умным быть. Гляньте-ка на его рожу: сам черт на ней арифметику выписывал.

Инструктор повернулся к Быкову и, склонив голову набок, прищурил один глаз:

— У тебя мамаша есть?

— Есть.

— Где она?

— В деревне осталась.

— Ты, может быть, по мамашиной сиське соскучился, дитятко неразумное, а?

Новобранец стыдливо потупился.

— Я тебя выправлю! — сказал Храпов и кулаком ударил новобранца в подбородок так, что у того щелкнули зубы.

Инструктор пытливо осмотрел нас и остановил свой взгляд на Капитонове.

— Кто у тебя экипажный командир?

Мой сосед вздрогнул и рванулся с койки.

— Его высокоблагородие капитан первого ранга... ранга... ранга Борщов.

— Брешешь!

Капитонов назвал еще какую-то фамилию.

— Молчи уж! — оборвал его Храпов.— Недорубленный! Послушай вот, что тебе Стручок скажет.

Стручок ответил скороговоркой:

— Его высокоблагородие капитан первого ранга Капустин, господин обучающий.

— Молодец, Стручок!

— Рад стараться, господин обучающий.

— А ты, кукла заморская, поди сюда! — крикнул инструктор Капитонову.

Зная, зачем его зовет Храпов, новобранец приближался к нему медленно, дико озираясь, точно ища себе спасения. Широко раскрытыми глазами мы следили за инструктором, ожидая, что он применит к виновнику какое-нибудь новое наказание. В этом деле изобретательность у него была поразительная. И действительно, так и случилось. Он постучал кулаком по голове новобранца и прислушался. Потом постучал по деревянной табуретке и, наклонившись, также прислушался. После этого он значительно посмотрел на нас и заявил:

— Одинаковые звуки получаются. Стало быть, голова у него деревянная. Попробую приложить ему пластырь на шею. Иногда это помогает.

Капитонову было приказано нагнуться. Он сделал это покорно и безмолвно. При каждом ударе по шее его голова тыкалась вниз. Раза два он падал на колени, поднимался и снова становился в прежнюю позу. Возвра-

щаясь на свое место, он в довершение всего зацепился за чьи-то ноги и споткнулся.

— Тюлень! — рявкнул ему вслед Храпов.

Словесность продолжалась. И чем дальше она шла, тем злее становился инструктор. Те, кто на чем-нибудь сбивался, подвергались наказаниям, какие только приходили ему в голову. И многие с ужасом смотрели на его сухое и усатое лицо. Спустя полчаса у двоих были окровавлены лица, трое стояли на матросских шкафиках, выкрикивая:

— Я дурак второй статьи!

— Я дурак первой статьи!

— Я глуп, как пробка!

В то же время один из новобранцев, засунув голову в топку голландки и называя свою фамилию, произносил под суфлерство инструктора:

— У Пудеева кобылья голова... Он словесности не знает... Скорее можно свинью научить на белку лаять, чем из него сделать матроса...

И к каждой фразе он прибавлял самую отъявленную матерщину.

Меня все больше и больше удивлял Храпов. Нам известно было, что он происходит из крестьян Тверской губернии. Что он усвоил за шесть лет флотской службы? Строевое учение, имена царствующего дома — царя, царицы, их детей, вдовствующей царицы, великих князей. Но для этого не нужно было иметь много ума. И все же этот малограмотный человек, который с трудом мог нам объяснить морской устав, считал себя в сравнении с нами великим человеком. А мы для него были какими-то неразумными существами. Издеваясь над нами, он упивался своею властью. Я посмотрел на новобранцев, забитых и жалких, и подумал: неужели впоследствии и из них кто-нибудь выйдет таким же жестоким, как этот инструктор? А он, обрывая мои мысли, задал мне вопрос:

— Что такое знамя?

На это, вызубрив весь устав почти наизусть, я ответил без малейшего затруднения. Мне приказано было сесть. Храпов взялся за Капитонова:

— Теперь ты повтори, что он сказал.

Капитонов встрепенулся:

— Знамя... хоругва...

— Ну? — не отставал от него Храпов.

Капитонов, напрягая мысли, морщил лоб. Губы его посинели, в глазах светился животный страх. Наконец, сокрушенно мотнув головой, он забормотал:

— Потому, живота не жалея... святая хоругва, до последней крови... Часовой...

Храпов остановил его:

— Стой ты, дубина стоеросовая! Ну, чего ты мелешь? Нет, измучился я с тобой совсем. Ты хоть пожалел бы мои кулаки: отбил я их об твою дурацкую башку. А все без толку. Тебя, видно, учить,— что на лодке по песку плавать...

И, не желая затруднять себя больше, он обратился ко мне:

— А ну-ка, смажь ему разок по карточке. Да по-настоящему, смотри!

Я отказался выполнить такое приказание.

Храпов стиснул зубы и ощетинил усы. Сухое лицо его стало багровым. Он жестко посмотрел на меня, а потом уставился, словно гипнотизер, напряженным и неподвижным взглядом на Капитонова. У того от страха задергалась нижняя губа. Последовал приказ с хриплым выкриком:

— Капитонов! Если он не того, то ты привари ему пару горячих!

— Есть, господин обучающий!

Ко мне повернулось лицо Капитонова, мертвецки бледное, как маска, и на момент я увидел его глаза, бессмысленно округлившиеся и пустые, точно он внезапно ослеп. Правая его рука откинулась с необыкновенной быстротой, словно он боялся упустить удобный момент для удара. Не успел я произнести ни одного слова, как голова моя мотнулась в одну сторону, затем в другую. Из глаз посыпались искры, зазвенело в ушах.

— Мерзавец! За что ты меня ударил? — задыхаясь от негодования, крикнул я в диком исступлении. Я упал на койку, но сейчас же вскочил. Все мое существо охватило одно безумное желание — броситься на Капитонова и рвать его, рвать до тех пор, пока не истощатся последние силы. Но он сам свалился на пол, как подкошенный, и над ним, яростный и страшный, стоял Псалты-

рев, ожидающе глядя на инструктора. Все это произошло, как в бреду, и до моего сознания донесся резкий голос:

— Разойдись!

Я увидел удалявшуюся из камеры спину Храпова.

В эту ночь я долго бродил по двору, осыпаемый холодным снегом, с болью в голове и с горечью в сердце.

Было уже поздно, когда я вернулся в камеру. Газовые рожки, наполовину привернутые, горели слабо. Кругом было сумрачно. Новобранцы, утомившиеся от работ и учебных занятий, крепко спали. Дремал и дневальный, привалившись к стене около двери. Воздух был тяжелый, спертый, пахло прелыми портянками. Я прошел к своей койке и начал раздеваться.

Капитонов еще не спал. Опустив голову, он в одном нижнем белье сидел на своей койке, убитый и несчастный. Лицо его с разбитым подбородком потемнело, взгляд устремился в одну точку. Не глядя на меня, он заговорил робко, дрожащим голосом:

— Прости, брат... Ей-богу, не знаю, как это я... Никогда больше... никогда... Бей меня, сколько хочешь...

И вдруг этот большой человек тяжко заплакал, стараясь заглушить свои всхлипывания. Я сразу понял, что не он, доведенный до невменяемости, был виноват, а кто-то другой. Мне стало жалко его, как будто своими слезами он смыл злобу с моего сердца.

Через две койки от меня всхрапывал Псалтырев.

Храпов, очевидно, сам испугался того, что случилось, и никого не посадил в карцер. И вообще он с этого вечера сократился в своих наказаниях. А мне и Псалтыреву совсем перестал задавать вопросы во время словесности.

VI

Весной мы приняли присягу, нас произвели в матросы второй статьи. Служба пошла легче. Меня назначили в плавание на крейсере, и я разлучился с Захаром Псалтыревым. Ему до болезненности хотелось быть вместе с нами. Он бредил кораблями и морем, но попал в вестовые к одному пожилому капитану первого ранга, Лезвину. Конечно, из моего друга, судя по его задаткам, вы-

шел бы хороший судовой специалист, но ему и на этот раз подгадил Карягин.

На вторую зиму я снова встретился со своим «годком». Псалтырева трудно было узнать: его лицо лоснилось от сытости, словно он вернулся с богатого курорта. Он весело скалил зубы и рассказывал о своей службе:

— Теперь, брат, служить можно. Я даже доволен, что попал в вестовые. Мне и во сне-то не снилось такое житье. Расскажу тебе все по порядку. До чего же чуднò господа живут! Это, друг, не то, что у нас в деревне. Там на целую семью избенка, а тут только на два человека квартира из четырех комнат да еще столовая. А как все обставлено! Шкафы с зеркалами в человеческий рост. В столовой — буфет из красного дерева, и посуды в нем на тысячу рублей; стол раздвижной, стулья обшиты кожей. На стенах картины в золотых рамах. Кабинет весь уставлен книжными шкафами. Книги в них и тоненькие и толстые, да все с золотыми буквами на корешках. Тысячи три книг будет. Пока мои господа спят, я убираю кабинет, а сам нет-нет да и загляну в какую-нибудь книгу. Тут тебе и про моря, и как другие государства живут, и откуда земля взялась. Словом, про все на свете. Вот я и думаю: как же господам умными не быть, если они столько книг имеют? Среди книг нашел я иностранный словарь. В нем любое иностранное слово объясняется. Приглянулся мне этот словарь! Думаю: барину он не нужен,— барин и без него все знает, а для меня это находка. Я часто заглядываю в него. Теперь господский разговор я начинаю лучше понимать. В спальне на столике приспособлено тройное зеркало,— чтобы можно видеть в нем и лицо свое и затылок; две кровати из карельской березы стоят рядом вплотную: на одной муж спит, на другой — жена. А всего богатства и не пересчитать... Вот уж, можно сказать, живут люди!..

Сначала я боялся своего барина. Толстый он, голос у него хриплый, глаза навыкате, борода ржавая, как прошлогодняя трава в болоте. Дышит тяжело, посапывает. Очень любит свою жену. Третий год идет, как они повенчались. Она моложе его лет на тридцать. Корпусом и лицом — быть бы ей графиней. Улыбнется — точно

сердце тебе прощекочет. Нельзя даже смотреть на нее — пьянеешь, словно стакан спирту хватил. И здоровьем бог не обидел ее. А ничего не работает. Лежит себе по целым дням на диване и книги почитывает. К вечеру начинает наряжаться в шелка, пудриться, мазаться. Часа два возится с собою,— красоту наводит. Потом уходит в Морское собрание. Муж один остается дома, скучает и от нечего делать свою бороду жует. Это значит — он расстроен. С такой женой наш брат пропал бы совсем. Да хоть бы ласковое обхождение имела с мужем, а то и этого нет. Что он ни скажет, она все перечит ему:

— Ты глупости говоришь.

Слушаю я своих господ и удивляюсь. Ведь благородные люди, а разговор между ними никак не ладится. При мне редко бывало, чтобы они разговаривали о чем-нибудь серьезно, дружески, как полагается мужу и жене. Чаще всего — несуразно у них получается. Она, например, охает, жалуется, что у нее сердце болит. Он по-хорошему обращается к ней:

— Наденька, я сейчас вызову доктора.

Барыня ни с того ни с сего сразу же рассердится:

— Ты что — шутишь или смеешься?

— И не думаю шутить или смеяться, тем более над тобою, моя дорогая.

— Что же значит — вызову доктора?

— А это значит, что я хочу пригласить доктора, чтобы он помог твоему здоровью.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Только то, что сказал.

Она начинает закипать:

— Оставь меня в покое. Мне тошно от твоих глупых предложений.

Не понимает и не хочет понять она своего мужа.

Скандалы у них бывают каждый день и начинаются с какого-нибудь пустяка. У барыни насморк — муж виноват. Купила она себе слишком тесные туфельки — муж виноват. Дождь долго идет — муж виноват. День очень жаркий — муж виноват. Во всем он виноват, а она всегда права. Сколько барин ни старается, но к чему-нибудь она обязательно придерется. Скажем, галстук у него немного съехал в сторону... Ну, уж тут держись —

достанется как следует! И не замечает она того, что у нее самой мозги съехали набекрень. Иной раз раскричится и давай всячески поносить барина:

— Тебе бы только факельщиком быть, гробы на катафалках сопровождать, а не морским офицером. Таких из флота нужно гнать грязной шваброй.

Он хочет что-нибудь возразить ей, а у нее даже ноздри побелеют, и как зашипит на него:

— Замолчи, корабельная плесень!

Ведь умные книжки она читает, а ругается, как торговка на барахолке. А барин только нахмурится и сидит себе, вроде как и язык у него отнялся. Иногда барыня до того разъярится, что начинает бить посуду и рвать все, что попадется под руки. Убытку целковых на пятьдесят наделает. Только ни разу не видел я, чтобы она разорвала свое собственное шелковое платье или шляпку с пером. В чем, друг, тут дело, а? А барин, вместо того чтобы потасовку ей дать, упрашивает:

— Наденька, успокойся. Ну, зачем ты сердишься? Прости, если я в чем виноват.

Помирятся,— барин у нее в ногах ползает и всякие ласковые слова говорит:

— Наденька, радость моя. Я люблю тебя больше, чем свою душу. Вся моя жизнь в тебе.

И туфельки у нее целует. А она улыбается и отвечает ему:

— Котик ты мой паршивенький, зачем ты свою Наденьку так расстраиваешь?

Даже противно смотреть на барина. Перед нашим братом, матросом, задается: замри и не дыши при нем, а жену усмирить не может. Такие, значит, правила у господ: хоть какая будь жена, а он должен обожать ее, как пречистую деву-богородицу. Иной раз смотрю на них и думаю: чего им не хватает? Говядина вареная, говядина жареная, куры, рыба, пироги, разные сладости, вина — ешь и пей, сколько душе угодно. Жалованье большое. Власть имеют, всюду почет и уважение. А радости нет никакой. И что этой барыне еще надо? Потом-то я понял, что она не в те руки попала. А только скажу тебе, что иногда было жалко барина. Как это можно так измываться над человеком? Ведь он тебе не баран, а образованный человек: капитан первого ранга.

В чины его производил сам царь. А она кто? Какие у ней чины? А кричит на него — вроде как она адмирал. И доходов от нее, как от лебеды в огороде,— никаких. Даже и кухней-то не занимается. Живет у нас одна пожилая женщина, она и стряпает.

Кстати, надо тебе сказать об этой кухарке. Я величаю ее Настасьей Алексеевной, а для моих господ она просто Настя. Ей около пятидесяти лет, но голова у нее уже седая, лицо в мелких морщинках. И здоровьем она не может похвалиться,— поизносилась, живя у господ. С молодости работает на чужих людей, срок немаленький. За это время она успела старушкой стать, легкой такой, сухонькой. Я присматриваюсь к ней и думаю: другую такую заботливую и честную женщину не скоро найдешь. Я помогаю ей в работе и очень дружу с ней. Часто сидим мы с ней на кухне и обсуждаем господскую жизнь. Больше, конечно, рассказывает Настасья Алексеевна, а я слушаю и удивляюсь.

От нее я узнал и о прошлом моих господ. А еще рассказывал мне о барине старый боцман. Он теперь в отставке, служит в Купеческой гавани сторожем. Но когда-то он долго плавал вместе с Лезвиным на военных кораблях и знает его с молодости. Иногда боцман заходит к нам проведать своего прежнего начальника. У них давняя дружба. Без угощения барин не отпустит его или на водку даст.

А меня очень интересует господская жизнь, особенно сам Лезвин. Не так у них все идет, как у крестьян. Оказывается, его отец и дедушка тоже были моряками. Сначала он взял курс правильный, а потом сбился. Может быть, это потому так вышло, что он рано остался без родителя. Лезвин-отец дослужился до капитана первого ранга. Должно быть, думал еще выше подняться. Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает. Хоронил он своего друга, какого-то знаменитого адмирала, и командовал парадом. Дело было зимой. Весь флотский экипаж выстроился на плацу во фронт. И вот когда вынесли гроб с флагами, Лезвин-отец скомандовал:

— Смирно!

И сейчас же добавил, как полагается:

— Экипаж, слушай! На кра...

Но матросы не дождались окончания команды... Капитан нагнулся, будто хотел рассмотреть что-то у себя под ногами, и вдруг рухнул лицом в снег. А когда офицеры подбежали к нему, он уже был мертвый. От паралича сердца умер.

Сыну, то есть моему барину, в это время было восемнадцать лет. Он только что надел мичманские эполеты. Ну, известное дело, сначала погоревал, а потом зажил самостоятельно. Это, как говорит боцман, был веселый человек и выпить не дурак. Любил что-нибудь учудить и не стеснялся начальства. За это ему не раз попадало. Однажды при боцмане был такой случай. Судно находилось в заграничном плавании. Молодой Лезвин стоял во время вахты на шканцах, смотрел на море и чему-то улыбался. В это же время командир прогуливался на верхней палубе. Он был старый, у него болела печень,— значит, жизнь пошла ему в тяжесть. Увидел он веселое лицо Лезвина и набросился на него:

— Чему смеетесь? На вахте стоите, а смеетесь. Что это для вас — палуба военного корабля или Невский проспект? У вас беспорядок!

— Какой беспорядок, где? — спросил Лезвин.— Я не вижу.

— Не видите? — ехидно переспросил командир.— Вокруг вас бревна валяются, а вы стоите и улыбаетесь. Уберите это бревно!

Командир носком ботинка указал на малюсенькую щепочку.

Лезвин посмотрел на командира, потом на щепочку и весело скомандовал:

— Вахтенный! Четыре человека на шканцы! Убрать это бревно!

Командир даже позеленел от злости, а поделать со своим подчиненным ничего не мог: сам же назвал щепку бревном.

По словам боцмана, Лезвин был умный моряк. Он знал хорошо и штурманское дело, и артиллерию, и все судно — от киля и до клотика. С англичанами и французами он разговаривал на ихнем языке, как на русском. Его все любили — и офицеры и матросы. Но высшему начальству он не совсем нравился. Почему? Недоволен он был порядками во флоте и все писал об этом какие-

то доклады. Ему хотелось, чтобы по-другому было на кораблях — лучше. А там, на верхах, все эти его доклады клали под сукно. Ну, и началось у него охлаждение. Увидел он, что впустую старается, и запил горькую. И все-таки он, как и его отец, дослужился до капитана первого ранга. А дальше не пошел.

— Его и в адмиралы произвели бы, да жена помешала,— объясняла мне Настасья Алексеевна.— И как это его угораздило жениться на такой? Вероятно, бес помрачил его головушку. Ведь она не благородного происхождения,— дочь какого-то трактирщика. Одно только — красива. За это и взял ее на содержание один миллионер. Дорого она ему обошлась. Теперь у нее нарядов — за всю жизнь не износить, и разных драгоценностей хватит. А больше всего она просто транжирила деньги. Пожил миллионер с ней недолго и умер. Тогда ее подхватил адмирал-вдовец. Этот за короткий срок просадил с ней все имение и тоже умер. Такая уж, видно, уродилась: все с нею умирают. Да она, видно, нарочно выбирает себе в мужья пожилого человека, чтобы вольготней ей жилось. Вот и наш барин влип. Теперь все офицеры от него отвернулись, никто к нам не ходит,— жена-то, мол, у него не из дворянок. А насчет этого среди господ строго! Говорят, что из-за жены он и в адмиралы не попал. Какая же из нее может быть адмиральша? Один конфуз получится...

Так я понемножку узнал от боцмана и Настасьи Алексеевны всю подноготную своих господ. Значит, вот каким Лезвин был раньше и каким стал теперь. Совсем сник человек...

Через Настасью Алексеевну и со мною приключилось такое, чего я не ожидал. А все дело в том, что у нее была дочь... Трудно сказать, что ждет меня впереди. Судьба человеческая — как семя, с дерева сорванное: попадет оно на дорогу — погибнет; попадет на тощую землю — будет всю свою жизнь чахнуть; попадет в чернозем — расцветет.

Дочь кухарки зовут Валентиной Викторовной. Она часто заходит к нам. Ей восемнадцать лет. Служит она в одной конторе машинисткой. С первой же встречи с Валей меня потянуло к ней, как шмеля к душистому цветку. Лицом она не похожа на мать. Должно быть,

в отца вышла: нос с горбинкой, губы тонкие, немного изогнутые, подбородок точеный, глаза, как у цыганки,— настолько черные, что зрачков не видать. Волосы у нее густые и причесаны на прямой пробор, а это всегда придает девушке скромный вид. Любит она наряжаться в белые платья, и тогда кажется мне лепестком с вишневого цветка. Характером она в мать,— мягкая и обходительная. А уж такая веселая, что при ней даже хворый человек засмеется. Не девушка, а заря весенняя!.. Эх, любовь, любовь! Кто ее выдумал! И радость она дает всем и страдания. Когда Валя сидит со мной рядом и улыбается, то все вокруг становится необыкновенным: и кухня с начищенными кастрюлями и кусок неба, что виднеется в квадрате окна. Вот до чего нравится мне Валя! Даже от голоса ее как будто пахнет фиалками. А уйдет она,— тоска лохматым зверем навалится на мою душу, нигде я себе места не найду.

Но вся моя беда в том, что я из деревни и необразованный. А она окончила городское училище. Где же мне с нею тягаться? Только смотрю на нее влюбленными глазами, как на звездочку ясную, и тихонько про себя вздыхаю. Иногда сказками забавляю мать и дочь. Нарочно выбираю для них такие сказки, где говорится, как богатая невеста вышла замуж за бедного молодца и как они счастливо зажили. Вале это нравится. Стал я замечать, что и она как будто интересуется мною,— все чаще и чаще заглядывает к нам. Я, конечно, стараюсь во всем угодить ее матери: плиту разожгу, посуду вымою и что-нибудь состряпаю. А она тем временем отдохнет. Она относится ко мне, как к родному сыну.

— Славный ты,— говорит,— парень, Захар. За что ни возьмешься, все в твоих руках выходит хорошо. Одно только плохо: необразованный ты.

Эх, думаю, вот в чем дело! Она не прочь бы выдать за меня свою дочь, если я отшлифую себя. И взялся я за дело. Прислушиваюсь к господам, как они — когда в ладу — разговаривают между собою, заглядываю в разные книги. До смерти мне хочется сравняться умом с Валей. Про себя соображаю, что во всяком деле прежде всего нужна грамота. Без нее даже письма своей возлюбленной нельзя написать. А с чего начать? Обращаюсь к Вале:

— Как мне научиться правильно писать?

Это ей по сердцу пришлось, и она ласково отвечает:

— Я принесу вам книжку. Грамматикой называется она. И могу помочь вам в этом.

Скоро книжка действительно очутилась у меня в руках. Я тогда же подумал, что, может быть, через нее решится моя судьба. И начал я зубрить эту самую грамматику. По ночам, когда все спят, я сижу на кухне и пишу что-нибудь. Иногда Валя мне диктует. И так я старался, что за лето почти все правила грамматики выучил наизусть, а продолжаю делать пропасть ошибок. Мне очень совестно перед девушкой. Она смеется:

— Практика нужна. Через год ты будешь писать без ошибок.

Стал я бывать у Вали на квартире. Комнату она снимает. Живет небогато, но у нее все аккуратно и чисто убрано, как и сама она, аккуратная и чистая. На окнах белые занавески, кровать застлана розовым одеялом, в одном углу комод стоит, около стола два венских стула. Сижу я в этой комнате, смотрю на Валю, и кажется мне: счастливее меня никого нет на свете. Если она станет моей женой, то вместе с нею я одолею все, как богатыри в сказках.

Неделю тому назад позанимались мы грамматикой, а потом и сам не знаю, как у меня это вырвалось:

— Эх, Валя! За один только твой поцелуй я готов переплыть через весь залив. Только прикажи — сейчас же я это сделаю.

Сказал я так и сам испугался.

Она вспыхнула вся, радостно сверкнула зубами и ответила:

— Зачем же я такую глупость буду говорить? А поцеловать тебя и без этого можно.

Подошла ко мне и точно огнем опалила мою душу. У меня даже голова закружилась. От неожиданности я совсем растерялся и не могу ей сказать ни одного ласкового слова. От радости у меня даже слезы на глаза навернулись. Я сконфузился еще больше и невпопад сказал:

— А грамматику я обязательно одолею.

И тут же ушел от Вали.

А вчера от ее матери узнал интересную новость. Сидел я с нею на кухне за чаем, разговорились о жизни. Старушка разоткровенничалась и сообщила мне:

— Только тебе, Захар, одному скажу я тайну.

Я насторожился.

— Моя Валя-то ненаглядная — ведь она дочь адмирала.

От этих слов меня будто кто по сердцу резанул. Пропала моя головушка! Разве такая девица пойдет замуж за деревенского парня? Горько мне стало.

— Как это могло получиться? — спрашиваю.

Настасья Алексеевна начала издалека. Больше всего она служила у морских офицеров — то горничной, то кухаркой. Пришлось ей немало горя хлебнуть. Когда она молодой была, многие господа льнули к ней. И трудно было ей, сироте, отбиваться от них.

Я, заслушавшись, глядел на Настасью Алексеевну, а она рассказывала дальше:

— И вот поступила я горничной к капитану второго ранга. Он человек хороший и добрый, а жена у него — ведьма с Лысой горы. И любовников у нее перебывало столько, сколько в году недель. Двух детей она ему родила, только ни один из них не похож на капитана. Видать — чужие дети. Уехала она с ними на все лето в Крым. Ну, барин и начал за мною ухаживать. Как-то раз подпоил он меня сладким вином... Ну, что ж тут говорить? Ни один человек не знает, где потеряет свое счастье, где найдет. Забеременела я и думала — конец мне. А барин-то оказался совестливый человек. Когда я уходила от него, наделил он меня деньгами. А потом уж приходил на свидание к дочери, помогал мне... Благодаря ему она городскую школу кончила, и сто рублей у нее лежат в сберегательной кассе. И теперь гляжу я на свою Валеньку,— вылитый отец. Только ты, Захар, случайно не проговорись ей. Она ничего об этом не знает.

Я обрадовался, что Валя не знает о своем происхождении, и говорю:

— Будьте спокойны, Настасья Алексеевна. Все ваши слова скроются в моей голове, точно камни в море. Только позвольте спросить: выходит, что отец Вали вовсе не адмирал, а капитан второго ранга?

— Верно, был таким, а теперь он — адмирал. Виктор Григорьевич Железнов. Может, слыхал о нем? Умный человек...

— Нет, ничего не слыхал. Мало ли у нас во флоте адмиралов? Всех не упомнишь.

Вот какая, друг, история...

Теперь я и сам не знаю, как у меня обернется дело с Валей.

VII

Захар Псалтырев замолчал и задумался.

Ротный писарь вручил мне открытку от моих родителей. Я наскоро прочитал ее: дома все благополучно. Потом повернулся к Псалтыреву:

— Рассказывай дальше. Как твои господа поживают?

— Нескладно живут. Но это еще что. А ты вот послушай, как и меня затянули в новое дело... Сначала мой барин, капитан первого ранга Лезвин, взял меня с собою в плавание. Командует он крейсером «Алеша Попович». Корабль что надо! Заглядишься! Очень быстроходный. Жаль только, проплавал я на нем всего две недели. За это время облазил его весь сверху донизу,— не осталось такого помещения, куда бы я не заглянул. Сколько механизмов и разных приборов! Чудо человеческого ума! Так я полюбил свой крейсер, точно он принадлежит лично мне. И вот однажды барин приказывает мне:

— Собери свои вещи. Поедешь со мною.

Барин мой оказался человеком простецким. С ним можно было разговаривать о чем угодно. На этот раз он, правда, почему-то насупился, но я все-таки обратился к нему:

— Осмелюсь спросить, ваше высокоблагородие, куда будем держать курс?

— Будешь жить в моей квартире и прислуживать барыне.

Огорошил он меня этими словами, но разве командиру можно перечить?

Когда мы прибыли, барыни дома не оказалось. Вижу я, приуныл старик, точно его с должности рассчитали. Зовет меня к себе в кабинет и спрашивает:

— Ты женат, Захар?

Дернуло меня за язык соврать ему:

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Любишь свою жену?

— Да как же, ваше высокоблагородие, не любить жену? Она и первая помощница мне по хозяйству, и жить мне с ней веселее.

— А не боишься, что в деревне она может с каким-нибудь парнем любовь закрутить?

— Что ж поделаешь... Меня дома нет. Значит, ее воля.

— Ну, а если бы это случилось при тебе?

Думаю: к чему это он клонит? И отвечаю:

— Я бы этому парню морду набил. А потом посмотрел бы: крепко они принайтовились друг к другу или нет? Если она только дурить вздумала, то и ее проучить не мешает. А если она всерьез полюбила, то катись от меня на паровом катере к чертовой матери.

Барин похвалил меня: правильно, мол, я смотрю на жизнь. Помолчал он немного, пощипал свою ржавую бороду.

— Вот что, Захар, у нас тоже бывают такие случаи... Ну, как бы тебе это объяснить? Жена мне изменяет.

Он запнулся, покраснел, точно его в мошенничестве обличили. Я стою вытянувшись и руки держу по швам, как полагается. Вдруг он выпалил:

— Так вот, Захар, в чем дело. Если ты в мое отсутствие заметишь на горизонте что-либо подозрительное, то доложишь мне. Скажем, лейтенант или мичман появится в моей квартире... Ясно?

— Так точно, ваше высокоблагородие, все ясно.

— Только хорошенько смотри за горизонтом, как сигнальщик с корабельного мостика. А я буду тебе платить за это пять рублей в месяц. Это сверх того, что ты вообще получаешь.

— Есть,— отвечаю я.

Он даже похлопал меня по плечу.

— Молодец ты у меня! Умный парень. Уверен я, что от твоего глаза ничего не скроется.

Вот с этого и началась у меня настоящая жизнь. Вечером явилась домой барыня, нарядная, раздушенная. Увидела она мужа и с такой радостью бросилась

к нему на шею, что он моментально повеселел. Сейчас же началось у них пиршество. Раньше такой любви у них я не замечал.

Утром барин собирается в море. Барыня горюет, плачет, внушает ему, что без него она от тоски с ума сойдет. Он утешает ее, обещает недели через две опять вернуться к ней. Я решаю про себя: пожалуй, зря барин заставляет меня следить за ней. Она просто взбалмошная женщина, но мужу не изменит. Только одно было подозрительно: уж очень ласковой она стала со мной. А на следующий день звонит по телефону кому-то:

— Володя, приезжай скорее. Сгораю от нетерпения. Что? Да нет его дома, старого дурака. В море он. Захвати, Володя, моего любимого ликеру.

Ах, думаю, шельма какая! Обязательно доложу все барину. Пусть он знает, какая есть у него жена. Вскоре появляется в квартире мичман — молоденький, чистенький, свежий, словно огурчик с грядки. Духами от него несет. Улыбается, будто сто тысяч выиграл. В руке у него сверток с выпивкой. И барыня, увидавши мичмана, зарумянилась, как маков цвет. Сразу же все в ней переменилось. Глаза радостью сверкают, как роса перед солнцем. А голос такой умилительный, что сердце замирает. Кто может устоять перед такой женщиной? Глядя в это время на барыню, даже подумать нельзя, что она может на кого-нибудь рассердиться. Ангел непорочный! И, может быть, у другого мужа она была бы настоящим другом. А у Лезвина — это поперечная жена. Но он и не замечает, что своей красотой опутала она его, как золотой паутиной, чтобы сосать из него кровь.

Приказывает она мне стол накрыть, рюмочки приготовить, черное кофе сварить. Все я сделал, как велено. Барыня наказывает мне, чтобы я на кухне сидел, а здесь, то есть в зале, я больше не нужен ей. Сижу я на кухне и слышу: щебечут вдвоем, как птицы весной. Помолчат немного, затихнут, и снова — то смех, то разговор веселый. Старую кухарку барыня отпустила до позднего вечера. Я на кухне один. Скучно мне и завидно слушать, как другие играют в любовь. Пробыл мичман, этот самый Володя, часа четыре и собрался уходить. Я подаю ему накидку, фуражку. Он спрашивает:

— Какой губернии?

— Рязанской, ваше благородие.

— Люблю рязанских.

И дает мне двугривенный. Через некоторое время барыня зовет меня в зал. Смотрю, сидит она в кресле, усталая, словно целый день в жнитве провела. Прячет от меня глаза. Разрешает мне допить остатки ликера! Ну, что за вино! И пахнет, как цветы, и сладости необыкновенной, и кровь распаляет. Спрашивает она меня ласково так:

— Твои родители, Захар, вероятно, бедно живут?

— Очень, барыня, бедно.

Достает из сумочки два рубля и наказывает мне:

— Пошли-ка им. На что-нибудь пригодятся.

Я, конечно, поблагодарил барыню. У нас, в деревне, за два целковых нужно целую неделю работать. И каждый раз так: когда мичман приходит — он мне двугривенный, а она — два рубля. Думаю я: пожалуй, и не стоит докладывать барину. Какое мне дело до их супружеской жизни? Да и какой он ей муж? Разве для нее такой нужен? Недели через две приезжает домой сам барин. Она голову платочком обвязала, охает — больной прикидывается. Он зовет меня к себе в кабинет и спрашивает:

— Ну, Захар, как на горизонте?

Мне немного совестно было, но отрапортовал я резво:

— Чисто, ваше высокоблагородие. Только барыня без вас очень скучала. Плохо кушает. Иногда сидит одна и плачет.

Барин доволен и дает мне пять целковых.

Как и в первый раз, переночевал он только одну ночь и опять отправился в плавание.

Однажды мичман Володя с утра приехал к нам с большой корзиной. В ней были уложены разные закуски и вина. Мне было приказано добавить чайник и чайные приборы, хрустальные стаканы и рюмки. Потом послали меня за другим извозчиком. Когда я вернулся домой, барыня была уже в шляпке и накидке:

— Захар, поедешь с нами!

На одном извозчике сначала уехал мичман, а минут через десять я с барыней покатил к пристани. Это было проделано, как я понимаю, для отвода глаз: никакого, мол, знакомства между ними нет. На пароходе мы все

втроем переправились через залив. Там нас встретил лейтенант с какой-то пожилой барыней. Ростом он в три аршина, сухой, кости у него крупные, как у лошади, лицо носатое, нахальное, как будто разутое. Она ниже его почти наполовину, но тяжестью, пожалуй, не уступит ему. У ней лицо мясистое, рот широкий, губы пухлые, глаза желтые и смотрят на лейтенанта жадно. Платье с большим вырезом на груди, а за пазухой будто две тыквы заложены. Одной рукой она придерживает шляпку, широкую, как решето, со всевозможными цветами. Вот такую бы, думаю, плотную бабу да на крестьянские работы — что можно бы с нею натворить! На ней можно бы бороновать. Ну, а насчет красоты — она против моей барыни все равно, что лапоть против сапога. Сначала я полагал, что это мать лейтенанта. А потом, слышу, он называет ее деткой, она его — Мишелем, по-нашему, значит,— Михаил. Жена? Нет, так он перед ней расстилается, что сразу видно — не жена она ему! После уже догадался: это такая же пара, как и Володя с моей барыней. Обе женщины, как только встретились, давай друг друга восхвалять. «Детка» говорит моей барыне:

— Надюша! Милочка моя, ты сегодня прямо красавица!

А моя ей в ответ:

— Душенька моя, я две недели не видела тебя. За это время ты очень помолодела. И тебе так идет эта шляпка! Ты в ней обаятельная!

Взяли мы трех извозчиков. Господа попарно сели, а я на этот раз один устроился — корзину охранять.

Путешествие наше длилось не меньше часу. Я развалился на сиденье, как барин, и гадаю: для чего это они взяли меня? На голубом небе кое-где медленно плывут легкие облачка. Я смотрю на них и вспоминаю деревенскую песню, как млад-сизой орел ушиб-убил лебедь белую с лебедятками и пух пустил по поднебесью. И действительно, облачка похожи на пух. В одном месте они как будто тают, в другом новые появляются. Так же вот плывут и мысли в моей голове — то исчезают, то опять появляются. В лесу деревья шелестят листвой, и кажется, что они между собой шепчутся. Потом проезжаем полями. Гляжу я на крестьянские посевы. Узкие, как и у нас, в Рязанской губернии, полоски пестрят

картофельной ботвой, гречихой, просом, чечевицей, овсом. И все яровое поле похоже на огромное одеяло из разноцветных лоскутьев. Дальше, на озимых, под ветром склоняются ржаные колосья, словно куда-то спешно бегут. Как раз время цветения, в воздухе носится желтая пыль. Я вспоминаю родное село, какой там ожидают урожай? А здесь — неважный. Земля, видать, истощена и сухая.

Вдруг передние повозки остановились, и послышались выкрики. Что же, думаю, такое случилось? Чему так обрадовались господа? Оказалось, мы подъехали к такой части поля, где, как говорится, от колоса до колоса не услышишь человечьего голоса, а растут одни васильки. Обе барыни и офицеры соскочили с повозок и бросились собирать цветы.

— Боже мой, какая красота! — восхищалась моя барыня.

— Эти цветы возвышают мои мысли! — голосила шестипудовая «деточка».

— Очаровательно! — восклицал Володя.

— Синяя мечта! — басил Мишель.

Моя барыня приказывает и мне собирать цветы. У меня другое на уме, но пришлось подчиниться ей. А она прямо ликует:

— Я безумно люблю васильки. Хорошо мужичкам живется. Вечно они на лоне природы, среди цветов.

Извозчики угрюмо косятся на господ. И я про наших бар думаю: так вот как они смотрят на нашу кормилицу-землю! Все у них не так, как у нас в деревне,— и разговоры, и обычаи, и мысли иные. Поэтому никогда, видно, господам не сойтись по-хорошему с мужиком. Не понимают они того, что для крестьян эти синие цветы — слезы. Те, кто трудился здесь, на этих участках, останутся без хлеба. У меня невольно срывается с языка:

— Барыня, эти цветы — сорняк.

Она упрекает меня:

— Ах, Захар, какой ты невежа! Вырос ты на земле, а не чувствуешь красоты природы.

— Вот если бы васильки на пустыре росли, вместо чертополоха, или в овраге, тогда и нашему брату можно было бы ими любоваться.

Барыня только махнула на меня рукой и запела:

Как голубые огоньки,
Средь золотых стеблей
Растут родные васильки
Для радости моей.

А дальше, видно, не знает слов и все повторяет одно и то же. Ей подтягивает лейтенант Мишель. А я чувствую, что все во мне кипит. Хотелось мне сказать ей словечко, да волки недалечко — мичман и лейтенант. Будь у меня власть, заставил бы я этих господ самих землю пахать. Потом посмотрел бы, как они радовались бы василькам.

Все набрали по охапке цветов и поехали дальше. Минут через пятнадцать остановились на лужайке вблизи какого-то озера. Мичман Володя спрыгнул с тарантаса, помог моей барыне спуститься на траву. Потом он огляделся, улыбнулся и сказал:

— Вот это место по красоте самое подходящее для любви!

— Не в этом дело, Володя,— раздался сзади басистый голос лейтенанта.— Любить можно всюду. Только надо знать — как? Я, например, не признаю платонической любви.

Я сперва не понял, о любви какого Платона он заговорил. А Мишель обвел рукой круг и добавил:

— Это все равно, что смотреть на эту красоту зажмурившись.

Офицеры сговорились с извозчиками, чтобы они приехали вечером, и отпустили их. Мне было приказано раскинуть скатерть, приготовить закуски и раскупорить бутылки. Немного времени спустя все сидели на лужайке, выпивали и закусывали.

Больше всех зубоскалил Мишель, старался рассмешить барынь:

— Какие мы все-таки набожные. Здорово у нас получается воздержание. В деревнях теперь живут строго: постятся, умерщвляют плоть. Идут Петровки. А для нас, светских, это самое чудное время для пикников и любви на лоне природы.

Вот богохульник! Хоть бы меня постыдился. Тут-то я и понял, что посты только для деревни, а господам всегда масленица. Началась она и для меня. Офицеры, как всегда при женщинах, подобрели, стали меня угощать.

— Ты, голубчик, не стесняйся,— уговаривал мичман.— Ешь и пей, сколько влезет. Хватит тут добра.

Наливают мне коньяку половину чайного стакана. Смотрю, на бутылке надпись не по-русски. Как объяснил мне мичман Володя, коньяк французский, самый дорогой. Я ахнул, когда узнал, какая ему цена. За одну только бутылку такого напитка можно купить две овцы. Опоражниваю я стакан и чувствую — по жилам точно огонь разливается. Даже пятки жгет. Офицеры и барыни подсовывают мне еду, словно я стал их братом.

Лейтенант приказывает мне:

— Только ртом не чавкать. Не напоминай свинью. Терпеть не могу это противное животное.

— Есть, ваше благородие! — отвечаю.

Присматриваюсь к господам, с каких закусок они начинают и как едят, и сам стараюсь во всем им подражать. Беру ломтик белого хлеба, сначала намазываю его сливочным маслом, потом сверху покрываю зернистой икрой. Стоит она три рубля фунт, но зато вкусна же, окаянная! Балычок и семга — тоже подходящая закуска. Это тебе не в деревне, где можно под водку есть что и как попало — огурцы, редьку, капусту, селедку, картошку. У господ должен соблюдаться строгий порядок. По порядку — принимаемся за мясную еду: ветчина, разные колбасы, жареные цыплята. Заканчиваем швейцарским сыром. После коньяка я испробовал еще разные вина. А напоследок дают мне шампанского. Ну, доложу я тебе, и винцо! Раскупоривают бутылку — пробка летит вверх аршин на десять. А сам напиток пенится, искрится и шипит, как рассердившийся гусак.

Мне приказали костер разжечь и чайник вскипятить. Топора мы не взяли, но я и без него наломал ворох сучков. Дело это для меня привычное. Заполыхало пламя. Чай пили с пирожными. Это такая сладость, что тает во рту.

Раньше я думал, образованные люди — народ серьезный. А оказывается, некоторые из них по части озорства не уступят деревенским парням. Взять хотя бы Мишеля. Как он сам рассказал, его подтянул за что-то адмирал Бугров,— и лейтенант решил отомстить своему начальнику. Случилось это неделю назад. У Бугрова тяжело заболел сын. Мишель в похоронном бюро заказал

гроб и послал гробовщика к адмиралу снять мерку с покойника. На второй день лейтенант узнал от адъютанта, что произошло от такой проделки. Адмирал и без того был расстроен; он, можно сказать, дрожал за жизнь своего сына. А тут появился гробовщик с аршином. Адмирал взбесился! Набросился на несчастного гробовщика, как зверь, и так его изувечил, что тот весь в крови ушел в свое похоронное бюро.

Обе барыни и мичман Володя надрывались от смеха и всячески восхваляли Мишеля за его находчивость. А «детка» больше всех хлопала в ладоши и кричала:

— Браво, мой милый лейтенант, браво! Предлагаю в его честь выпить еще шампанского.

Мишель разошелся и еще больше начал остроумничать. Особенно глумился он над женатыми:

— Ты, детка, для меня дороже всего на свете. Буду тебе верен — никогда не женюсь. Не хочу быть приговоренным к каторге с прикованием к тачке. Да и что такое у нас, в Петербурге, жена? Это — письмо, которое оплачивает марками муж, а читают все. Пью за здоровье моей детки.

Попойка продолжалась. Шумнее становилось у нас на лужайке.

Барыни все-таки воздерживались и больше забавлялись слабенькими напитками. А офицеры начали мешать водку, коньяк и вина и по чайному стакану выпивать. Как ударил им по-настоящему хмель в голову, пошли они куролесить. Что только они не выделывали! И песни пели, и через костер прыгали, и на траве кувыркались. Женщины хохочут, а офицеры еще пуще выкидывают всякие номера. Потом они парами разошлись в разные стороны и скрылись в кустах.

Я остался один у костра. Живот у меня набит так туго, что можно было бы на нем блоху раздавить. Ведь я один уничтожил пищи столько, что ее хватило бы накормить целую семью. Улегся я на травке и думаю о господской жизни: во что им обойдется одна только эта гулянка?

Долго офицеры и барыни пропадали, наконец, возвращаются — сначала одна пара, затем другая. Я смотрю на женщин — прически у них спутаны, платья смяты. Все мне понятно. Но мое дело маленькое — знай

прислуживай. Опять все принимаются за выпивку. Пожилая барыня, видно, надоела Мишелю. Начинает он ластиться к моей барыне: то тихонько от других обнимет ее, то руку у нее поцелует. А она, видать, ничего против не имеет: улыбается ему и смотрит на него скоромными глазами. Мичман Володя заметил это и сквозь зубы процедил:

— Я очень прошу тебя, трехаршинный джентльмен, умерить свои порывы.

Лейтенант рассмеялся:

— Ревнуешь, мальчик?

Володя сразу запузырился и даже побледнел. Слово за слово, пошла у них ругань. Стали они называть друг друга на «вы». Володя уличил Мишеля, что тот всегда норовит покутить только на чужой счет, и назвал его нечистоплотным. Лейтенант окрестил мичмана прыщом из адмиральской семьи. А тут еще и барыни сцепились между собою. И чего только они не наговорили одна другой! «Деточка» бросила моей барыне:

— Вы только третий год замужем, а уже десять любовников сменили.

Моя барыня рассвирепела.

— А вам досадно, что от вас все мужчины отворачиваются? Кто на такую старуху польстится? Придется вам какого-нибудь матроса приласкать.

Офицеры начали угрожать друг другу дуэлью. К счастью, у них не было с собою револьверов. А то они тут же открыли бы стрельбу.

Но вот прибыли наши извозчики. На одном из них Мишель и пожилая барыня уехали вперед и даже не простились с недавними друзьями. Мы еще оставались некоторое время около озера. Барыня разрешила двум извозчикам кончать закуски и выпивку. Потом и мы помчались домой. Извозчики, захмелевши, гнали своих лошадей с гиканьем. Дорогой между мичманом и моей барыней, должно быть, произошла ссора. Она пересела ко мне, а Володя и около пристани не остановился, а помчался дальше.

С этого дня он куда-то запропастился совсем. Стал появляться у нас лейтенант Мишель. Значит, отшил он мичмана от барыни. Этот дает мне на чай по полтиннику. И барыня прибавила: каждый раз трешницей награ-

ждает. Стало быть, лейтенант пришелся ей больше по сердцу, чем мичман. Словом, теперь я живу в свое удовольствие. Пища хорошая, все меня любят, и доход кругом. Служить мне долго,— осталось еще около шести лет. За это время сколько я этих полтинников, трешниц и пятерок наберу! Хозяйство у меня в деревне плохое: избенка ветхая, лошаденку ветром качает, из скотины всего только две овцы. Вернусь со службы, все по-другому пойдет. Новый дом построю, куплю хорошего жеребца, заведу племенную корову. Буду первый житель в деревне. Может, барыня разохотится и еще одного ухажера заведет. Эх, и раздую же я свое хозяйство!

Мечта Псалтырева не осуществилась. Месяца через три я снова встретился с ним. Лицо его было в кровоподтеках. Нос и губы распухли. Я спросил:

— Что случилось? Где это тебя так разукрасили?

Псалтырев махнул рукой:

— Кончилась моя масленица, наступил великий пост. Вот балда! Ведь подвел меня!

— Кто?

— Да лейтенант, этот самый Мишель, чтоб у него всю жизнь было пусто в желудке. Милуется он с барыней, а в это время слышу звонок, длинный, уверенный. Сердце у меня так и дрогнуло. Замер я на месте. Что, думаю, теперь будет? Лейтенант ко мне на кухню. Я выпускаю его через черный ход. Потом бегу к парадной двери. Так и есть — сам барин передо мною. Выговаривает он мне, почему я так долго дверь не открывал. Я сочиняю ему: лицо, мол, было у меня в саже, умывался. А он подозрительно смотрит на меня, не верит. Лицо у него сердитое, мрачное. Разделся он и спешит прямо в спальню к жене. У меня сейчас же мелькнула мысль: должно быть, старая барыня, шестипудовая «деточка», из-за ревности написала донос моему барину. Ну, думаю, лейтенант успел уйти,— кажется, обойдется все по-хорошему. А вышло не так. Не прошло и двух минут, началось представление: барин орет, барыня визжит. С полчаса это у них так продолжалось. Зовет он меня в кабинет. Иду я и волнуюсь Спрашивает барин меня:

— Как на горизонте?

А сам от злости так и задыхается. Что-то у него за спиною в руке. У меня еле язык повернулся:

— Чисто, ваше высокоблагородие!

Вдруг он как зарычит:

— Чисто, говоришь? А это что?

Мелькнуло передо мною что-то голубое. Я даже не понял, что у него в руке очутилось. И давай меня он этой самой голубой штукой по глазам хлестать. Мало ему показалось, начал кулаком по лицу долбить. Потом вдруг отшатнулся от меня и спрашивает:

— С кем я сейчас ругался в спальне?

— Со своей женой, Надеждой Александровной, ваше высокоблагородие.

— Врешь! Это не жена капитана первого ранга Лезвина, а это...

Он громко назвал ее таким словом, каким называют только уличных женщин, и прибавил к этому матерную брань. Вот тебе, думаю, и благородный человек! Да так выражаться про свою жену не всякий крестьянин позволит себе. А барин и мне приказывает:

— Повтори все то, что я сказал!

Привык я ко всяким словам, а тут стало не по себе. Просто совестно обидеть барыню. Ведь плохого я ничего от нее не видал! А тут еще мыслишка в голове ворочается: может, он хочет обернуть дело так, чтобы потом меня отдать под суд за оскорбление жены.

Барыня сначала плакала, а потом не слышно стало. А он наседает на меня, кулаки держит наготове. Первый раз он таким страшным показался мне: лицо бледное, глаза мутные, ржавая борода трясется.

Я тихо повторил его слова.

— Громче! — рявкнул он.— Убью на месте!

Вижу я, что барин сорвался с нареза и осатанел: не увернуться мне от его побоев. Эх, думаю, все равно погибать! И я так гаркнул, что стены дрогнули:

— Это не жена капитана первого ранга Лезвина, а это...

И точь-в-точь повторил его слова.

Барыня вбежала в кабинет и завизжала:

— Мерзавец! Старая калоша! Учишь вестового ругать меня?..

А я тем временем махнул на кухню, захватил свои вещи и понесся в экипаж. Что теперь мне будет, сам не знаю. Боюсь, изувечит, окаянный.

Псалтырев попросил у меня зеркало, посмотрел на свое отражение и промолвил:

— Как живописец размалевал мою карточку. Ну, ничего,— заживет. А все-таки я здорово наморДовался на господских харчах. Теперь придется на полпудика убавиться в весе.

И сразу же рассердился:

— Дурак он, старый дурак, барин-то мой! Что бы ему вернуться домой часика на два позже? Тогда бы все были довольны: и я, и барыня, и лейтенант, и больше всех — сам барин. Так нет же, принесла его нечистая сила не вовремя.

VIII

С осени, после кампании, большинство матросов было распределено по разным школам. Из этих школ выходили судовые специалисты: комендоры, минеры, гальванеры, кочегары, машинисты, минные машинисты, сигнальщики, рулевые. Кроме того, были еще школы для унтер-офицеров тех же специальностей, а также для содержателей казенного имущества и строевых унтер-офицеров.

Захар Псалтырев ни в одну из них не попал. Его зачислили в расхожее отделение. Это означало, что он (и другие, подобные ему) должен выполнять работы, какие ежедневно назначает фельдфебель: пилить дрова, убирать с экипажного двора снег, вывозить мусор из корабельных мастерских, ездить с баталером за продуктами. И все же Захар не забыл о науке. Больше всего он хотел одолеть грамматику. По вечерам я диктовал ему из той или иной книги, а он писал. Потом он сам себя проверял, сличая написанное им с подлинником и подчеркивая свои ошибки. Число ошибок у него уменьшалось с каждой неделей. Это его очень радовало. Теперь, присматриваясь к занятиям товарищей, он взялся и за арифметику. Казалось, для него не было трудностей. Если он намечал для себя какую-нибудь цель, то всегда ее достигал. За один месяц им были усвоены все четыре арифметических правила.

В экипаже пища была не та, к которой Псалтырев привык, будучи вестовым. А тут еще он настолько увлек-

ся наукой, что у него мало оставалось времени для сна. Он похудел и осунулся, но по-прежнему оставался энергичным и веселым.

Изредка Псалтырев встречался с Валей.

Однажды я спросил его:

— Ну, как у тебя с нею?

Захар просиял белозубой улыбкой:

— Занятий стало меньше, а поцелуев — больше. Да она теперь и сама видит, что года через два я догоню ее. А потом дальше пойду. Это сильно повлияло на нее. Но главное — моя любовь к Вале горяча, как солнце, а от солнца, как известно, даже лед тает. Валя хоть сейчас готова пойти со мною под венец. Только начальство не разрешит мне жениться, пока я не кончу военной службы.

— Долго придется тебе ждать,— заметил я.

— Да, больше пяти лет. Ну, ничего. Зато, какая жена будет! Всем на зависть. И до чего она приветлива! Спасибо ее матери. Она все время внушает дочери, чтобы не очень зарилась на золотые погоны. Могут обмануть девушку и разбить всю ее жизнь. А для меня Валя — это вторая душа. Теперь и мать ее уверилась во мне. Она тоже не прочь видеть меня своим зятем. Не зря она велит мне, чтобы я учился хорошенько. Она считает, что я сначала должен выйти в унтер-офицеры, а потом остаться на сверхсрочную службу и добиться звания кондуктора. Что ж? Может быть, она и права.

— А как поживает твой барин?

— Жена ушла от него. А он с горя еще больше стал жевать свою бороду. Пока обходится без вестового. Слава богу, про меня забыл.

Скоро в нашем экипаже произошло событие: жандармы арестовали пять человек, в том числе двух унтер-офицеров. Это произвело на матросов сильное впечатление. Во всех ротах втихомолку начались разговоры. Арестованные считались хорошими людьми. Ни в каких уголовных делах они не были замешаны. За что же их взяли, да еще ночью?

Псалтырев, возбужденный, прибежал ко мне и таинственно заговорил:

— Слышал я,— политические они. Будто они что-то замышляли насчет царя. Неужто верно?

— А почему же нет?

— Да ведь бороться нужно только против господ. От них народ много обиды терпит. А при чем же тут царь? И как без него мы будем жить?

Я сам ничего не понимал в политике и не мог ответить на его вопросы.

— Эх, поговорить бы с арестованными! Вот от них бы я все узнал. Только говорят, что они никогда больше не вернутся в экипаж.

Однажды утром, во время распределения матросов на работы, фельдфебель, ткнув пальцем в грудь Псалтырева, сказал:

— А ты придешь ко мне в канцелярию за нарядом.

Псалтырев заволновался, ничего, кроме каверзы, не ожидая для себя от начальства. Действительно, так и случилось. Через полчаса, вручая какой-то запечатанный пакет и билет для проезда по железной дороге в Петербург, фельдфебель строго его наставлял:

— Вот, бери и запомни, что скажу. Твое счастье, что других таких на примете нет. Я тебя рекомендовал вестовым к важному лицу во флоте. Потрафишь — в люди выйдешь. Наверно, ты слышал про сиятельных графов Эверлинг? Так вот, молодой граф в нашем экипаже лейтенантом служит. Иди к нему, это дело тебе знакомо. Только предупреждаю: если подведешь меня... жизни не рад будешь.

Псалтыреву не хотелось опять идти в вестовые, поэтому он никак не мог разделить восторгов фельдфебеля. Ему все еще мерещились классы той или другой специальности моряка. Рассказывая о своем новом назначении, он горько жаловался мне:

— Беда, брат! Только от одного барина отделался, теперь к другому... Из огня да в полымя! Видишь, как оно выходит, дело-то. Ты хочешь одно, а косоглазая судьба подсовывает тебе совсем другое. И почему это так устроена жизнь, что ты обязательно должен занимать на земле совсем не то место, какое любо тебе? А всего досаднее, что с Валей придется расстаться...

На минуту он задумался и заговорил уже примиренно:

— Ладно. Если Валя по-настоящему меня любит, то ничего не изменится. А я испытаю новую жизнь. Может,

удастся чему-нибудь поучиться. Офицеров я узнал. Посмотрю теперь, как графья живут.

Прошло три недели. Под вечер я сидел у себя в роте и читал роман Виктора Гюго «Отверженные». Вдруг рядом раздался сердитый окрик, заставивший меня вздрогнуть:

— Опять за книгой?

Я машинально вскочил и тут только понял, что это, подражая фельдфебелю, решил попугать меня Псалтырев. Он стоял передо мною и улыбался — полнотелый, отъевшийся на графских харчах.

Поздоровавшись, я спросил:

— Как дела? Совсем вернулся в экипаж или отпущен на время?

— Дела, как терка, корявые. И у этого барина просыпался я. Граф что-то написал тут обо мне,— ответил Псалтырев, размахивая пакетом,— иду в канцелярию, к дежурному офицеру. Потом все расскажу.

Псалтырев, нагнувшись, на ухо добавил мне:

— Я все-таки сейчас успел повидаться с Валей. Обрадовалась она...

Псалтырев повернулся и быстро удалился.

Вскоре под конвоем он был отведен на гауптвахту. Две недели ему пришлось питаться только хлебом и водой. Несмотря на это, он вернулся по-прежнему веселый, точно побывал на родине. И я с интересом слушал его рассказ.

— Прибыл я в Петербург, нашел улицу, а дом сразу показали — всем известен, стоит особняком. Этажей немного, только три, а в длину и ширину много места занимает. Кругом железные решетки, высокие. От них меня даже оторопь взяла — боязно как-то стало. А парадный подъезд — это, по-нашему, крыльцо — широкий, с каменными ступенями и по бокам какие-то чугунные чудовища, не то птицы, не то звери сидят. Поднялся я по лестнице и остановился у тяжелых дверей. Вместо скобок висит на них большое кольцо медное. Смотрю, дверь сама потихоньку открывается. Я вхожу. Передо мною человек, высокий и толстый, с пышными седыми бакенбардами, с голым подбородком, и такой весь важный, как

будто он тоже барин. Длинное пальто и картуз с ясным козырьком, все в золотых позументах. Брюки навыпуск, ботинки сверкают, как черное зеркало, хоть глядись в них. Догадываюсь: швейцар. Вот это, думаю, должность! Только открывай да закрывай дверь, вот и вся работа, а ходят, видно, сюда господа по разбору, редко. Тут здоровья не надорвешь. Перед этой особой я, натурально, вытянулся, сделал под козырек, показываю пакет и умышленно величаю швейцара, как офицера:

— Куда, ваше благородие, прикажете сдать бумаги?

Лицо его расплылось от удовольствия, он добродушно заговорил:

— Не в этот подъезд, парень, ты попал. Тут только господа ходят. Свороти во двор. Спроси у дворника, где контора. Там передашь.

— Меня, ваше благородие, назначили вестовым к вашему графу.

Старик расправил бакенбарды, заговорил медленно и важно:

— Хорошее дело. Его сиятельство — это тебе не простой офицер. Наш барин при дворе часто бывает, с высочайшими особами знается. Послужить его сиятельству — большая честь, и сам ты вроде как бы благородным человеком становишься. Всю жизнь потом гордиться будешь. Только смотри, парень, держи ухо востро, не всякий удостоится графской милости. Много уже вас таких у него побывало.

Слушаю швейцара, а сам думаю: «И чего ты мне плетешь, мусорная головушка?» А сказал другое:

— Спасибо за совет, ваше благородие!

В конторе взяли у меня пакет, часа два я там просидел — ждал распоряжения. Наконец в нижнем этаже показали мне небольшую комнатку. Два стула, столик, шкаф и железная койка — вот и вся мебель.

Началась моя новая жизнь.

Моим соседом по комнате оказался повар-соусник, Прохор Савельич. На графской кухне, кроме него, было еще два повара: кондитер и главный.

Но для меня самым интересным человеком оказался этот самый мой сосед-соусник. До сорока лет он дожил холостяком. Те два повара оплыли жиром, а этот, удивительно даже: на таких харчах — и такой был поджа-

рый. Усы он брил, чтобы не пачкать их соусом во время пробы, а бородку только подстригал. Заостренным концом она загибалась у него к горлу и была похожа на запятую. Круглые глаза немного пучились. Голову держал прямо, и на ней ширилась лысина, плоская и блестящая, как поднос. По вечерам, отделавшись от стряпни, Прохор Савельич любил хватить чайный стакан водки, настоенной на ржавых гвоздях. По его словам, такая настойка самая полезная,— железо всасывается в кровь. Кто во что верит!

С соусником я сразу подружился. А произошло это вот как. Будучи на кухне, я невзначай обжег себе пальцы у раскаленной плиты. Другие меня обозвали «разиней», а Прохор Савельич достал пузырек с прованским маслом, смочил им тряпочку, приложил ее к ожогу и дружески заговорил:

— Это пустяки. Пройдет. А вот представь себе, что ты годовалый ребенок. Тебя приманивает все ясное и светлое. А рука твоя необыкновенно длинная и может вытянуться на любое расстояние. И вот ты увидел первый раз солнце и по-ребячьи им заинтересовался. Твоя рука невольно потянулась высоко к небу потрогать заманчивый светлый шар. Ты обязательно обожжешь пальцы, как о плиту, только еще сильнее. Но интересно знать — через сколько времени ты почувствуешь боль?

— Наверно, как от молнии, сразу,— ответил я.

Соусник хитро улыбнулся:

— Ошибаешься, моряк. Вижу, что астрономию не читал. Знай же: ты почувствовал бы боль не сегодня и не завтра, а только через сто шестьдесят семь лет.

На кухне все засмеялись над этими словами.

— Как будто и разумный человек, а мелет чепуху. Это ты, Прохор, от своих книг заговариваться начинаешь,— укорял его главный повар.

А я даже обиделся:

— За дурака, что ли, вы меня считаете, Прохор Савельич? Понять не могу.

— Клянусь здоровьем, правду я говорю. Могу доказать. Да сейчас некогда. Сварю соуса, подам к столу, тогда заходи ко мне в каморку.

Вечером я пришел к своему соседу. Он показал мне книгу — «Популярная астрономия», сочинение Фламма-

риона. Своими глазами я прочитал на странице раскрытой книги то, о чем говорил Прохор Савельич. Впервые здесь я узнал, что солнце от нашей земли отстоит на сто сорок восемь миллионов километров. Так и выходит: ощущения по нервам передаются со скоростью двадцати восьми метров в секунду, а на таком расстоянии, как от земли до солнца, боль от ожога почувствовалась бы через сто шестьдесят семь лет.

До поздней ночи я засиделся у моего нового знакомого. Его рассказы о разных чудесах удивляли меня. С этого раза я часто стал бывать у него.

Потом я взял у соусника еще несколько книг по астрономии. Ну, до чего же интересна эта наука! Как у нас в деревне говорят о звездах: это, мол, лампады, которые на ночь зажигают ангелы. А оказывается, каждая малюсенькая с виду звездочка может быть больше солнца. Так через соусника я впервые дознался о планетах, о кометах и о том, что земля вертится вокруг солнца. И особенно я запомнил слова Прохора Савельича, что астрономия нужна морякам. Без нее штурман — это все равно, что поп без святцев или требника.

Но что за человек этот Прохор Савельич! Умнейшая голова! Разговорится, только слушай его. Даром, что соусник. Науками интересуется, а говорить о них было ему не с кем: вот он и обрадовался мне,— хоть один слушатель нашелся... Кстати, через него я узнал и о жизни своего нового барина. И тоже дивился немало.

Раньше капитан первого ранга Лезвин казался мне богачом. А теперь я понял, что в сравнении с графом он просто нищий. Кроме петербургского особняка, у графа есть еще шикарная дача в Гатчине, да еще больше двухсот тысяч десятин собственной земли. Имения его разбросаны в трех губерниях. Большие доходы ему дают и винокуренные заводы. Градоначальник, генералы, адмиралы и даже министры считают за честь водить с ним знакомство. Значит, распоряжается он в жизни всеми делами, как фельдфебель новобранцами.

Слушал я Прохора Савельича, и у меня голова кругом шла. Какие же бывают богатые люди на свете! Один только графский особняк чего стоит! Шутка сказать, ведь в нем могут разместиться все жители нашего села. Семьдесят две комнаты и три зала: большой, средний и ма-

лый, каждый — для разных случаев жизни: для балов, танцев, концертов, обедов. Есть и молельная, и биллиардная, и комната, где только в карты играют. И каждое помещение отделано по-разному: то все малиновое, то голубое, то розовое, то под серебро или под орех разделано. В некоторых комнатах стены оклеены обоями, в других — затянуты шелком. А сколько там разных ваз, статуй, мебели понаставлено, картин понавешано! Даже на потолке картины разрисованы и фигуры поналеплены. И к чему все это, ума не приложу. Все равно на такую высоту пялиться — шея заболит. Есть вазы выше человеческого роста, голубыми цветами раскрашенные. В каждую из них может войти мер пять овса. А тут они стоят пустые и без всякой пользы. Широкая лестница застлана коврами, а по бокам — на фигурных столбах — горят фонари. И куда ни глянь,— зеркала во всю стену. Когда идешь, то видишь себя и сзади, и спереди, и сбоку, и кажется: не один ты, а целый взвод шагает со всех сторон. Одним словом, столько диковин наворочено, что глаза можно растерять. И все такое хрупкое, что дотронуться страшно,— того и гляди разобьешь. В самом большом зале висит люстра, преогромная, лиловый хрусталь на ней. Цены нет! Стòит, почитай что, дороже всего нашего деревенского стада. В этом зале могут разместиться за столами сразу две роты, и всем места хватит. Не дом, а дворец!

Хоромы огромные, а вся семья графа состоит только из четырех человек: сам граф — Леопольд Генрихович, в чине лейтенанта флота; мать, уже старуха; жена, Луиза; дочь у ней, Тамара, грудной ребенок. А сколько людей их обслуживают! Кроме трех поваров, еще больше двадцати человек наберется: швейцары, лакеи, официанты, горничные, дворники, кучера, камердинер, домашний доктор, кормилица, судомойки. И над всеми есть управляющий домом. Сначала я даже путался среди них и некоторых, по ошибке, за господ считал. Многие одеты нарядно, разве сразу разберешься?

Три дня я жил, графа не видел и ничего не делал. Учили все меня, как я должен стоять, повертываться, с какой стороны и когда заходить, если граф за стол сядет; как ему отвечать, как подавать. Столько упражнений прошел, точно в театр готовился. Давали мне поднос

с горкой тарелок и учили, как расставлять их на столе. Мои обязанности в этом доме, как мне объяснили, были маленькие: убрать кабинет и подать завтрак графу. А кабинет устроен на морской лад, и в него ни одна горничная не имела права входить. Как я понял, граф воображал, что здесь он находится на военном корабле, а потому и не должна сюда заглядывать женщина. Только вестовой может кабинет обслуживать.

Наконец меня допустили к самому графу. Я нарядился во флотский костюм первого срока, на руки натянул белые перчатки. Лакеи меня кругом вертели, осматривали — все ли в порядке. Против дверей, за которыми занимается граф, в стене — углубление, по-господски называется ниша, а в ней — столик. Это мой дежурный пост по утрам. На столике приготовлен серебряный поднос с разными тарелочками и кофейником. На тарелочках — тонко нарезанные ломтики белого хлеба, ветчина, семга, сливочное масло, зернистая икра, сыр бри, яйца всмятку, сардины, сосиски из рябчиков, печенье и ваза с фруктами. Это — завтрак. Я посматриваю на часы. У меня такое состояние, будто меня сейчас будут судить и мне грозит каторга. Я стараюсь себя успокоить, упрекаю себя в трусости, но все равно волнуюсь. Ровно в восемь часов камердинер говорит: «Пора». И открывает передо мной дверь. Я вхожу в просторную комнату. Осторожно разгружаю все с подноса на стол. Куда что поставить, как ножи и вилки положить и все прочее — это мне теперь уже известно.

Мельком я оглядываю комнату. Хоть немного, но мне пришлось поплавать на корабле. Видел я там обстановку. И замечаю, что здесь у графа все украшено по-морскому. На стенах — картины морских боев. Один угол похож на штурманскую рубку. На письменном столе — модель военного корабля с пушками, чернильница с якорем и якорным канатом, барометр. Перед столом на тумбе — штурвал и магнитный компас. И тут же — на стене — разные морские приборы.

Эх, думаю, вот где живет, наверное, настоящий моряк!

В восемь часов десять минут входит в комнату сам граф.

— Здорово, братец,— слышу я его тихий голос.

Я быстро повертываюсь к нему, вытягиваюсь и браво отвечаю:

— Здравия желаю, ваше сиятельство!

— Давно на военной службе?

— Второй год, ваше сиятельство!

— Вольно. Продолжай свое дело.

Граф — высокого роста, статный. Ему лет двадцать пять, а удлиненное лицо у него нежное, как у подростка. Нос прямой, усики завиты так, точно он приклеил к верхней губе два обручальных кольца. Голова правильной формы, светлые волосы аккуратно зачесаны на прямой пробор. Словом, весь он как будто точеный. Красавец! Вот что значит высшая порода! Только одно меня удивило в нем: имеет несметные богатства, из пищи ни в чем себе не отказывает, а все-таки такой бледный, как будто его долго трепала лихоманка.

Граф садится за стол и начинает завтракать. Я наливаю ему стакан душистого кофе, добавляю топленых сливок и становлюсь в стороне, как меня учили. Как только опорожнится стакан, я снова наполняю его, пока не услышу: «Довольно». Полагается, чтобы кофе было и не холодное и не горячее. Избави бог, если граф обожжется. Я наблюдаю за ним,— ест он меньше, чем пятилетний крестьянский мальчик. У меня начинает шевелиться любопытство: какие мысли копошатся в графской голове? Мне он кажется невероятно умным, обходительным и добрым человеком.

Завтрак кончен. Граф переходит к другому столу. Он начинает просматривать какие-то бумаги, а я убираю посуду на поднос и ухожу.

И так вот каждый день. Моя главная обязанность подать завтрак графу, а когда он уйдет, убрать его комнату. Обедает и ужинает он с семьей. А я приставлен к нему только для того, чтобы хоть по утрам он чувствовал себя, как на корабле. Из-за этого держат лишнего человека в доме — матроса.

Как-то я спросил соусника:

— Почему это почти все господа такие красивые?

Прохор Савельич смеется:

— До всего ты хочешь допытаться, моряк. Это хорошо.

И начинает объяснять:

— Если ты хочешь знать, вот в чем тут причина: женщины улучшают породу господ. Клянусь здоровьем! Возьмем для примера какого-нибудь знатного и богатого человека. Лицо у него скуластое и приплюснутое, нос седлом и задрался вверх, точно астрономией интересуется, губы толстые, точно у лошади. Ведь от того, что этот человек будет кушать шикарные блюда с моими соусами, он только разжиреет. Но лицо у него не вытянется, скулы у него не убавятся, нос не станет с горбинкой и губы не станут тоньше. Противно смотреть! И все же за такого урода охотно выйдет замуж любая красавица из бедных. Клянусь здоровьем! Женщину прельщают деньги, слава и роскошная жизнь. От такой супружеской пары дети будут уже не такими уродами, как их отец. Прими еще в расчет: жена такого мало приятного мужа приищет себе красавца на стороне. Тогда уже насчет улучшения потомства дело обеспечено. Дети подрастут и в свою очередь женятся на красавицах. Таким вот манером и получается особая, господская порода. Понятно?

— Как не понять...

— А теперь возьмем обратное явление. Почему у некоторых господ начинает ухудшаться их порода? Я говорю насчет красоты. Это бывает у прогоревших аристократов. Через женитьбу ему нужно поправить свои дела. Он уже не разбирает, какая у него будет жена. Пусть она дурна собой, лишь бы за ней были большие деньги или через нее можно продвинуться по службе. Вот как это происходит. И тут опять влияют женщины.

...По праздникам все слуги графа в обязательном порядке собираются в молельне. Можно сказать, весь домовый экипаж налицо, и я в том числе. Граф с семьей тоже присутствует. Набожный, видать, человек,— сам усердно молится богу и следит, чтобы и другие так делали. Вообще он человек степенный, с женой живет ладно, не так, как мои бывшие господа Лезвины.

Молельня эта совсем не похожа на другие графские помещения. И церковью ее тоже нельзя назвать. Потолки невысокие и без всяких украшений. Старинные иконы прямо в стены вделаны, перед ними подсвечники стоят. В маленькие окошки проникает мало света.

Я молиться ленив, но тут душа как-то по-иному настраивается. Священник — молодой, краснощекий, в ме-

ру сытый. Подаст он возглас, а хор так подхватит, как будто тебя на крыльях уносит в небо. В хору участвует человек двадцать — мужчины и женщины. Голоса на подбор. Особенно на меня влияло подвешенное к потолку, вместо паникадила, светящееся сердце из красного стекла. Горит оно тусклым светом, но кажется живым,— словно кровью облитое. В старину, говорят, царские особы заходили сюда молиться вместе со старым графом— отцом нашего барина.

От графского стола остается очень много пищи. Прислуга пользуется этим и подчищает тарелки и кастрюли. Всем хватает. А пища-то какая! Чего только не придумает старший повар! Я наблюдаю за ним и записываю все себе на память. Возьмет он ломтики швейцарского сыра, обмочит их в сболтанном яйце, положит на греночки, потом накроет ломтиками костного мозга, и все это запекается в духовом шкафу: любимое кушанье графа. Называется оно — крутон моэль. А поглядеть на жаркое из фазана и рябчиков. Картина! Фазан красуется на крустадах, а вокруг него разложены половинки рябчиков на крутонах. К этому блюду полагается зеленый салат и брусника. Иногда графу захочется суп из бычьих хвостов, а на второе — филей из серны. Уж на что, кажется, стерлядь вкусная рыба, но ему готовят ее разварной на шампанском. Прохор Савельич старается насчет разных соусов. Из них к каждому блюду должен быть свой особый сорт. Даже трудно запомнить все названия: голландский, марешаль, сборный, горчичный, татарский, желтый, польский, грибной, королевский, соус из раков, с миндальным молоком, из шарлоток, из лимонного сока и мадеры, из вишни, из трюфелей. Смотрю я на Прохора Савельича: то он жженого сахара подложит в кастрюльку, то подольет какого-нибудь вина — мадеры или хереса. Оказывается, это тонкая специальность — быть соусником. Он говорит мне:

— Я могу приготовить такой соус, что ты с ним съешь котлеты из древесных опилок и только облизнешься от удовольствия. Клянусь здоровьем!

А кондитер свое выделывает: слоенки, пирожные, печенья. Иногда он приготовит торт, похожий на крейсер. Словом, все должно быть красивым, вкусным, и каждый день нужно придумать что-нибудь новое.

И вот иногда по вечерам сидим мы с соусником вдвоем и рассуждаем о графской жизни. Прохор Савельич все знает. Он тебе расскажет, где и что добывается и какая этому цена. Сколько людей обслуживает графа дома и сколько работает на него на стороне. Не только в России, но и во всем мире трудятся для него. Ведь есть же у нас хорошие напитки. Нет, дай ему заграничные вина: из Италии — марсалу, из Франции — коньяк и шампанское, из Германии — рейнские вина, из Испании — малагу и Педро Хименес, из Англии — эль, портер, с острова Мадера — вино мадеру, из Капштадта — капштадтское вино. А если говорить о пище, то придется перечислить еще больше стран. Ему поставляют: Италия — омары, остров Сардиния — сардинки, Португалия — яблоки апорт, Франция — разные сыры, Бельгия — остендские устрицы, Яффа — апельсины, Алжир и Тунис — лангусты, остров Цейлон — ананасы, Турция — виноград и кофе мокко, Азорские острова — бананы и помидоры. Всего не перечислить.

Прохор Савельич подсчитывает, во что обходится графу и его семье только один день жизни. А я слушаю и думаю: боже ты мой, господи! За что, за какие благодеяния ты так милостив и щедр к графу? И почему ты к другим людям так жесток и беспощаден? Ведь попостись граф лишь один день, а деньги, что сбережет на этом, передай нашему селу — какое было бы счастье! У нас не осталось бы ни одного безлошадного и бескоровного двора. А святые отцы по целым неделям постились, и то не умирали. Соусник продолжает подсчитывать и другие расходы: выезды, театры, музыка, гости. А расходы на содержание в столице такого большого дома? Или — гатчинской дачи? Цифры растут... Прохор Савельич спрашивает меня: сколько в нашем селе бедняков? Я сообщаю ему. Он начинает распределять графский дневной расход по беднякам. Получается: один бы день экономии, не осталось бы у нас в селе ни одного захудалого жителя. Все они были бы со скотиной и все оделись бы во все фабричное. А тут эти расходы и труд множества людей идут только на то, чтобы граф и его маленькая семья чувствовали себя хорошо.

Когда соусник говорит о графской жизни, его плоская лысина покрывается, словно росой, мелкими каплями по-

та. Видать, что в душе у него закипает ненависть к богатым. И меня он своими подсчетами будто крапивой обжигает. Граф кажется мне уже не таким добродушным человеком, как в первый день...

Я спрашиваю:

— А для чего вы, Прохор Савельич, все это рассказываете мне?

— К слову пришлось. А, между прочим, цифры так же очищают мозг от тупости, как очищает гребешок волосы от насекомых. Клянусь здоровьем, это верно.

Я продолжаю любопытствовать:

— У графа кабинет обставлен, как штурманская рубка. Должно быть, он любит корабли, море. Может, это самый умный моряк во всем нашем флоте.

Он метнул на меня жесткий взгляд и говорит:

— Некоторые простачки блажь принимают за ум. Ценность фруктового дерева определяют по его плодам, а человека — по его делам.

К Прохору Савельичу иногда заходит горничная Ксения. Ей лет тридцать пять. Женщина расторопная и разговорчивая. Все у нее в норму, только носик подгулял: половину лица занимает. Метит она соусника в мужья себе и вместе с ним хочет собственный ресторанчик открыть. У нее уже шестьсот рублей денег накоплено. Но у того что-то другое на уме. Она приставлена к старой графине и должна ее одевать и раздевать, мыть. От этой горничной я тоже много знаю о своих господах. Старая графиня совсем дряхлая, сама ходить не может — ее водят под руку. Сидит она по целым дням в креслах и четки перебирает. Есть ей ничего нельзя, кроме манной каши и киселя из свежих фруктов. И все она старину вспоминает,— какая тогда веселая жизнь была, а теперь никуда не годится. Невдомек ей, что в молодости все кажется хорошо. Повидал я и молодую графиню. Где только, думаю, таких жен выбирают? Высокая, статная, лицом — кровь с молоком. Значит, правильно соусник сказал: через женщин улучшается господская порода. Таких, как эта графиня, я только на картинах видал. А родную дочку свою, Тамару, грудью она не кормит. Кормилицу для девочки наняли. Как-то встретился я с девочкой; сидит она в коляске, показывает на меня пальчиком и улыбается. Ей пока все равно, кто и какого про-

исхождения. Ну, до чего же красивая она! Ангелочек! Меня больше всего удивило: мать не кормит свое родное дите! Как это так можно? Будь она чахоточной — другое дело. А то ведь пышет здоровьем. Неразумные животные, и те кормят детенышей своим молоком, а эта не хочет. А почему? Боится истощить себя и потерять красоту.

Присмотрелся я к графу — заносчивый человек! Со мной почти не разговаривает. Я хожу на цыпочках и все делаю молча, словно у меня нет ни языка, ни голоса. Вероятно, он на всех людей смотрит так же, как смотрит хозяин на своих лошадей,— все должны для него работать, чтобы ему хорошо жилось на земле. Это не то, что мой прежний барин. Тот — простяга, хотя чинами и старше его. А у этого гляди в оба. Однажды я убирал его стол и поставил письменный прибор не на то место, на каком он раньше находился. На каких-нибудь полвершка сдвинул его с прежнего места. Но граф даже такой пустяк заметил. Показывает пальцем на письменный прибор и строго говорит:

— Чтобы этого больше не повторялось.

— Есть, ваше сиятельство!

Стал я привыкать к своим обязанностям. Да и не все ли равно, где служить?

Но муха, когда садится на клейкую бумагу, не знает, что она может влипнуть. Так случилось и со мной. В двенадцать часов граф обычно куда-то уходит из своего кабинета и до следующего утра редко когда возвращается к письменному столу. Без него я и стараюсь везде навести чистоту. И все меня притягивают книжные шкафы. Что за сокровища скрываются за стеклами? Читаю на корешках книг разные названия: «Лоция», «Навигация», «Теория кораблестроения», «Морская практика». Никогда я этих книг не трогал. Но вот попалась мне на глаза «Морская астрономия». Вот о ней-то, вероятно, и говорил мне соусник. И такое любопытство меня охватило, что дрожь по телу пошла. Достал я эту книгу, уселся в кресло за графский стол и с волнением раскрываю ее. И что же? Ничего не могу понять: слова замысловатые и все чертежи какие-то и рисунки, а на них — цифры и нерусские буквы. Как же, думаю, так получается? У соусника я брал книжки по астрономии — там все ясно, а

тут я — как баран перед чудотворной иконой. Перелистываю книгу дальше — то же самое. И не заметил я, как вошел в кабинет граф Эверлинг, а когда увидел его,— было уже поздно. Я вскочил и замер на месте. Он подходит ближе и смотрит на меня такими злыми глазами, точно я у него жену отбил, и спрашивает:

— Просвещаться вздумал? Уселся за моим столом и моими книгами интересуешься?

У меня даже во рту стало сухо.

— Виноват, ваше сиятельство.

— Положи книгу на место.

А когда я это исполнил, он приказал мне повернуться кругом и потом в спину тихо скомандовал:

— Чтобы твоего духу не было здесь, вобла паршивая! Шагом марш!

Вскоре управляющий вручил мне запечатанный пакет, который я должен доставить в свой экипаж по начальству. Я рассказал соуснику, что произошло у меня с графом. Он покачал головой и сказал:

— Да, участь твоя незавидная.

К вечеру он пригласил меня к себе в каморку. На столике у него уже были приготовлены разные закуски. Сам он выпил стакан настойки на ржавых гвоздях и мне поднес. Сидим, угощаемся и разговариваем.

Я жалуюсь ему:

— Ведь не украл я у графа эту самую «Морскую астрономию». Неужели, если я — матрос, мне и заглянуть нельзя в книгу? Я только хотел узнать, как это моряки пользуются астрономией. А ведь от этого ничего не сделается книге. Теперь, наверное, накажут меня. За что, спрашивается? Где же правда?

Прохор Савельич внимательно посмотрел на меня и говорит:

— Ты захотел правды? Она есть на земле. Но только кривда пока сильнее ее. Я расскажу тебе сказочку. А ты запомни ее и поразмысли над ней.

Таких людей, как Прохор Савельич, редко встретишь. Говорю — умнейшая голова. Мы расстались друзьями. Конечно, его сказку я никогда не забуду. Вот она.

В столичном городе на улице встретились Кривда и Правда.

Кривда была телом полная, лицом румяная, одета вся в шелка. Золотые перстни и серьги сияли у нее бриллиантами. Шею украшало ожерелье из самых лучших жемчугов. Кривда была уродливая, но все говорили, что она первая красавица. Она могла зайти в любой сад, в любой самый богатый дом и даже во дворец. Всюду для нее были открыты двери, всюду люди уступали ей дорогу. Что бы она ни сказала, ей поддакивали, с ней во всем соглашались. Все перед нею преклонялись и говорили ей одни ласковые слова. Если она ударяла какого-нибудь бедняка по лицу, тот счастливо улыбался и просил еще раз удостоить его такого счастья. Она ударяла его еще раз и говорила, что претерпевший до конца наследует царство небесное. А пока что избитый бедняк получал от нее, как милость, монету на фунт черного хлеба. Кто мог пойти против Кривды? Она заправляла жизнью людей.

Правда была красавица собой, но уж очень много вынесла она горя и страданий. Мало было людей, которые уважали ее. Отовсюду ее гнали: с фабрик, с заводов, из домов, с любой работы. Вместо одежды на ней висели жалкие отрепья. И сама она до того была худа, что едва передвигала ноги. Только глаза у нее горели яростным огнем,— это-то больше всего и пугало людей. Ей нельзя было появиться на главных улицах. Чистая публика шарахалась от нее и начинала ворчать:

— Зачем пускают сюда эту рвань? Чтобы кошельки таскала из наших карманов? Да она и заразить может нас какой-нибудь пакостной болезнью...

Сейчас же городовые хватали ее за шиворот и прогоняли с главной улицы. Если же она сопротивлялась, то сажали ее в клоповник. Но ее ничем нельзя было запугать. Она не боялась людям говорить обличительные слова. За это ее сажали в тюрьму, ссылали на каторгу. А она опять появлялась среди людей. На свете не было таких оков, которые могли бы сломить ее упрямство.

И вот на широкой улице столкнулись лицом к лицу Правда и Кривда. Разговорились. Кривда в этот день была в барышах,— значит, веселая.

— Все бедствуешь? — спросила она Правду и усмехнулась.

— Да, такая уж моя участь. До поры до времени я еще много должна буду перенести всяких мучений.

И в свой черед спросила Правда:

— А ты, как видно, все богатеешь? Все народ обираешь?

Кривда расхохоталась:

— Пока на свете водятся дураки, я, слава тебе господи, живу хорошо. Пойдем со мною — угощу в самом богатом ресторане. Кстати, поучишься от меня, как нужно жить на свете. И тогда начальство будет тебя уважать, а попы благословлять.

Подумала Правда, — одну ее никогда не пустят в богатый ресторан, а не мешает узнать, чем Кривда живет.

И действительно, нашли такой богатый ресторан, где даже лакеи наряжены по-господски. Правду не хотели было пустить в ресторан, но Кривда прикрикнула на служащих:

— Не перечить моему нраву! Эта особа со мной идет. Я хочу наставить ее на путь истинный.

Никто не посмел возразить Кривде.

Уселась она с Правдой за столом и начала заказывать разные яства и вина. Ели и пили часа три. Подали счет на восемьдесят рублей. Пора уходить. Правда думает: как теперь Кривда будет расплачиваться? А та позвала лакея да как закричит на него:

— Ты что же это, негодяй такой, сдачи мне не даешь? Взял с меня сто рублей и думаешь зажилить двадцать рублей?

Лакей испугался и забормотал:

— С чего сдачи? Вы мне еще не платили.

Кривда рассвирепела:

— Значит, я, по-твоему, вру? Выходит, не ты, а я жулик? Позвать хозяина!

Приходит толстый человек. Кривда раскрывает свой бумажник, вытаскивает из него сотенные да пятисотенные бумажки и орет на хозяина:

— Это безобразие! Это не ресторан, а разбойничий дом. Здесь среди бела дня людей обирают! Вашему жулику я дала сто рублей, а он не принес мне сдачи. Да

еще хочет второй раз получить с меня по счету. Я буду жаловаться генерал-губернатору. Он закроет ваш жульнический притон навсегда. А тебе, укрывателю мошенников, не миновать тюрьмы.

Хозяин задрожал от страха и побелел, как мельник. Отдал он Кривде двадцать рублей. Потом повернулся к лакею и давай колотить его по морде. Мало того, хозяин стал угрожать ему:

— Сегодня же я из твоего имущества наберу всяких вещей на сто рублей. Ты опозорил мой ресторан перед такой знаменитостью. Чтобы твоя нога не была больше здесь. Вон отсюда сию минуту.

Лакей горько заплакал:

— Господи, где же правда на этом свете?

Правда хотела заступиться за несчастного. Но тут Кривда горчицей залепила ей рот.

Когда вышли на улицу, Кривда спросила Правду:

— Теперь поняла, как нужно жить?

— Да,— ответила Правда.— Я для того и пошла с тобою, чтобы хорошенько узнать твою натуру. Но откровенно скажу: твои годы сочтены.

— Почему ты так думаешь? — спросила Кривда.

— С каждым годом ты дряхлеешь, превращаешься в развалину. А у меня все идет наоборот: я наливаюсь силами, становлюсь все крепче. Придет время, когда я заговорю полным голосом, заговорю о всех твоих мерзких делах. Меня услышат все народы нашей земли, и тогда для тебя, Кривда, и для всех твоих почитателей наступит лютое время. Ты будешь ползать у моих ног, будешь просить помилования, но для тебя не будет пощады. Народ сотрет тебя с лица земли, как поганую нечисть. Прощай!

Правда гордо пошла одна, а Кривда хотела позвать городовых, но у нее от ужаса пропал голос и не поворачивался язык.

IX

Спустя еще два месяца фельдфебель объявил Псалтыреву, чтобы он немедленно отправился к прежнему своему барину, капитану первого ранга Лезвину. Захар был смел и решителен, но тут он оробел. Приближаясь к знакомой квартире, он не сомневался, что ему предстоит пе-

режить жестокую расправу. Может быть, его отдадут под суд. И у кого он, матрос, найдет себе защиту? Дезертировать? Но где достать документы? Рука его дрогнула, когда он нажал на кнопку звонка. Дверь с черного хода открыла ему кухарка Настасья Алексеевна. Она обрадовалась его приходу, морщинистое лицо ее оживилось. На кухне, сообщая ему новость, она зашептала:

— Запил барин горькую. До женитьбы это тоже с ним случалось, но не так часто. При барыне он сдерживался. А теперь опять сорвался. Сколько я бутылок ему перетаскала! И такой задумчивый стал, что даже боязно у него жить. Того и гляди, руки наложит на себя. За такую, можно сказать, ветреную бабу и так страдает. Слава богу, что ты пришел. Это я надоумила его: лучше, мол, Захара не сыскать вам вестового.

Она хотела еще что-то сказать, но вдруг повернулась к горячей плите и вскрикнула:

— Ах, боже мой! Вот разболталась с тобою, а тут мясо пригорает.

Псалтырев робко вошел в спальню. Лезвин, в одном нижнем белье, лежал на кровати, прикрыв одеялом ноги. У его изголовья стоял маленький круглый столик с недопитым стаканом черного кофе. Сразу же бросилась в глаза перемена в барине: лицо его осунулось, постарело, под глазами обозначились темные круги, ржавая борода была нечесана. Его можно было принять за больного. Он тихо поздоровался с Псалтыревым, а потом спросил:

— Хочешь, Захар, опять служить у меня вестовым?

Псалтырев, обрадовавшись, резво ответил:

— Рад стараться, ваше высокоблагородие!

— Отлично. Только скажи мне откровенно, Захар, почему ты тогда обманул меня? Почему ты не сообщил о том, что было в моей квартире?

— По правде сказать, ваше высокоблагородие, я хотел обо всем доложить вам, да не решался. Жалко было вас. Вы и без того мучились. Какая была у вас жизнь? Содом и Гоморра.

Лезвин тяжело вздохнул, а приободренный Псалтырев продолжал:

— Из-за женщин всякая беда может быть. Вот у нас был случай в барском имении, по соседству с на-

шим селом. Жена управляющего спуталась с одним студентом. Управляющий накрыл их. И ничего он не придумал иного, как взял и отравился. Я был на его похоронах. Смотрю на виновницу-жену: стоит она в церкви у гроба и слезы роняет. А как понесли гроб, она разрыдалась на всю церковь. Эх, думаю, как жалко ей покойника. А в дверях она отходит в сторону, вытаскивает из сумочки зеркальце и давай себе волосы приглаживать и лицо пудрить. При настоящем горе разве жена станет думать о прическе и пудре? Перед смертью управляющий, поди, думал — после него она с отчаяния будет головой о стенку биться, а получилась вон какая чепуха. Вот почему я и не хотел вас расстраивать, ваше высокоблагородие.

Капитан потер лоб и протянул:

— Так. Пример поучительный.

Псалтырев осмелел:

— С хорошей женой, ваше высокоблагородие, всякое горе нипочем. Но как найдешь такую? Это все равно, что в орлянку сыграть: повезет — и дурак выиграет, а не повезет — и умный все до копейки просадит. Даже не всякий ученый может выбрать себе хорошую жену. Был в Петербурге один знаменитый профессор-доктор. Он все лечил нервных женщин и еще таких... Как они называются? Вроде... историчкн...

— Ты хочешь сказать — истерички? — поправил Лезвин.

— Так точно, ваше высокоблагородие. Самые вредные женщины. Слава об этом ученом докторе гремела на всю столицу. Женщины к нему валом валили. Мужья не жалели никаких денег — только бы вылечил. Но чтобы попасть к нему, нужно было записываться вперед за два месяца. Он брал за прием двадцать пять целковых, а с больной возился всего лишь каких-нибудь пять—десять минут. Только господские жены могли у него лечиться. Бедным это было не по карману. Да среди крестьянок и болезни-то такой совсем нет. В своем селе я что-то не слыхал о ней. И вот этот знаменитый доктор будто бы здорово помогал чужим женам. А свою жену никак не мог вылечить. Каждый день она точила мужа, точно моль сукно, устраивала ему скандалы и не ставила его ни во что. При таком богатстве жизнь для

него стала горче хрена. Вот вам и ученый доктор. Можно сказать, специалист по женской части! А все равно промазал: подходящую жену не мог себе выбрать.

— А ты откуда об этом знаешь?

— Наша кухарка рассказывала мне. Она когда-то жила у него в горничных. Я теперь всю господскую жизнь знаю насквозь. Мне частенько приходится встречаться и с другими кухарками и горничными. Ну, и узнаю от них про все.

— И как же, по-твоему, господа живут?

— Иные подходяще, а иные — очень плохо. Все зависит от того, какая жена попадет. Добрая — веселье, а худая — зелье. Ежели по-крестьянски рассудить, то и ваша жизнь, ваше высокоблагородие, никак не могла наладиться. Вы человек серьезный, а у барыни сквозняк дует в голове. Сам бог, когда создал ее, должно быть, три дня плакал. С такой женой жить — это все равно, что голым на шиповнике спать. Какой интерес? Простите, ваше высокоблагородие, может, я лишнее сказал.

— Нет, ты правильно рассуждаешь. Ты, оказывается, умнее, чем я раньше думал о тебе. Ну вот что, Захар, забудь, что мы с тобой поскандалили, и скорее переселяйся в мою квартиру. А кухарку я сегодня же рассчитаю. Без баб обойдемся. Завтрак ты сумеешь мне приготовить, а обед и ужин будешь приносить из Морского собрания.

Псалтыреву стало жалко Настасью Алексеевну, но через неделю она уже устроилась кухаркой у других господ. Он успокоился. Снова у него наступила сытная жизнь. Барин относился к нему хорошо. Теперь у Псалтырева оставалось много свободного времени, которое он тратил исключительно на самообразование.

Вскоре капитан 1-го ранга Лезвин был назначен командиром эскадренного броненосца «Святослав» и переведен в другой экипаж. Вместе с ним был зачислен в тот же экипаж и Псалтырев.

Наши встречи с Захаром стали реже. А весной его броненосец в составе эскадры ушел в заграничное плавание.

В последний раз, прощаясь со мною, Псалтырев сообщил мне:

— Только тебе одному скажу новость. Второй месяц пошел, как я женился на Вале. И еще больше мы полюбили друг друга.

— Как же ты добился у начальства разрешения на женитьбу?

— А мы сами себе разрешили. Кончу службу — в церкви обвенчаемся. Я без обмана с Валей... Жалко покидать ее, но зато я все моря увижу.

Я пожелал Псалтыреву попутного ветра и разлучился с ним на целых три года.

X

В конце улицы, что упирается в Купеческую гавань, бравый матрос пересек мне дорогу. Мне показались знакомыми его уверенная походка и фигура. Он первый окликнул меня. Передо мною, протягивая мне руку и широко улыбаясь, стоял Захар Псалтырев. Что-то новое было в его обветренном лице с лихо закрученными черными усами. Мы обрадовались друг другу и, завернув в Петровский парк, уселись на скамейку.

Была холодная осень. Над головою шумели деревья, роняя последние остатки пожелтевшей листвы. По Финскому заливу разгуливал резкий ветер и, забавляясь, гонял крутые волны. Малый и Большой рейды были пусты. Военные корабли, кончив летнюю кампанию, стянулись на зимовку в гавань, и она продолжала еще шуметь лязгом лебедок и гудками паровых катеров.

Разговаривая с Псалтыревым, я всматривался в его лицо, обожженное южным солнцем и овеянное ветрами разных широт. Это уже был не тот деревенский парень, какого я знал с новобранства. Заграничное плавание, пребывание в иностранных портах, знакомство с жизнью людей разных стран до неузнаваемости расширили его умственный горизонт. Со мною рядом сидел развитой моряк, разбирающийся в военно-морском деле так хорошо, как будто он кончил Морской кадетский корпус. А между тем он продолжал оставаться вестовым.

Псалтырев весело воскликнул:

— Эх, сколько я должен рассказать тебе! И про наше плавание, и про начальство, и про свою любовь. Я ведь сейчас возвращаюсь от Вали. Ночевал у нее. Но о

ней — после. Теперь определилась моя дороженька. В деревню, видно, мне не придется вернуться. Буду моряком на всю жизнь — либо останусь на сверхсрочную службу, либо поступлю на коммерческие корабли. Я так полюбил море, что без него жить не могу. И корабль для меня стал родным домом.

Он показал рукой на левую сторону гавани:

— Вон наш двухтрубный красавец стоит — «Святослав». Завтра спускаем вымпел и флаг. Зиму на берегу поживем, а весной опять отправимся в плавание. Броненосец наш — самый образцовый. Насчет порядка и боевой подготовки ни один корабль во всем флоте не может с ним тягаться. Ну что за судно! Так бы и плавал на нем без конца.

Я спросил, глядя на восторженного вестового:

— Значит, командир старается и во все вникает сам?

— Ничего подобного. Я за него это делаю. Да ты что таращишь на меня глаза? Думаешь, я умом рехнулся? Нет, друг, моя голова работает исправно.

— Ничего не понимаю,— удивился я.

— А вот расскажу тебе все, и ты поймешь.

Псалтырев покрутил большие черные усы и начал рассказывать, а я слушал этого своеобразного человека, как всегда, очень внимательно.

— Никогда, друг, не узнаешь, как повернется твоя судьба. Когда барин мой, капитан первого ранга Лезвин, вызвал меня во второй раз к себе, я думал — пропала моя головушка. А вышло все наоборот. Человек он умный и добрый. Только пьет много. Должно быть, очень обидно ему, что жена у него такой оказалась. От этого он немного ненормальным стал. А все-таки такого командира не сыскать нигде. Для команды он — благодетель, для офицеров — ад. А я с ним живу, что называется, душа в душу. Одно лишь плохо — заставляет и меня водку пить. На корабле все считают его за трезвенника, и никто, кроме меня, не знает, что на самом деле происходит у нас. С берега я доставляю ему крепкие напитки: ром, коньяк, виски. Этого добра у нас всегда в запасе целые ящики. А из буфета кают-компании ничего не берем. Утром командир выходит к подъему флага, принимает рапорты

от старших специалистов и после этого целый день спит. Потом еще раз, вечером, появится на палубе к спуску флага. В редких случаях можно увидеть его на мостике. Но зато ночью он, словно сыч, не спит совсем. Тут подавай ему на стол выпивку и закуски. И только я да стены его каюты знают, как он чайными стаканами хлещет водку. И меня угощает. Но где же мне за ним тянуться? Я квасу не могу столько выпить, сколько он водки. Я отказываюсь от выпивки, а барин смеется надо мною:

— Эх ты! А еще крестьянин! Сирень ты персидская!

И такой вот загул у него происходит каждую ночь. Поэтому сначала распущенность на судне была невероятная. А мне до слез было обидно за свой корабль. Потом мы взялись за дело по-настоящему.

Но сначала расскажу о себе. Я теперь привык спать не больше трех-четырех часов в сутки. Не хватает у меня времени: то корабль изучаешь, то на книги набрасываешься. Грамматику, наконец, я осилил и почти совсем не делаю ошибок. Арифметика мне легче далась. Как-то командир увидел у меня задачник Малинина и Буренина и спросил:

— А ты понимаешь что-нибудь в этой книге?

— Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие, любую задачу могу решить.

— А ну, попробуй!

Он ткнул пальцем в раскрытую книгу.

Я быстро решил задачу.

Он прицелился в меня взглядом.

— Кто тебя учил?

— Никто. Сам занимаюсь.

Командир удивился.

— Теперь тебе надо за алгебру приниматься.

— А вы бы помогли мне, ваше высокоблагородие?

— Учебник для тебя достану, а помогать не буду. Раз ты взялся за учебу самостоятельно, то и дальше продолжай так. Честь и хвала тебе будет, если ты без всякого учебного заведения станешь образованным человеком.

И еще стал я увлекаться чтением разных книг. Что может быть лучше чтения? Никто из образованных людей не станет со мною разговаривать,— для офицеров я только вестовой. Лишь один мой барин по доброте

своей душевной делает для меня исключение. А тут берешь книгу великого человека и с волнением раскрываешь ее. Этот великий человек не гнушается матросом. Словно другу и товарищу, рассказывает он мне наедине о жизни других людей. Да ведь какими словами говорит и какие картины рисует! Иногда дух захватывает. Из книг я с жадностью черпаю знания и накапливаю их в своей голове, как великие драгоценности.

Но меня интересует не только художественная литература. На барахолке я купил уголовный кодекс и прочитал его от корки до корки. И теперь я знаю, за что людям наказание бывает и по каким статьям их судят. Попался я с этой книгой на глаза командиру. Он смеется:

— Неужели тебе интересно это читать?

— Да как же, ваше высокоблагородие, не интересно? Сами посудите: вот вам небольшая книга, а в ней предусмотрена вся человеческая жизнь. Закон — это линия для людей, как для лошади борозда, когда пашешь. Чуть сверни с нее — получай и в хвост и в гриву. Я все думаю: если кто-нибудь совершит такое преступление, для которого нет статьи в законе, то что тогда будет? Раз нет статьи, то ведь и судить человека нельзя?

Барин на это ответил:

— Оригинал ты у меня.

А потом посоветовал мне:

— Ты бы лучше занялся учебником для строевых унтер-офицеров. Впоследствии я произведу тебя в унтеры.

— Покорнейше благодарю вас, ваше высокоблагородие.

Выучил я этот учебник почти наизусть, но толку от этого было мало. Требовалось строевую часть пройти еще на практике. И тут мне очень помог наш старший боцман Кудинов. О нем надо рассказать подробнее.

Много у нас было на корабле пьяниц из офицеров и матросов, но он по части выпивки всех перекрыл. И все-таки голова у него всегда соображала. Он плавал на коммерческих и пассажирских судах, а больше всего — на военных кораблях. Нет таких морей, на которых не побывал бы боцман. За двадцать пять лет службы во флоте он так освоил судовые порядки, что мог поучить любого офицера. И когда только этот человек спал? Даже в часы отдыха он обходил корабль и заглядывал

в такие места, какие не входили в его ведение,— в башни, в бомбовые погреба, в угольные ямы, в кочегарку, в машинное отделение. И знал он на судне каждую заклепку не только сверху, но и за двойными бортами. Если бы он попал в хорошие руки, то для судна такой боцман был бы кладом. Кудинов не боялся ничего на свете — ни моря, ни огня, ни людей, ни бога, ни черта. Начальство прощало ему пьянство и все его причуды.

У боцмана была своя правда, и он по-своему защищал ее. Зря он никого не обижал, но провинившийся матрос лучше не попадайся ему,— изобьет. Ударял и приговаривал, за что он наказывает матроса, а напоследок прибавлял:

— А это тебе за господа бога!

И все же команда любила его. Он никогда не подводил матросов перед начальством. Не жаловался он, когда и ему попадало от них на суше. Словом, выходило так: на корабле он бьет их, а на берегу иногда они его колотят. Широкий и сильный, он умеючи действовал в драке своими длинными, как у гориллы, руками. За двадцать пять лет службы ему выбили все зубы. Переносица у него была перебита, и от этого кончик носа задрался. Стал похож боцман на старого мопса. На лице у него не осталось живого места, все оно было в шрамах. Но больше всего пострадал в драке правый глаз. Перекошенный и вывернутый, он настолько вылез из глазницы, что веки не могут его закрыть. Боцман и спит с открытым правым глазом. Храпит, а сам смотрит, как будто и во сне продолжает следить за судовыми порядками. Но видит он им нормально. Только жутко бывает, когда Кудинов своим поврежденным кровавым оком уставится на тебя, словно разъяренное сказочное чудовище. В кабаках об его голову столько разбили бутылок, что на ней сплошь образовались бугры и ямы. Постричь машинкой или побрить такую голову для парикмахера было нелегкой задачей. За это они брали с него в два раза дороже, чем с остальных людей.

Боцман очень любил, когда матросы обращались к нему за каким-нибудь советом и называли его по имени и отчеству: Лаврентий Касьянович...

Тогда он ласково улыбался беззубым ртом и становился задушевным человеком. Как только я узнал об

этом, то частенько стал бегать к нему с разными вопросами. Он часами поучал меня, как нужно маты плести, как морские узлы завязывать, для чего блоки служат и как нужно ими пользоваться. Через него я узнал, так сказать, душу корабля и всю строевую службу. Боцман так полюбил меня за это, как будто я был его родственником. Когда мы оставались с ним один на один, он ругал офицеров:

— Пустой народ. Для многих из них корабль вроде забавы, как карусель для детей. За что, спрашивается, получают большое жалованье? Если бы у меня была власть, я бы показал им, как нужно служить родине. Небо вспотело бы от жары.

А сам боцман был таким моряком, как будто он и родился в якорном клюзе. Преданность судну у него была необычайная. За всю свою многолетнюю службу он ни разу не остался «нетчиком». Бывало, напьется и выделывает по улице такие зигзаги, какие разве только на адмиральских погонах увидишь, а с курса не сбивается. Случалось, что на четвереньках приползал на пристань. Один только раз опоздал на последнюю ночную шлюпку, да и то не по своей вине. И не растерялся — бросился в воду и давай плыть к своему судну. А оно на рейде стояло. Пожалуй, часа два боцману пришлось плыть. И вот что всех удивило: ночь была темная, на рейде стояли и другие корабли, а все-таки он — в пьяном-то состоянии — разыскал свое судно. Подплыл к борту и кричит вахтенному начальнику:

— Честь имею явиться, ваше благородие.

В это время вахтенный начальник по мостику прохаживался и, может быть, о чем-нибудь мечтал. Ночь была тихая. Шлюпка не могла подойти без шума,— как-никак, всплески весел он услышал бы... И вдруг из-за борта раздается человеческий голос. Вахтенный начальник дернулся, перегнулся через поручни и, должно быть, с испугу заорал:

— Что за чертовщина! Кто там такой? Человек или привидение?

— Да это же я, ваше благородие, боцман Кудинов.

— Что случилось? Почему опоздал?

— Я тут ни при чем. Последняя шлюпка на десять минут раньше указанного времени отвалила от пристани.

За борт выбросили шторм-трап, и боцман поднялся на палубу.

На второй день расследовали это дело: боцман оказался прав. В кают-компании офицеры только посмеялись над ним и никакому наказанию его не подвергли.

Грубый человек был этот старый холостяк Кудинов, а сердце у него было хорошее... Попробуй при нем обидеть женщину, хотя бы уличную,— расшибет! Бывало, отпустят его на берег, он набьет карманы конфетами и наделяет ими ребятишек.

Был с нашим боцманом такой случай. Эскадра наша стояла в Неаполе. Я был отпущен в город. К вечеру небо заволокло тучами. Я с одним машинистом заторопился к пристани. Улица спускалась под уклон. Видим: идет Кудинов, шарахается из стороны в сторону, кренится то на правый борт, то на левый. А тут ударил ливень. Боцман потерял остойчивость и растянулся между мостовой и тротуаром. Ливень все сильней,— прямо уж не ручьи, а река хлещет. Видим мы, что захлебывается боцман грязной водой и никак встать не может. Получается несуразица: все моря и океаны человек обошел, а на берегу может утонуть. Бросились мы к нему и начинаем его поднимать. А он отфыркивается, загребает руками, словно плывет по морю, и кричит нам:

— Женщин и детей спасайте, а я еще могу держаться!

Пока мы его довели до пристани, он малость очухался.

Словом,— это настоящий боцман! Море для него — мать родная, корабль — брат родной. Жаль, начальство использует его не так, как нужно. С таким боцманом можно поставить корабль на зависть всем врагам.

И вот теперь я знаю строевое дело по учебнику, а через Кудинова — и на практике. Что командир ни спросит меня, на все я даю ему правильные ответы. Но в унтер-офицеры он все еще не производит меня. Говорит, что ему не хочется расстаться со мною. Ну, что ж, я могу подождать, а живется мне с ним очень хорошо.

XI

Псалтырев замолчал, увидев приближающегося к нам лейтенанта. Мы оба вскочили и отдали честь. Но офицер, занятый своими думами, прошел мимо, не обратив

на нас никакого внимания. Глаза на его окаменевшем лице были неподвижны, как у рыбы, и напряженно устремлены вперед.

— Наш вахтенный начальник Морозов,— сказал Псалтырев, когда мы снова уселись на скамейке,— мрачный человек. Никогда я не видал, чтобы он улыбался. Вот и узнай, чем он ушиблен, о чем думает. Но матросов он не обижает. Образованный человек!

Но тут я попросил Псалтырева рассказывать дальше.

— ...Хотя я прислуживаю только командиру корабля,— продолжал мой друг,— но присматриваюсь и к другим офицерам. Всякие среди них есть: пьяницы и трезвые, хорошие и плохие, умные и глупые, веселые и мрачные. Я настолько изучил их, что могу сразу определить, кто женат, кто беден, кто богат. Женатые и бедные — это офицеры из прогоревших дворян. Жалованья им не хватает, на всем им приходится экономить. Белье они носят «монополь». Манишка, воротничок и манжеты стоят всего лишь пятнадцать копеек. Богатые такую дешевку не будут покупать. Эти и за столом держат особый фасон — салфетки у них всегда заткнуты за воротничок. Их так и называют — салфетники. Непонятно для меня одно: все эти благородные люди ютятся в одной и той же кают-компании, и у всех у них должна быть одинаковая цель — поднять боевой дух корабля. Но почему-то строевые офицеры относятся к нестроевым свысока. А ведь нестроевые, как, например, судовые и трюмные механики и доктора, имеют высшее образование. Но они носят серебряные погоны, поэтому им дана обидная кличка: «березовые офицеры».

Заговорил я о кают-компании, а не сказал самого главного: знаешь, кого я там встретил? Лейтенанта Мишеля, того самого, который путался с моей барыней и подвел меня. Фамилия его — Сухов. На судне он занимал должность ревизора. И еще один знакомый оказался на нашем корабле — лейтенант граф Эверлинг. К нам его назначили вахтенным начальником. Узнал он меня, но не поздоровался, только губы скривил. Но об этих двух офицерах расскажу после подробнее.

Как говорится, каков поп, таков и приход. Командир мало интересовался своим судном. У него появилось какое-то равнодушие ко всему. Ну, само собой разумеет-

ся, и офицеры разленились. А раз начальство такое, то и матросы стали лодырями. Одним словом, военный корабль превратился в пассажирский пароход для прогулок. Пушки, минные аппараты и разные механизмы начали ржаветь.

Взялись мы с командиром вместе за борьбу против распущенности. Ты, наверно, удивляешься? При чем, скажешь, тут вестовой? А я сейчас тебе расскажу, в чем дело. Пойми, друг, ведь мне следить за порядками на корабле сподручнее, чем командиру. Возьмем любого из командиров — как поступает он? Раз в две недели, в какой-нибудь праздник, устраивает смотр своему судну. Все заранее готовятся к этому, во всех отделениях наводят чистоту, даже кочегарку моют с мылом, медяшку надраивают до блеска. Поглядит он на все и доволен, но в сущность дела не вникает. А ведь военный корабль — это тебе не картина, которой можно только любоваться. На нем, может быть, в бой придется идти... Больно мне смотреть на такие порядки. Уж очень я полюбил свой корабль. Все его оборудование интересует меня: и артиллерия, и как башни вращаются, и чем начинены снаряды, и минное дело, и электричество, и машина. Одним словом, мне хочется все узнать. Иду я к комендорам. В одной башне побываешь, в другой, заглянешь в казематы, иногда спустишься в крюйт-камеры или бомбовые погреба. Вот комендоры-то и рассказывают мне обо всем устройстве. Я теперь могу любую пушку разобрать на части, смазать их и опять поставить на место. Знаю, как зарядить ее и как из нее стрелять. И тут же, кстати, выведаю от комендоров, что по артиллерии хорошо налажено и что плохо, понимающие ли у них офицеры и как они относятся к своим обязанностям. И выходит, что за меня смотрит сотня пар глаз, соображает сотня голов. А разве эти комендоры будут так говорить с командиром, как говорят оии со мной? Да теперь я и сам замечаю всякие недочеты на корабле.

Вижу я, что мой барин все больше и больше прислушивается к моим словам. Другой офицер на его месте обиделся бы и выругал бы меня последними словами. А этот нет. Надо, думаю, воспользоваться этим.

И вот однажды ночью, за выпивкой, я докладываю своему барину все, что узнал по артиллерии. Он спокой-

но выслушал меня и берет книгу приказов. Когда он пьяный, то голова у него лучше работает, острее соображает. Пишет и каждое слово произносит вслух. Приказ начинается так: «Мною замечено...» И давай перечислять все, что я наговорил ему: «Катки, на которых вращается башня, проржавели, башня идет со скрежетом,— пожалуй, когда-нибудь и совсем остановится. При заряжании двенадцатидюймовых орудий нет взаимного смыкания. Заряжают их чересчур медленно, так что между выстрелами проходит три минуты, а полагается не больше двух...» Я тут подсказываю барину:

— Ваше благородие! Когда мы стояли в Тулоне, мне удалось побывать на французском военном корабле. Там заряжают такое же орудие в полторы минуты.

Командир подтверждает: верно,— в артиллерийском деле корабли передовых стран Европы далеко опередили нас. И продолжает гвоздить в приказе дальше: «Повседневной проверки орудий, готовности их механизмов к немедленному действию не производится. Трущиеся части у некоторых орудий закрашены, что влечет за собою затрудненное действие механизмов. Комендоры-наводчики не обучаются наводке днем, а ночью совсем не практикуются. Температура в крюйт-камерах и погребах держится неравномерная: то очень низкая, то очень высокая против установленной нормы. От этого порох разлагается, выделяет особые газы,— они могут самовозгореться. Тогда броненосец со всеми людьми взлетит на воздух. Такие случаи уже бывали с военными кораблями...» Заканчивается приказ строгими выговорами: старшему артиллерийскому офицеру, младшему артиллерийскому офицеру, башенным командирам, кондукторам,— с предупреждением, что если подобная распущенность будет продолжаться, то виновники пойдут под суд за невыполнение распоряжений.

Командир прочитал мне приказ и спросил:

— Ну как, Захар?

— Складно, ваше высокоблагородие, получилось. На корабле нужна строгость. Иначе нельзя. А вдруг война? Тогда пропадай все?

Командир доволен.

— А теперь, сирень персидская, давай выпьем.

На второй день он для близиру заглянул в башни, а потом послал меня с книгой приказов к виновникам:

— Пусть прочтут и распишутся.

Эх, что с ними было, с этими офицерами и кондукторами. Читают приказ, а сами бледнеют, и краснеют, и дергаются, и губы кривят. Я смотрю на них и как будто ничего не знаю. И сейчас же они отправляются к орудиям, лезут в подбашенные отделения, в погреба, всюду заглядывают. День и ночь люди в работе — прямо нарадоваться нельзя.

А я тем временем начал таким же манером изучать минное дело. Сначала мне пришлось прочитать об этом книжонку. По правде сказать, первое время я плохо в ней разбирался. А когда минеры показали мне все на практике, для меня многое стало ясным. Теперь мина Уайтхеда хорошо знакома мне. Какое страшное орудие придумано против человека!

По минной части я сделал командиру подробный доклад,— столько пересчитал недочетов, что пришлось по два раза загибать пальцы на обеих руках. Командир даже испугался. Я сейчас же подал ему книгу, а он давай в ней строчить, и все по пунктам.

Вот что выяснилось насчет хранения мин. Воздухонагнетательные машины работают плохо, воздух накачивается медленно, чем затягивается время приготовления мины к действию. Нет многих ключей для обращения с минами. Болты для присоединения боевых зарядных отделений не подходят к гайкам, резьба у многих сорвана, поэтому зарядное отделение может оторваться от резервуара сжатого воздуха. Машинные регуляторы не ставят на место — пружины нажимают и не отдают, из-за чего они слабеют. Запирающие клапаны травят воздух. Не всегда стопора находятся на гребных винтах, а это может вызвать неожиданную работу гребных винтов и привести к несчастным случаям. Гребные винты проворачивают не ежедневно. Боевые зарядные отделения, как и запальные стаканы, не смазаны, ржавеют, взрывчатое вещество начинает разлагаться, угрожая взрывом в погребе.

Не лучше обстоит дело и на минных учениях. При снаряжении ударника по халатности забывают по-

ставить капсюль; такая мина не взорвется, хотя бы и хорошо попала в неприятельский корабль. При постановке ударника не пользуются кожаными прокладками, чтобы предупредить проникновение воды в него, и, таким образом, грозное оружие превращается в самодвижущуюся игрушку. При проверке работы машин и других приборов не проверяется вывод рулевого стопора, что может повести к неправильному ходу мины на определенной глубине. Когда откачивают воздух, то не продувают разделителей, поэтому вместе с воздухом попадает масло и вода, что приводит к загрязнению приборов и неправильной их работе.

Много еще пунктов написал командир. Пора, дескать, покончить с этой нетерпимой расхлябанностью. Мы плаваем не ради своего удовольствия, а для того, чтобы приготовить весь личный состав и корабль к будущей войне. Словом, здорово раздраконил старшего и младшего минных офицеров. В заключение распорядился, чтобы они производили минное учение со своими подчиненными каждый день. А старшему офицеру приказал следить за этим.

На следующий день, так же как и в первый раз, командир для вида спустился в минные погреба, а потом заставил минеров зарядить и разрядить минные аппараты. На это у него ушло времени не больше получаса. Минные офицеры спохватились, когда он уже возвращался к себе в каюту. После этого я понес им книгу с приказом. Как раз в это время младший из них находился в каюте старшего минного офицера. Обоих, лейтенанта и мичмана, точно поленом огрел этот приказ: то они в книгу заглянут, то посмотрят друг на друга... Один лупит глаза, как будто ополоумел, другой морщится и моргает, будто заплакать собирается.

— Как говорится, продраили нас обоих с песком,— заговорил, наконец, лейтенант.

— Это жестоко! — пропищал мичман.

— Пришло же старому черту в голову не вовремя проверить минное дело! А потом эта книга приказов пойдет в Главный морской штаб. Какое мнение там сложится о нас?

— Какой позор! — воскликнул мичман и ухватился за голову.

Оба они настолько были взволнованы, что даже забыли о моем присутствии. Разве можно так разговаривать о командире при нижнем чине?

Не хотелось им расписываться, а все же тому и другому пришлось приложить руку под приказом.

Другие старшие специалисты, как увидели, что дело пошло у нас всерьез, прилежнее стали работать. Но мне казалось, что все еще мало сделано. Я продолжал действовать. Много слабых сторон у нас было в машинах и кочегарках. Судовое расписание не удовлетворяло,— можно его иначе сделать и будет лучше. Командир только приказы пишет: «Мною замечено» и так далее. Некоторые из них читали на шканцах во всеуслышание. А приказы эти были настолько резки, что у многих от них поджилки тряслись. Должно быть, из-за своей мадам командир ненавидел офицеров, как крестьяне — конокрадов.

Но случалось, что командир рассердится на мой доклад и начнет кричать:

— К черту все это! Пропадай он пропадом, весь наш корабль! Чтоб его бурей вдребезги разнесло! Надоел мне и весь наш идиотский флот!..

А когда выпьет водки и остынет, я опять тихонько к нему подъезжаю:

— Приказик-то, ваше высокоблагородие, все-таки следует написать. Раз вы взялись порядки на судне наводить, то нельзя на полпути останавливаться. А то офицеры будут смеяться. Скажут, что не хватило у вас пороху, и вы отступили.

— Э, черт, давай книгу приказов!

А для меня это было большой радостью, потому что корабль наш становился все лучше.

Командир редко появлялся среди команды и непосредственно почти не имел с нею никакого дела. И все же какая-то невидимая близость между ним и матросами все вырастала и крепла. На него они смотрели, как на хорошего человека и честного начальника. Я со своей стороны подогревал эту любовь к нему и всячески поднимал его авторитет. Без этого, думал я, нам трудно управлять кораблем и поднять по-настоящему его боевую мощь. Иногда приходилось мне что-нибудь придумывать в пользу командира. Для этого я выходил на бак. Ко мне обращались матросы:

— Ну, как поживает наш командир?

— А что ему делается? Живет хорошо.

— Что-то он редко показывается нам.

— А зачем ему показываться? Он и без того все знает, что делается на судне.

— Откуда же он все знает?

— Кое-что докладывают ему старший офицер и старшие специалисты. Случалось, что они хотели надуть командира. Но куда там! У него глаз, как алмаз, насквозь все видит. Этот человек только взглянет издали на пушку и уже знает, в каком состоянии она находится. По слуху он может определить, как работают главные машины. Возьму, например, себя: я только подумаю о чем-нибудь, а он уже мне говорит, какие у меня мысли. По лицу и по глазам узнает мои думы, словно колдун. Вот каков командир! А кто о команде больше всех заботится? Только он один. Сколько раз я слышал, как он журчит офицеров, чтобы они не обижали матросов.

Вот в таком роде я понаговорю о своем барине, а после этого уже сами матросы начинают хвалить его на все лады:

— Ну, с таким командиром плавать можно.

— Во всем флоте не найдешь такого начальника.

— Вот это командир! За него мы в огонь и в воду полезем. Только скажи он нам слово.

Но команду одними словами не возьмешь, подавай ей факты. А они были налицо. Взять, например, нашего ревизора, лейтенанта Сухова. Это — тот самый Мишель, который с моей барыней путался. Он и теперь очень увлекается женщинами и в то же время говорит о них всякие гадости. Матросы знали, что он наживается на командных харчах. Помогал ему в этом баталер. Между прочим, про офицеров, как я теперь узнал, зря говорят насчет воровства. Кроме своего жалованья, откуда у них могут быть безгрешные доходы? Ни деньгами, ни харчами они не ведают. А пушки, снаряды и мины никуда ведь не продашь. Другое дело — ревизор. В его руках находится вся отчетность. Он оплачивает все счета. Вот еще разные чиновники во флоте,— из них мало честных найдешь. Может и командир судна поднажиться, если захочет: на ремонте корабельных частей в иностранном порту, на покупке угля, машинного

материала. Но для этого ему нужно сговориться со старшим механиком. А разве мой барин пойдет на такие дела? Во всем флоте это самый честный человек. Беда его была в том, что он ничего не знал о проделках ревизора и во всем доверялся ему. А тот пользовался этим доверием и набивал деньгами свои карманы.

Команда не любила лейтенанта Сухова. Одно время он наладил кормить команду вермишелью. Как известно, в Италии этот продукт и макароны стоят дешево. Любят итальянцы эту пищу. Недаром их называют — макаронники. Ну, а нам побольше щей давай и каши. Всем надоела вермишель, да притом еще жиденькая, без навара. Заглянешь, бывало, в котел для девятисот человек, а там плавает всего лишь несколько звездочек жира. И решили матросы отомстить ревизору. Однажды вечером он долго засиделся в канцелярии, а когда вернулся к себе в каюту, то вскипел от гнева: на переборках, на столе, на книгах, на отчетности, на одежде, в карманах, в шкафу — всюду была вермишель. На это ушло ее, вероятно, не меньше ведра. Ревизор бросился с жалобой к командиру. А кто виновники? Разве их найдешь среди девятисот человек?

В этот вечер командир спросил меня:

— Как ты, Захар, думаешь, за что это так матросы мстят ревизору?

— Зря, ваше высокоблагородие, ничего не делается. Значит, есть у них на это причины.

— Какие?

Через юнгу я уже знал, как ревизор вместе с баталером обворовывают команду. Я рассказал об этом командиру. Он разгорячился и хотел сейчас же вызвать к себе лейтенанта Сухова.

— Я упеку этого дамского кавалера в тюрьму!

Я посоветовал барину подождать с этим делом. Получилось у нас как нельзя лучше. Рано утром отпустили для камбуза свежего мяса. Я намекнул командиру:

— Пора, ваше высокоблагородие, проверить дамского сердцегрыза.

Он назначил комиссию из трех человек: строевой офицер, старший механик и врач. Взвесили они мясо, подсчитали число порций — не хватает на триста человек. Взяли за жабры баталера. А тот малый был дурковатый

и сильно испугался. Ну, и давай он все выкладывать начистоту и сваливать на ревизора: какие и где взятки брали, как составляли фальшивые счета. Комиссия проверила эти счета. Все показания баталера подтвердились полностью. Можно сказать, поймали воров с поличным. Командир об этом отдал приказ, который прочли на шканцах. Ревизор и баталер пошли под суд.

Команда еще больше уверилась, что командир на их стороне.

Однажды командир спросил меня:

— Откуда ты, хитрец, взялся? Кто родил тебя?

— Родила меня, ваше высокоблагородие, крестьянка. Однажды она пошла в лес за грибами, а тут вздумал я не вовремя появиться на свет. Пришлось ей постелить в кузов травки и вместо грибов принесла меня домой.

Командир насупился и что-то долго соображал.

— Жаль, очень жаль, что твоя мать срок не уловила. Тебе следовало бы родиться либо позднее, либо лет на сто раньше, и не в России, а во Франции. Ты что-нибудь слыхал про Наполеона?

— Это что Москву забирал? Кто про него не слыхал? Самый, говорят, умный император был. Своих царей русский народ не знает, а его во всех деревнях знают.

— Так вот, Захар, если бы ты при нем был, то из тебя вышел бы большой человек. Может быть, я был бы при тебе адъютантом. А у нас, в России, лакеем ты служишь у меня, лакеем и останешься. И даже я могу тебя произвести только в унтер-офицеры. Дальше этого нет тебе ходу.

— Да мне ничего и не надо, ваше высокоблагородие. Я только хочу, чтобы наше судно было лучше всех иностранных кораблей. Нравится мне морское дело.

Ну, действительно подняли мы свой броненосец — теперь хоть куда! Даже в Англии не стыдно появиться. Молодец командир! Хоть и ненормальный немного, но без жены он здорово поумнел.

XII

К нам подошел, держа под руку девицу, молодой белокурый матрос, сослуживец Псалтырева, и бойко проговорил:

— Захару Петровичу почет и уважение.

— Наше вам нижайшее, Яшенька,— ответил Псалтырев.

— Не приходил наш катер?

— Нет. Но скоро, вероятно, будет. А ты сегодня с подругой по парку лавируешь?

— Да, лучше не собьюсь с курса.

Девица, низкорослая и полногрудая, с накрашенными губами, с рыжими локонами, прищурив хмельные глаза, вызывающе рассмеялась:

— Все порядочные моряки с женщинами гуляют. Только вы, как два бирюка, в такой холод сидите на скамейке. Не прошибло вас цыганским пóтом?

— Не всем выпадает такое счастье, как нашему Яшеньке.

Пара немного поболтала с нами и удалилась.

— Тоже вестовой. Обслуживает нашего старшего офицера,— промолвил Псалтырев и снова начал рассказывать о своем плавании.

— Сначала нашей эскадрой командовал контр-адмирал Вислоухов.

На эскадре он прославился своими причудами. Он, например, любил задавать команде разные вопросы. И тут ты можешь врать сколько угодно, но обязательно должен браво ответить,— в молодцы попадешь. А если будешь молчать, то обзовет тебя дрянью, дураком, болваном. А вопросы у него были всякие:

— В каком море был Синопский бой?

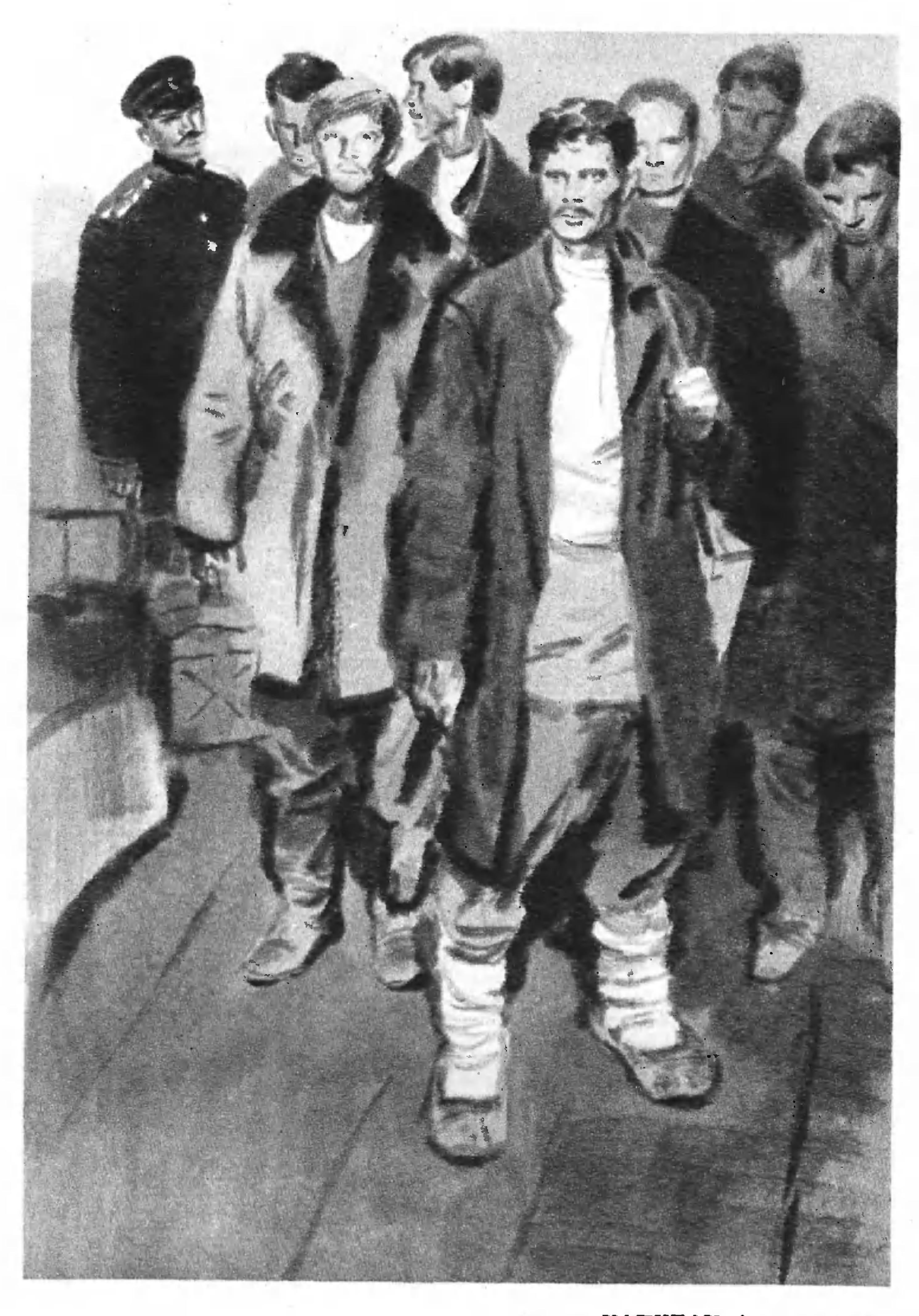
— В Балтийском, ваше превосходительство.

— Немножко ошибся, голубчик. Этот бой был в Черном море. Запомни это. А в общем молодец! Хорошо отвечаешь!

А еще с ним так бывает. Пусть матрос на карачках ползает по мостовой и весь в пыли, но только честь адмиралу отдавай — ничего не будет. Даже похвалит такого:

— Вот этот моряк — пьяный, а сознания не теряет.

Другой матрос до того наспиртуется, что валяется на улице, как бревно,— ни рукой, ни ногой не шевельнет. Вислоухов обязательно свернет к нему и начинает рас-



«КАПИТАН 1-го РАНГА»



«КАПИТАН 1-го РАНГА».

сматривать, куда у него голова направлена: если в сторону пристани, то не будет ему никакого наказания. Адмирал только скажет:

— Бедняга! Ведь верный курс держал — прямо на корабль. Но перегрузил себя и в пути застрял.

И наймет на свой счет извозчика, чтобы доставить пьяного матроса на пристань.

Но если матрос лежит головой в сторону от пристани, то уж без наказания ему не обойтись. Адмирал начнет причитать над ним:

— Ах, подлец! Хотел убежать с корабля. Не удался мерзавцу план — водка помешала.

Сейчас же разыщет патрульных и прикажет им:

— Отволоките этого негодяя на пристань. Пусть дежурный офицер передаст на корабль мое распоряжение — посадить беглеца на пять суток в карцер.

Однажды адмирал Вислоухов приехал к нам на судно, и я видел его. Телосложением старик напоминал богатыря. Сивая борода у него, словно пучок кудели, расстилалась во всю грудь и даже прикрывала ордена. Адмирал задрал голову и прошелся вдоль фронта медленно и с таким видом, как будто хотел доставить нам удовольствие: подольше, мол, полюбуйтесь мною. Офицеры заранее нас предупредили, да и сами мы знали, что он любит строевое учение и маршировку. В это время каждый матрос должен приставить одну ногу к другой как можно громче. По распоряжению адмирала старший офицер скомандовал нам два раза «кругом», а потом:

— Три шага вперед — арш!

Не очень складно у нас вышло, но зато от наших ног вздрогнула палуба броненосца.

Адмирал остался доволен. Нашим броненосцем он не интересовался. Не было сделано ни боевой тревоги, ни пожарной, ни водяной. Фронт распустили, а сам начальник эскадры ушел в кают-компанию, где в честь его приготовили богатый обед с выпивкой. Офицеры пили шампанское, кричали «ура» и всячески прославляли адмирала. Часа через три два мичмана вывели его на верхнюю палубу. Он шел и пошатывался. Командир и остальные офицеры сопровождали его. Вдруг он остановился и приказал:

— Вызвать наверх какую-нибудь роту и построить ее повзводно. Барабанщика с барабаном — ко мне.

В одну минуту распоряжение адмирала было выполнено.

Он обратился к старшему офицеру:

— Пусть рота помарширует по верхней палубе, а вы будете командовать.

Потом повернулся к барабанщику:

— А ты, голубчик, стой здесь и ударь на своем инструменте так, чтобы за сердце хватило.

Раздалась команда, рота зашагала. Барабанщик так старался, что готов был пробить натянутую кожу на своем инструменте. Офицеры едва сдерживали себя от смеха. Командир смотрел на всю эту комедию угрюмо.

Адмирал кивал головою и говорил:

— Так, так... Хорошо, очень хорошо!..

Его водянисто-белесые глаза часто заморгали. По лицу покатились слезы и застряли в сивой бороде. Он поднял руку и сказал:

— Довольно!

А потом, словно отец при прощании со своими сыновьями, он тихо и ласково наставлял наше начальство:

— Нужно, господа офицеры, любить барабан больше, чем всякую другую музыку. Не стыдитесь, если его божественные звуки вызовут у вас слезы. Это значит, что вы настоящие воины.

Адмирал взглянул на командира и почти дружески сказал:

— Вы должны каждый день устраивать такие репетиции.

Лезвин стал возражать:

— Конечно, ваше превосходительство, как военные люди, мы все должны знать повороты направо и налево, а также маршировку, но постольку, поскольку это необходимо. А делать на это упор я нахожу не совсем целесообразным.

— Почему?

— Мы готовим людей не для того, чтобы маршировать на плацу, а хорошо управлять боевым кораблем.

Адмирал рассердился и так дернул себя за бороду, как будто хотел вырвать ее. Глаза его стали сухими. Он задвигал бровями и раскричался:

— Вы, очевидно, примиритесь даже с тем, что матросы на корабле будут ходить, как деревенские бабы за грибами. Нет-с! Этому не бывать! Если я что-нибудь приказываю, то у меня на плечах голова. Что же, по-вашему, я дурак или идиот? Я спрашиваю вас, господин капитан первого ранга Лезвин,— дурак я или идиот? Будьте любезны ответить мне на мой вопрос.

Командир смотрел на адмирала с какой-то брезгливостью и резко отчеканил:

— Никак нет, ваше превосходительство, вы — не дурак и не идиот. Но мне казалось, что лучше было бы...

Вислоухов вдруг смягчился:

— Пусть в следующий раз вам не кажется... Начальник эскадры лучше знает, что хорошо и что плохо. А ваше дело точно исполнять мои приказания.

Адмирал мирно, как будто ничего не произошло, распростился с командиром и другими офицерами и зашагал по палубе. Два мичмана помогли ему спуститься по трапу и сесть на паровой катер. Катер дал свисток и направился к флагманскому кораблю.

Зачем, спрашивается, приезжал к нам адмирал? Он, наверное, думает о себе, что без него наша эскадра развалится, словно плохо увязанные дрова с воза. На самом же деле такой начальник нужен для нее, как лесной клещ для скотины.

Один матрос сказал о нем:

— Ничего у нас адмирал — солидный, но уж очень умом пообносился.

В эту ночь мой барин был угрюм и почти не разговаривал со мною. Он молча наливался алкоголем и раздраженно плевался в ответ каким-то своим мыслям. Я даже стал бояться, как бы что с ним не случилось.

Когда наша эскадра пришла в Тунис, адмирал Вислоухов уехал в Россию. Он до этого хворал недели две, а тут ему стало хуже. И знаешь, кто явился на его место? Контр-адмирал Виктор Григорьевич Железнов. В нашей кают-компании офицеры говорили, что этому начальнику эскадры очки не вотрешь — понимающий моряк. И матросы с флагманского корабля хорошо отзывались о нем:

— Серьезный адмирал и справедливый.

Но никто так не волновался, как я. Неужели и вправду он приходится мне тестем? Может быть, кухарка зря сболтнула, что она с ним прижила Валю? Эти думы не давали мне покоя. Уж очень несуразные неожиданности иногда получаются в жизни. Официально адмирал имеет двух детей — сына и дочь. Он сам догадывается, что они не его крови. И родились они от женщины, которую он ненавидит. Она для него не подруга, а ведьма с Лысой горы, как говорит наша кухарка. И все же он воспитал своих неродных детей по-настоящему, не жалел для них денег. Дочь его вышла замуж за профессора, сын женился на богатой и знатной баронессе. А вот о родной дочери, которая родилась от любимой женщины, адмирал мало беспокоился. Правда, он помог ей стать на ноги, но это все пустяки в сравнении с тем, что он сделал для официальных своих детей. И, пожалуй, его прямо-таки возмутило бы, если бы за меня вышла замуж не Валя, а его другая дочь, хотя она и не родная ему. Получается: может быть, у мужчин нет совсем отцовских чувств, а есть только привычка к детям? Или он боялся мнения людей своего круга?

Итак, тесть — адмирал, а зять — вестовой. Захотелось мне во что бы то ни стало посмотреть на него и самому убедиться, насколько моя Валя похожа на своего отца. Побывал он у нас на «Святославе», но я в это время находился на берегу. Рассказывали мне, что адмирал Железнов нашел кое-какие недостатки и сделал выговор нашим офицерам. Мы тогда еще не успели навести порядки. Потом мы стояли в Алжире. Я нарочно ездил на флагманский корабль, чтобы взглянуть на своего тестя. И опять мне не пришлось встретиться с ним: он не вышел из каюты. Только в Александрии, и то издалека, я увидел, как он садился в катер.

За все время плавания Валя не выходила у меня из головы. Через месяц, как мы разлучились, я получил от нее письмо — сообщила, что беременна. Но она нисколько не раскаивается, что сошлась со мною, а еще пуще прежнего любит меня. Поверишь ли ты, я плакал над ее письмом. Вот до чего она растрогала мое сердце. Из каждого порта я посылал ей письма и в каждом порту получал от нее ответы. Советует мне больше за-

ниматься самообразованием и всячески подбадривает меня. По ее словам, у нее теперь только два друга — мать и я, а потом будет еще тот, кто родится. И верит, что я никогда ее не брошу. Да разве такую подругу бросишь? Я даже стихи о ней начал писать.

Бывало, после полуночи, когда уснет мой барин, выйдешь на верхнюю палубу, устроишься где-нибудь на рострах и долго сидишь один со своими думами. Эскадра в походе. На нашем броненосце, кроме вахтенных, все спят. А он дымит двумя трубами и, словно от радости, вздрагивает в теплом сумраке. За бортом ласково воркуют небольшие волны. Небо блещет яркими звездами. Может быть, и она, моя Валя, сейчас смотрит на небо? Мысли уносят меня через огромные пространства в знакомую комнату. И тогда я больше не вижу ни моря, ни эскадры, не слышу звона отбиваемых склянок. В воображении она рядом со мною. В моих ушах звенит говор и смех моей возлюбленной. Я ощущаю на своих щеках ее дыхание, на губах — ее поцелуи, вокруг шеи захлестнуты ее руки.

Мне уже удалось прочитать порядочно книг о любви. Что же все-таки это такое — любовь? Каждый писатель решает этот вопрос по-своему. Я не писатель, но Валя пробуждает во мне разные мысли. На все хочется иметь свое определение. Соловей только потому хорошо поет, что где-то в кустах его слушает соловьиха. И каждый из людей по-своему поет для своей соловьихи: один играет на скрипке, другой картины пишет, третий что-нибудь изобретает, четвертый мошенничает и так далее. И мне хочется хоть чем-нибудь удивить и обрадовать мою Валю. Я занимаюсь самообразованием и напрягаю свой мозг, чтобы быть образованным человеком. Вытянусь в ниточку, а своего добьюсь.

Иногда приходит мне в голову такое сравнение. Нужно, скажем, кораблю перейти в другой порт — за три тысячи морских миль. Что для этого делается? Командир отдает распоряжение, куда идти, и корабль снимается с якоря. У штурмана давно уже на морской карте проложен курс к определенному маяку. Какие испытания предстоят этому судну в пути? Девиация компаса и склонения компаса будут сбивать его с намеченного курса. Но хороший и опытный штурман примет все это во вни-

мание и внесет свои поправки. Найдутся и еще помехи для корабля — побочные течения или сильные ветры будут сносить его в ту или другую сторону от намеченного курса. Опять потребуются поправки. На пути могут встретиться подводные рифы. Их придется обойти. Наконец, могут обрушиться на него такие встречные бури, когда черные тучи смешаются с вздыбившимся морем. Кругом даже днем ничего не видно, а ночью и подавно. Случается, что машины работают во всю мочь, чтобы двигать корабль вперед, но буря, словно таранами, бьет в его скулы волнами и отбрасывает назад. И все же, хоть с опозданием, он придет к тому маяку, к какому нужно.

И каждый человек, по моему мнению, должен избрать себе в жизни какой-то маяк и стремиться к нему, как тот корабль, о котором я рассказал: кто хочет стать инженером, кто — учителем, кто — офицером, кто — борцом за правду. Много неприятностей человек будет встречать на своем пути. Но если он не сломается, то не может того быть, чтобы перед ним не засиял радостный луч его маяка.

Долго я тревожился за Валю, много дум передумал о ней. Наконец она известила меня: родила сына и назвала его, в честь моего отца, Петром. Я мысленно кричу ему:

— Ну, сынок, расти и занимай свое место на земле!

В эту ночь я ставлю для барина на стол выпивку и закуски, а сам не могу удержаться от улыбки. Вся кровь играет во мне. Командир заметил мою радость и спрашивает:

— С чего это ты сегодня сияешь так?

Я сочиняю ему:

— Интересный сон видел, ваше высокоблагородие.

— Какой же?

— Полюбила меня одна принцесса. Красоты она необыкновенной. Богатствам счету нет. Женился я на ней. И она родила мне сына. Такого славного мальчика свет еще не видывал. Бегает он по лугам, а я не могу на него налюбоваться. Слышу команду: «Вставай! Койки вязать!» До чего же мне не хотелось расставаться с таким сном, а пришлось вскочить.

Командир смеется:

— Странно. Все у тебя произошло в одну ночь: и принцесса полюбила, и женился на ней, и сын родился, и уже по лугам он начал бегать.

Хоть и сильно я люблю Валю, но вместе с тем продолжаю следить за порядками на корабле. Уж больно мне нравится морское дело. Жаль, что прав у меня нет. Приходится под чужим флагом работать. Да это меня мало беспокоит. Лишь бы наш «Святослав» был на лучшем счету.

В заграничном плавании хоть не отпускай команду на берег,— напивалась она зверски. Каждый раз при возвращении на корабль несколько десятков матросов приходилось поднимать на талях. Сколько было срамоты перед иностранцами.

Возьмем, например, нашу стоянку в Марселе. Ночью вернулись с берега шлюпки. На них сорок человек находились в таком состоянии, что ни рукою, ни ногою не могли пошевелить. С помощью талей подняли их на палубу; переписали фамилии. По распоряжению старшего офицера разостлали на баке брезент. На него, как трупы, уложили рядами пьяных. Другим брезентом покрыли, чтобы не простудились за ночь. Утром послышалась дудка, а вслед за нею раздалась команда вахтенного унтер-офицера:

— Все пьяницы на шкафут! Выстроиться во фронт!

Пришел старший офицер. Большие усы у него были закручены вверх и напоминали два серпа. Ему нравились те матросы, которые ухаживали за своими усами. В голове у него, можно сказать, были какие-то странные выверты. Когда он подходил к фронту, то всегда первым делом отдавал приказ:

— Подкрутить усы!

Так он поступил и на этот раз. Все сорок человек, что выстроились в одну шеренгу, взмахнули руками к носу. Сделали это и те молодые матросы, у которых на верхней губе пробивался только пух, как у цыпленка. Через минуту усы были подкручены. Старший офицер скомандовал:

— Смирно!

Он прошелся вдоль фронта, строго посмотрел каждому в лицо и заговорил:

— Надрызгались вчера, да? Меры не знаете, да? Можно с такой швалью управлять кораблем, да?

Накануне, по случаю своих именин, он сам всю ночь пил в кают-компании. Пьяницы молчали. Они хорошо знали, что за этим последует, и не ошиблись. Старший офицер зашел с правого фланга и начал всех подряд награждать пощечинами: то с правой, то с левой руки. Каждый матрос по два удара получил. По-настоящему, хлестко бил. Казалось, что таким манером он свои мускулы развивает. Только один матрос был обойден. Уж очень у него усы были красивые: черные, как вороново крыло, и так лихо расстилались по его курносому лицу, что у начальника рука не поднялась на такого молодца. Остальные матросы все получили свою порцию. Старший офицер выполнил свое дело и распорядился:

— Вахтенный! Передай боцману Кудинову, чтобы он поставил их на работу. Одни пусть медяшку надраивают, другие ржавчину отбивают с якорного каната.

Потом вызвал баталера и приказал ему:

— Выдать им всем по чарке водки за мой счет.

Обидно мне было, что наша команда в иностранных портах так конфузит русский флот. Стал я придумывать меры против этого. Сначала нужно было избавиться от штрафных и всякой швали. Человек пятнадцать у нас было неисправимых. Сами они ничего не делали и других развращали. И в особенности один из них этим отличался — матрос Луконин. Он прослужил двенадцать лет, а ему еще осталось дослуживать пять. Что это значит? Десять лет с перерывами он провел в дисциплинарных батальонах. А это не засчитывается в срок службы. Но Луконин не унывал и посмеивался сам над собою:

— Тяну и тяну военную лямку, а конца все еще не видать. Значит, я вдоль службы попал.

Я рассказал обо всем командиру и стал уговаривать его, что не мешало бы, мол, сократить это пьянство. И подал ему список тех матросов, каких нужно списать с судна. Сначала он заупрямился. На корабле он сам был первым алкоголиком, и ему, очевидно, стыдно было наказывать людей за пьянство. Я некоторое время подождал. А когда барин захмелел, я подсунул ему книгу приказов. Взял он в руки перо и начал строчить. Получилось у него замечательно: не приказ, а пропо-

веды! Все изложил: и как позорно военному человеку напиваться, и как это вредно для здоровья, и как алкоголь иногда ломает человеческую жизнь. Посторонний человек подумает, что такой приказ мог написать только командир, который, кроме причастия, ни капли не употреблял спиртных напитков. Прочитал он свое сочинение, погладил ржавую бороду, как-то криво усмехнулся и сказал:

— А теперь, Захар, давай еще выпьем по стаканчику.

Приказ был отдан. Через несколько дней подвернулся русский коммерческий пароход. Пятнадцать человек пьяниц из команды в сопровождении строевого унтер-офицера были отправлены на нем в Кронштадт. После этого пьянство на корабле стало сокращаться.

XIII

Захар Псалтырев закурил папиросу.

Из-за облаков выглянуло солнце. Засверкали сияющими бликами взъерошенные воды залива. Налетевший ветер закачал деревья, срывая с них осенний наряд. В воздухе, падая, закружились пожелтевшие листья. Освещенные лучами, они были похожи на тончайшие пластинки золота.

Я спросил:

— Что же, командир всех офицеров так жучит?

— Больше всего он не любит красивых и дамских кавалеров. Им достается от него. Значит, здорово они обожгли ему сердце. А чем непривлекательнее офицер, тем лучше относится к нему мой барин. Я тебе расскажу об одном таком чудаке. Служит он у нас на судне старшим штурманом. Фамилия его какая-то нелепая, не офицерская — Подперечицын.

Этот лейтенант не прожил и тридцати лет, а разбух, как тесто на хороших дрожжах. Ростом — средний, но очень широк телом. Весом — не меньше семи пудов. Говорят, это у него от какой-то болезни — такая ненормальная толщина. Лицо красное и круглое, как надутый шар. А на рыжих усах скромно приютился маленький носик, точно голенький воробьиный птенчик на гнезде. Казалось, у лейтенанта совсем нет костей. Лопни у него кожа,

он сразу весь расплескается кровью, и от человека останется вроде пустого мешка.

Штурманское дело он знает неплохо. Насчет курса у него не бывает ошибки. Наше судно вышло из Кронштадта в заграничное плавание на три дня позднее эскадры. Мы должны были с нею встретиться в Шербурге. Не успели мы выйти из Финского залива, как навалился на нас такой густой туман, что ничего вокруг не видно. Он нас сопровождал несколько дней. Так прорезали мы, словно окутанные непроглядным дымом, Балтику, Немецкое море, Ла-Манш и вошли в порт Шербург. Подперечицын во все время пути вел броненосец только по счислению и по прокладке. Где еще такого моряка сыскать? По ходатайству командира его произвели в штурманы первого разряда.

Но если не было опасности, он относился к своим обязанностям спустя рукава, точно исполнял что-то постороннее и ненужное. Бывало, появится в ходовой рубке с таким усталым и сонным видом, как будто не спал несколько ночей. Заглядывает он в свои морские карты, а сам то и дело раскрывает рот и зевает с каким-то усыпляющим завыванием. И удивительно — это действует заразительно и на других. Минут через десять, кто бы в рубке ни находился,— все начинают зевать. Я и на себе это испытал. Иногда даже боязно было, что люди на вахте могут заснуть.

Команда посмеивалась над старшим штурманом, но любила его. Офицер этот — редкой доброты. На вахте ни одного скверного слова от него не услышишь. С матросами он дружит, держится с ними запросто и пишет за них письма к их родственникам. А своим сигнальщикам и рулевым даже сочиняет любовные письма, и все в стихах.

Но вот что произошло из-за штурмана с сигнальщиком Хлудовым. На судне у нас нет такого здоровенного верзилы, как этот сигнальщик, и силу имеет он непомерную. Но очень внешностью нескладный человек: жилистый и узловатый, как дубовые корни, чернобородое лицо, широкое и рябое, как решето, рот почти до ушей и похож на пасть. Такой же он сонуля, как и Подперечицын. Заражался он зевотой от своего начальника первым. И вот однажды после обеда стоят люди на вахте

и, по обыкновению, все зевают. А сигнальщик Хлудов так раскрыл рот, что у него вывихнулись челюсти и нельзя было их сомкнуть. Но это только потом узнали, в чем дело, а сначала никто не мог понять, что случилось с человеком. Рот у него так раскрыт, что можно видеть горло и маленький язычок; кривые зубы оскалены, глаза вывернуты наизнанку. Что-то он машет руками и вместо слов издает рычание. Всем жутко стало. Вдруг он бросился к вахтенному начальнику графу Эверлингу — должно быть, хочет что-то сказать ему и не может. А тот отпрыгнул от него на целую сажень, как от страшного привидения, тоже почему-то замахал руками и завопил, точно испуганный ребенок:

— Вахтенный! Караул наверх! Вахтенный! Связать сумасшедшего!

Сигнальщик рычал, рычал, потом повернулся и побежал по трапам вниз. За ним ударились вахтенные матросы, но поймать его никто не осмелился — бешеный. Может сразу сокрушить человека. На судне начался переполох.

Граф долго не мог прийти в себя, дрожал и наконец обратился к штурману:

— Что же это такое? Надо поймать этого зверя. Он может перекусать людей.

Подперечицын зевнул и ответил спокойно:

— Доктор выяснит.

Оказалось, что сигнальщик и убежал-то к доктору, и тот сразу поставил ему челюсть на место. Вернулся он на мостик какой-то растерянный, с виноватым видом.

— Вобла вяленая,— процедил сквозь зубы граф и отвернулся от него.

С этого дня сигнальщик Хлудов больше всего боялся, как бы опять не повторилось с ним такое несчастье. И в то же время при штурмане никак нельзя было ему удержаться от зевоты. Как тут быть? И приспособился: как только начинает у него раскрываться рот, он мгновенно хватается одной рукой за голову, а другой изо всей силы подпирает нижнюю челюсть.

Командир прощал Подперечицыну все его недостатки и обходился с ним даже ласково. Я, конечно, понимаю,— такой офицер не мог отбить у него жены.

Меня удивлял Подперечицын своей вялостью и равнодушием к судну. Казалось, ничто не могло его взволновать. Возникни пожар в бомбовом погребе или в крюйткамере,— он все равно не перестанет зевать. Но нет на свете такого человека, который бы ничем не увлекался. И этот лейтенант очень любил пение. Офицеры говорят, что при высочайшем дворе он был регентом и управлял хором. Все у него ладно было, но внешность его портила ему карьеру. Главное, знатным дамам он не понравился. Уволили его и послали в плавание. Как только попал он на наш броненосец, сейчас же начал испытывать голоса матросов. Всю команду перебрал. Целый месяц он с этим делом возился и сколотил хор человек в сорок. Я тоже был зачислен в его хор. Когда он с нами занимается, откуда только у него берется такая бодрость. Заставляет всех изучать ноты, волнуется и готов проводить спевки круглые сутки. И уж тут ни разу не зевнет. Словом, у нас теперь такой хор, какого нет ни на одном корабле всего флота.

В праздник, во время обедни, стоит только Подперечицыну взять камертон в руки, как сразу он весь преображается. Для него важнее хора ничего нет на свете. А как он сам поет! У него высокий и нежный тенор. Слушать его — душа тает. Если не смотреть на эту ожиревшую семипудовую тушу, то можно подумать — это ангел спорхнул с неба на землю и заливается сладчайшим голосом. Запой он так весной в лесу, все птицы, кажется, замолчат и только будут слушать лейтенанта. Очень мне нравится, когда у нас исполняют «Иже херувимы». Басы, баритоны, тенора так дружески и складно переплетаются, как будто одна душа поет. А голос лейтенанта дрожит и выше всех поднимается, словно хочет достигнуть до ушей самого бога.

Раньше, бывало, боцманы и капралы никак не могут загнать матросов в церковь. А теперь, кроме вахтенных, все налицо. Каждому охота послушать хор.

Лейтенант Подперечицын водки в рот не берет, а главное — совсем не признает светских песен. Он пристрастился только к церковному пению. Можно подумать, что это самый религиозный человек и ему только бы монахом быть. А в действительности он, по-видимому, не верит ни в бога, ни в черта. Я был потрясен, когда узнал

об этом. Из его хора горе бывает тому человеку, который собьется с тона. Лейтенант все может простить, но если врешь в пении — пощады не проси. Однажды со мною так случилось. Запели мы «Спаси, господи, люди твоя», и я сбился с тона. Смотрю, у лейтенанта заплывшие синие глаза стали вдруг злыми, как у разъяренного хищника. Он схватил меня за ухо и так потянул, что у меня, вероятно, рот набок съехал. А сам лейтенант продолжал заливаться ангельским голосом. Но только слова молитвы заменял самыми похабными словами.

После обедни он призывает меня к себе в каюту и говорит:

— Ты уж прости, что я погорячился, и вот тебе подарок от меня.— И тут же дает мне плитку шоколада.— Только следующий раз не сбивайся в пении. Иначе я не ручаюсь за себя. Ты можешь остаться без уха.

Так он поступает со всеми, кто сбивается с ноты. Сначала накажет, а потом наградит — кого деньгами, кого фруктами, кого запиской на пять чарок водки.

XIV

Псалтырев, разговаривая со мною, иногда отвлекался от своего рассказа.

Коммерческий пароход, проходя мимо гавани, громко загудел.

— Английский купец в Петербург идет,— отметил Псалтырев, глядя на пароход.

В гавани паровой катер, сделав крутой поворот, с полного хода пристал к трапу какого-то крейсера.

— Ах, как здорово у него вышло! Какой замечательный глазомер у рулевого! Красота!

Серые, с маленькими точками на роговицах глаза моего приятеля радостно сияли. Меня удивляла его беспредельная любовь к кораблям. Казалось, он смотрел на них с таким же восторгом, с каким смотрит наследник на свое будущее богатство.

— Вот теперь я графа Эверлинга узнал как следует. С виду он нисколько не изменился. Как и в Петербурге, каждый день он брился и пудрился, и одет был с иголочки. На черном галстуке сверкал бриллиант, как звезда. Раскроет, бывало, свой золотой портсигар, усыпан-

ный драгоценными камнями, и сейчас же раздается тихая и очень приятная музыка. Очень этому удивлялись: в такой маленькой вещице будто комариный оркестр играет. Графа побаивались даже офицеры. А матросам не дай бог с ним вместе служить. Он не то, что другие начальники,— не шумел, не ругался и не дрался; и все же такого пакостного человека не сыскать. Офицеров и то презирал и почти не разговаривал с ними. А здоровался он со всеми небрежно, подавал одни только пальцы и никогда не пожимал руки. И пальцы у него всегда были холодные. Я, конечно, не щупал их, но знаю об этом из разговоров в кают-компании. Офицеры прозвали его: граф «Пять холодных сосисок». Эта кличка перекинулась в команду, и все стали его так называть. Если уж к офицерам он относился пренебрежительно, то нечего и говорить о матросах. Они вызывали у него какое-то гадливое чувство. Для каждого из них при обращении к ним у него было лишь одно название «вобла». Для гребцов хуже всего было, когда приходилось куда-нибудь отвозить его на шлюпке. Никак не угодишь ему. Наказывал матросов он всех скопом. Сначала командует:

— Суши весла!

А потом прикажет правому загребному:

— Ну-ка ты, вобла вяленая, дай по морде следующему гребцу, а тот пусть передает дальше, чтобы кругом пошло!

И матросы начинают лупцевать друг друга. Последним получает удар тот, кто начал,— правый загребной бьет левого загребного. Пока матросы занимаются избиением один другого, граф «Пять холодных сосисок» строго наблюдает за ними. Если ему покажется, что они слабо это делают, приказывает еще раз повторить. Каждый из них возвращается потом на судно с красной и припухшей левой щекой. Таков был этот начальник из знатного рода. Когда вахта у него, он ходит себе по мостику и покрикивает:

— Фалы подтянуть!

А их уже двадцать раз подтягивали. Прав был соусник: человека узнают по его делам. Очевидно, в морском деле граф понимает немного лучше, чем акула в алгебре. Но все он что-то строит из себя и всем хочет показать,

что он особенный человек. И даже в кают-компании сидит за столом и ни на кого не смотрит. А во время чая всегда одна и та же комедия происходит. Какой бы чай ему ни подал вестовой — жидкий или крепкий,— он недоволен и приказывает:

— Отлить и долить!

Однажды вестовой ответил ему:

— Отлито и долито, ваше сиятельство.

Граф рассердился:

— В карцер на трое суток!

Но на одного из вестовых он нарвался. Прежний его вестовой заболел, и к нему назначили нового. Этот парень мог хоть кого огорошить. Явился он к графу, а тот посмотрел на него и, должно быть, чем-то остался недоволен. Он ядовито заговорил:

— Послушай, вобла, откуда ты такой дурак взялся?

Матрос был парень развитой и ошарашил своего барина ответом:

— Умных вестовых, ваше сиятельство, назначили к умным офицерам, а меня почему-то к вам приставили.

Граф даже побледнел от злости и сейчас же накатал рапорт на этого матроса.

Один из наших офицеров нарисовал карикатуру. Стоит граф с протянутой рукой, а на ней вместо пальцев — пять сосисок. Внизу подпись: «Граф «Пять холодных сосисок». Эту карикатуру послали ему по почте. Эх, и взбеленился он, когда распечатал конверт. Сейчас же к командиру с жалобой. При мне это было, я в спальне находился, кровать своего барина убирал. Граф всегда говорил тихо, а на этот раз раскричался:

— Я не позволю, чтобы надо мною так издевались! Наша графская фамилия — старинного рода, четыреста лет существует. Я требую отдать под суд виновника.

Командир осадил его:

— Напрасно, граф, вы кричите так громко. Мой слуховой аппарат в полной исправности. Я хорошо услышу вас, если вы будете разговаривать со мною тихо и спокойно. Это — во-первых. А во-вторых, кого же я должен отдать под суд? Кто автор этой карикатуры?

Граф сразу осекся и стал говорить умереннее:

— Это сделал какой-нибудь негодяй из команды. Я раньше слышал, как при моем появлении на палубе

матросы повторяли фразу «Пять холодных сосисок». И только теперь стало понятно, в чем дело.

— Так вот что, граф, я должен вам сказать. От этой клички вы никогда не избавитесь. На какое бы вас судно ни перевели, она будет преследовать вас наравне с вашей настоящей фамилией. Почему? Да потому, что нашим матросам никто не запретит встречаться с командой того судна, на каком вы будете плавать. Вот они-то все и расскажут о вас.

Так граф «Пять холодных сосисок» и ушел от командира ни с чем.

Кроме меня, никто не знал, кто нарисовал такую карикатуру. А узнал я это случайно. Дня за три до того, как граф получил ее, командир послал меня позвать лейтенанта Подперечицына. Я — бегом в его каюту. Стучу в дверь, слышу в ответ:

— Войдите.

Открываю дверь. Лейтенант сидит за столом и смотрит на меня, немного растерянный. Я с порога докладываю ему приказ командира. Он сразу заторопился и начинает собирать со стола какие-то бумаги. Одна из них вылетела из его рук в мою сторону и упала на коврик. Смотрю — боже ты мой! На бумажке нарисован наш граф. Изуродован невероятно, а похож, и всякий может сразу узнать его. Словом, это была та самая карикатура, какую он показывал командиру. Я говорю лейтенанту Подперечицыну:

— Крепко, ваше благородие, вы изобразили здесь его сиятельство. Если эту штуку показать ему, позеленеет, как от морской болезни.

Лейтенант строго спрашивает меня:

— Ты можешь держать язык за зубами?

— Когда нужно, я бываю немой, как осетр.

— Значит, никому ни звука об этом.

— Есть, ваше благородие!

Это событие произошло в итальянском порту Генуя. Русская эскадра еще накануне ушла в Палермо, а наш броненосец «Святослав» на несколько дней остался здесь, чтобы закончить ремонт машин. С двенадцати часов дня граф вступил на вахту. На небе ни облачка, сентябрьское солнце с морем играет, а он ходит по мостику злой, как будто у него печень распухла. Флотскую фу-

ражку с белым чехлом на лоб надвинул и ни на кого не хочет смотреть. Какие мысли в это время копошились в графской голове? К удивлению всех, он ни разу не выкрикнул своей обычной команды, чтобы фалы подтянули. Только через час выяснилось, чем была занята его голова. Он приказал вахтенному отделению выстроиться во фронт на шкафуте. Граф спустился с мостика, обвел глазами вытянувшихся матросов и спросил:

— Кто из вас любит сосиски?

Все в недоумении молчали. Тогда он отобрал из фронта шесть матросов, какие ему лицом не понравились, и приказал им сесть на шестивесельную шлюпку. С корабля им подали буксирный трос, закрепленный за кнехт. Когда все было приготовлено, граф с мостика крикнул, держа перед губами мегафон:

— На шестерке! Весла на воду!

И вот шесть человек начали буксировать броненосец водоизмещением почти в пятнадцать тысяч тонн. При полном безветрии пекло солнце. Изгибались гребцы, разноцветно вспыхивали лопасти весел. От бортов шестерки разбегалась сияющая рябь. Что переживали ни за что ни про что наказанные матросы? Они были выставлены на посмешище. Оскорбление их увеличивалось еще тем, что они занимались бессмысленным делом. Это все равно, как если бы заставили шесть комаров тащить за волосы человека. Большинство команды вышло на верхнюю палубу. Всем обидно было за своих товарищей, но никто не мог прекратить издевательство графа. И некоторые офицеры возмущались его поступком. Ведь им тоже было стыдно за свое судно. Генуя — мировой порт. Сотни кораблей стояли под флагами разных наций. Со многих из них смотрели в бинокль на такое нелепое зрелище. Сначала они, вероятно, не понимали, в чем дело. Тысячи таких шлюпок не могли бы сдвинуть с места броненосец, стоящий на якоре. А тут русские хотят что-то сделать при помощи только одной шестерки. Потом-то, конечно, они догадались, что это своего рода наказание для матросов. Сам граф «Пять холодных сосисок» остался доволен своей затеей: ходит себе по мостику, как жених, и закручивает усы в колечки. По временам он направлял мегафон на шестерку и кричал:

— Эй, вобла! Навались на весла!

Вечером, за выпивкой, я нарочно заговорил с командиром о боевой подготовке команды:

— У нас, ваше высокоблагородие, часто бывает так: судьба случайно сведет матросов с каким-нибудь офицером. И вот они вместе служат, вместе плавают на одном корабле. Для чего? У них одна цель — в случае войны вместе бить врага. Но этот офицер, скажем, чувствует себя временным гостем на судне, со своими подчиненными никак не ладит и вызывает в них только вражду к себе. Можно ли с ним добиться успеха во время сражения? Нет. Если люди ставят на кон свои жизни, то они должны верить своему начальнику. Он для них все — учитель и друг. Никаких сомнений в нем. Иначе — все пропало. Сколько ни вооружай армию или флот, только напрасно будут гибнуть жизни. Не так ли, ваше высокоблагородие?

— Правильно рассуждаешь. Но ты, рязанский мужичок, не зря это мне говоришь. Что-то у тебя на уме другое.

— На уме у меня всегда только одно — наш корабль. Скажу прямо — кто из матросов во время боя может доверить свою жизнь графу Эверлингу?

И я подробно рассказал командиру, как граф издевается над матросами. Это задело командира за живое. Он раздраженно, словно обидели его лично, сказал:

— Давай книгу приказов!

Никогда раньше он не писал так свирепо, как на этот раз. И откуда только такие умные слова у него нашлись. Матросов он возвеличил, назвал их защитниками родины, а графа «Пять холодных сосисок» искромсал и за нарушение правил морского устава приговорил его к трем суткам ареста в каюте с приставлением к нему часового. И вообще этим приказом командир запретил всем офицерам заниматься мордобойством. На следующий день приказ прочли на шканцах во всеуслышание. И я присутствовал при этом. Интересно было наблюдать за графом — стоит он мертвенно-бледный, склонивши голову. Ведь впервые его так огорошили. Он пошел к себе в каюту, ни на кого не глядя.

С этого дня у нас на судне прекратилось безобразие, и начальство перестало заниматься рукоприкладством. Команда еще больше полюбила своего командира и го-

това была за него пойти на любой риск. Учение шло на судне как нельзя лучше. Всюду наблюдалась образцовая чистота.

Дня через три мы снялись с якоря и ушли из Генуи. Броненосец наш направлялся к берегам Сицилии. Стояла тихая погода. Средиземное море обошлось с нами, как старый друг. С эскадрой наш «Святослав» соединился в Палермо. Город чистый, приятный и, как показалось мне, небольшой, но в нем — сотни церквей. И кто только молится в них! В особенности мне понравился старинный собор. Весь он как будто воздушный и стоит более шестисот лет. Это объяснил мне мой приятель, машинист самостоятельного управления Григорьев. Очень умный парень. Я с ним гулял в городе и в окрестностях Палермо. Мой приятель много рассказывал мне о церквах и здорово высмеивал итальянских попов и монахов. Но выходило так, будто он разделывал православную религию. Ядовитый человек. От него же я узнал, что около Палермо когда-то высадился Гарибальди, знаменитый итальянский патриот. При нем была только одна тысяча волонтеров. Но Гарибальди не побоялся с ними начать войну против австрийского и папского ига. Отряд волонтеров начал обрастать восставшими крестьянами, и Гарибальди победил. Я подумал: может быть, со временем и у нас найдется подобный вождь и установит в России другие порядки. В окрестностях Палермо застыли высоченные горы. В одной из них мы осмотрели пещеру Дионисово ухо. Громадных размеров она. Григорьев мне объяснил, что в ней запирали на ночь рабов. До двадцати тысяч помещалось их там. И вот что удивительно: в этой пещере такое эхо, какого нигде нет. Скажи вслух слово, и вверху точно гром раздается. Даже от шелеста бумаги такой шум поднимается, как от бури в лесу. Эта пещера похожа на раковину уха. Рабов нарочно запирали туда, чтобы они не устроили заговора против своих господ. Наверху были сделаны такие окошечки, через которые можно было услышать все, что делается в пещере,— даже шепот людей. Вот что придумали богачи для бедняков. Но я отвлекся. Вернусь к своему кораблю. Присоединились мы к своей эскадре рано утром и стали на якорь. После подъема флага в офицерской кают-компании начался завтрак. Подали сосис-

ки с капустой. Офицеры многозначительно переглянулись. Граф заметил это и сейчас же подозвал к себе вестового.

— Ну-ка ты, вобла! Передай повару, чтобы он приготовил для меня два яйца всмятку, а эту дрянь убери,— сказал он и показал на тарелку с сосисками.

Некоторые из офицеров заулыбались, другие громко фыркнули, а один мичман промолвил:

— Да, сегодня мне подали сосиски холодные, как пальцы в мороз. Противно даже дотронуться до таких сосисок.

Мать ты моя родная, что тут случилось с графом! Точно царапнули его по самому сердцу. Он вскочил, обвел всех офицеров помутившимися глазами и громко заявил:

— Это низость! Я не могу больше находиться среди такого общества!

И убежал к себе в каюту. В кают-компании начался переполох. Офицеры сочли себя оскорбленными: все встали и запротестовали против такой выходки графа. Поднялся невообразимый галдеж. Старший офицер, как хозяин кают-компании, начал успокаивать их. Некоторые из них угрожали вызвать графа на дуэль. Кончилось тем, что они написали командиру рапорт: просят его разобрать это дело. Граф, в свою очередь, написал ему рапорт, в котором заявлял, что заболел и просит освободить его от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, от него был послан начальнику эскадры донос. Получился сложный переплет. Все офицеры были настроены против командира за то, что он очень круто начал подтягивать их по службе. Но здесь по крайней мере преследовалась та цель, чтобы подготовить боевую мощь корабля. А «Пять холодных сосисок» ни за что ни про что презирал их, хотя у самого графа, кроме графской спеси, ничего не было за душой. Мало того, он нанес им оскорбление. В конце концов они взяли сторону командира. Они думали, что он придирается к ним во имя долга службы. И каждому было видно, что порядки на корабле несравненно улучшились. Поэтому и авторитет командира стал среди них постепенно подниматься.

Вечером, за выпивкой, барин обратился ко мне:

— Ну, Захар, назревает большой скандал. Граф не оставит этого дела так. Он и в Петербурге начнет нажимать кнопки.

— Неважно, ваше высокоблагородие. Вы честно поступили. А честность должна быть выше всего на свете. Ни одного командира команда не любила так, как вас. А графу нет больше жизни на корабле. Придется ему уволиться на другое судно.

— Да это я к слову сказал. А мне наплевать на этого выродка.

Я разыскал тех матросов, над которыми издевался граф, и рассказал им, что, может быть, к нам приедет начальник эскадры. Они должны будут заявить претензию на своего обидчика. Сам командир будет только рад этому.

На второй день к нам приехал начальник эскадры адмирал Железнов. Офицеры и команда выстроились во фронт на верхней палубе. Командир отрапортовал ему, что на судне обстоит все благополучно: офицеров столько-то, из них один больной, граф такой-то, команды столько-то, из них больных никого нет; потом — сколько у нас имеется запасов угля, машинных материалов, пищи. Адмирал сначала поздоровался с офицерами, а затем — с командой. Мы в ответ отрезали ему:

— Здравья желаем, ваше гитество!

Я смотрел на адмирала с особым интересом: сравнительно с другими он был молодой, имел тонкие и немного изогнутые губы, глаза черные, пронзительные и нос с горбинкой. Он играл густыми бровями и постоянно щупал свою острую бородку, словно хотел убедиться — на месте ли она. Голова у него поворачивалась с такой быстротой, как будто он хотел что-то внезапно увидеть. Чувствовалось, что это деловой адмирал и хорошо соображает. Такие же отзывы я слышал о нем раньше от офицеров и матросов. Мне он понравился, может быть, потому, что моя Валя похожа на него — вылитая копия. Никаких сомнений не было, что он ей родной отец. Значит, теща говорила мне правду. В моей голове заиграла шальная мысль — выйти из фронта вперед и заявить:

— Ваше превосходительство! Официально вы имеете двух детей. Вы с ними живете, вы заботитесь о них. А знаете ли вы, что они не вашей крови? Но у вас есть

родная дочь. Она родила вам замечательного внука. Вы — мой тесть, а я — ваш зять. Давайте по-хорошему пожмем друг другу руки...

Что было бы с адмиралом, если бы я на самом деле так сказал? Вероятно, он сошел бы от ужаса с ума, а меня сгноили бы в тюрьме. Людям скорее нужна бесстыдная ложь, лишь бы прикрыть ее позолотой. А правда — она колючая, как иглы ежа.

Адмирал приказал приготовить судно к осмотру. Все матросы разбежались по своим местам. Может быть, он думал увидеть грязь, а тут пылинки нигде не найдешь. Все отделения были чисты, как царские палаты, все медные части настолько были начищены, что своим блеском резали глаза. Некоторым из команды адмирал задавал вопросы по их специальности, а те отчеканивали ему, как будто читали молитву царю небесному. Пробили все тревоги: боевую, пожарную и водяную. Каждый человек знал, куда ему бежать, и каждый знал, что ему делать. Вышло как нельзя лучше. Адмирал сказал командиру:

— Попробуйте поставить пластырь. Предположим, что корабль получил пробоину с правого борта, против первой дымовой трубы. Начинайте действовать.

А у нас давно уже начали заниматься практическим учением с постановкой пластыря. Командир отдал распоряжение. Засвистали дудки. Раздалась команда, какая полагается. Матросы во главе с боцманом ринулись к пластырю, в один миг притащили его к указанному борту и развернули. Получилось огромнейшее парусиновое полотнище. Без единой заминки пластырь был опущен за борт и прилажен на место предполагаемой пробоины. Ну, что ни сказал бы адмирал,— все выходило хорошо. Ни к чему не мог придраться. По глазам было видно, что он остался всем доволен. Но не сказал ни слова. А я радовался за свой корабль больше всех. Мне казалось, что в этот день на мою долю выпало самое большое счастье. Адмирал приказал выстроить нас на верхней палубе во фронт. Сначала мы получили от него благодарность за отличное исполнение своих обязанностей. Потом он удалил всех офицеров, а сам пошел вдоль фронта и начал допрашивать:

— Нет ли, братцы, у кого-нибудь претензий?

Посыпались жалобы на графа «Пять холодных сосисок». Человек двадцать заявили претензию. Они рассказали адмиралу, как с ними обращается граф. Не понравилось это начальнику эскадры, но все-таки он приказал своему флаг-офицеру все записать. И наши офицеры подтвердили ему, что действительно было так. После этого он отправился в каюту графа. О чем они толковали — неизвестно. По-настоящему нужно бы отдать графа под суд. А ну-ка, попробуй! У него такие связи при царском дворе. Адмирал понимал это больше других.

В этот день все у нас получилось замечательно. Только я один напоследок подгадил. И до чего же это нелепо произошло! Командир послал меня за старшим боцманом. Настроение у меня было радостное, и я понесся к офицерскому коридору, как молодой жеребенок. А в это время адмирал выходил из графской каюты. Я с разбегу и ударился всем корпусом о дверь, а она так хлопнула по голове адмирала, что у него даже фуражка слетела. Он в испуге вскрикнул:

— Это что такое, черт возьми!

Ну, думаю, кончилась моя служба. Вытянулся я, правую руку к бескозырке подбросил. Наступил такой момент, как будто меня лишили воздуха, и мой голос прозвучал, как у молодого петуха:

— Виноват, ваше превосходительство.

Адмирал рассвирепел:

— Ты что же, негодяй, вздумал начальство бить? Под суд отдам!

А сам все потирает рукой лоб.

Опомнился я и соображаю, что нужно как-нибудь вывертываться:

— Позвольте доложить, ваше превосходительство. Командир послал меня за старшим боцманом. А я всегда все его приказания исполняю бегом. Вот невзначай и хлопнулся о дверь и вас ушиб. Простите, ваше превосходительство.

Адмирал вызывает командира и сердито спрашивает:

— Что это у вас за матрос такой, который адмиралам наставляет шишки на лоб?

Я, как подсудимый на свидетеля, смотрю на Лезвина,— что он скажет? На его лице никакой растерян-

ности. Он смело, словно разговаривает с равным, отвечает ему:

— Как командир корабля должен вам сказать, ваше превосходительство, это лучший слуга царю и отечеству.

Адмирал сразу смягчился:

— Так. Все же проучить этого матроса не мешает, чтобы следующий раз бегал осторожнее. Посадите его на пять суток в карцер.

Я с благодарностью взглянул на своего тестя: дешево удалось от него отделаться.

Он отбыл на свой корабль.

На второй день граф «Пять холодных сосисок» уехал в Петербург якобы по болезни. Молодец адмирал! Ловко придумал выход.

Вечером у нас на шканцах прочли приказ. Адмирал благодарит в нем командира, господ офицеров и всю команду за образцовый порядок на «Святославе». Дальше говорится, что и в боевом отношении наш броненосец стоит на большой высоте. В заключение адмирал приказывает командирам других судов побывать на «Святославе» и поучиться у капитана первого ранга Лезвина, как управлять кораблем.

Когда читали этот приказ, я в карцере сидел, но мой барин сейчас же освободил меня досрочно.

Начальник эскадры адмирал Железнов прослышал о нашем хоре и в праздник пригласил всех певчих на свой флагманский корабль. Ну, уж тут мы постарались! Адмирал остался доволен. Он отпустил на хор сто рублей, приказал выдать каждому по две чарки и угостил обедом из двух блюд: первое — флотский наваристый суп, второе — жареная свинина. И опять в приказе была объявлена всем нам, и особенно лейтенанту Подперечицыну, благодарность.

XV

Два пьяных матроса вошли в парк и нескладно запели непристойную песню. Они шли медленно, покачиваясь и поддерживая друг друга. Патруль арестовал их обоих. Пьяные матросы запротестовали, начали ругаться и готовы были полезть в драку. Но на шум подошел офицер, и буянов отвели на гауптвахту.

— Вот горе с этим пьянством! Теряют люди разум и не умеют держать себя. Теперь попадет им обоим,— с досадой промолвил Псалтырев и продолжил прерванный рассказ о своем судне.

— Без графа жизнь у нас наладилась как нельзя лучше. Офицеры под давлением командира перестали пускать в ход кулаки, с командой стали жить дружнее. Оставалось только радоваться, глядя на корабельные порядки. Но произошло такое темное дело, которое на всех нехорошо повлияло.

Как известно, на каждом корабле найдется матрос— любимец всей команды. Таким у нас был рулевой Панфил Чудаков. Обыкновенно всех матросов на судне называют по фамилии, а этого просто — Панфилка. Унтера, боцмана и даже офицеры окликали его только по имени. Как говорится, маленькая собачка до старости щенок. И Панфилка уже прослужил на флоте более пяти лет, а все казался подростком. Приятное личико его было моложавым и всегда румянилось, на верхней губе едва пробились русые усики. По своему живому характеру и подвижности он напоминал белку. По части пляски — цыгану не уступит. Ну, и на гармошке сыграет— заслушаешься. На корабле — где Панфилка, там радость и смех. Посади такого человека за тюремную решетку — он все равно не будет унывать. Всюду он свой человек. Начнет вышучивать недостатки своих товарищей, и никто не имеет против него какой-либо обиды. Своей умильной улыбкой он гасит ее, как вода гасит пламя. И перед начальством всегда у него найдутся слова. Однажды его останавливает лейтенант Подперечицын, показывает на верхушку мачты и спрашивает:

— Ты видишь, Панфилка, на самом клотике комар сидит?

Панфилка поднял голову, потом смотрит игриво-веселыми глазами на лейтенанта и отвечает:

— Так точно, ваше благородие, вижу. Да он еще на правый глаз кривой. Вероятно, комариха в сердцах изувечила своего мужа.

— Молодец! Зоркость у тебя отличная,— смеется Подперечицын.

Панфилка и перед старшим офицером не стеснялся. Когда мы стояли в Палермо, тот отпускает его на берег и говорит:

— Хороший ты у меня матрос, но усы у тебя паршивенькие.

— От родителей это у меня, ваше высокоблагородие. Будь я вашим сыном, я имел бы усы, похожие на бараньи рога. Одну девушку целовал бы, а семеро падали бы в обморок.

За такой ответ старший офицер другого матроса посадил бы в карцер или наградил бы его зуботычинами, а Панфилке и это сошло с рук. Из начальства ненавидел его только граф «Пять холодных сосисок». Ведь это Панфилка, будучи вестовым у него, брякнул ему насчет умных офицеров. Хорошо, что командир повлиял на суд, а то бы граф упек этого матроса в арестантские роты.

Словом, такие люди, как Панфилка, украшают жизнь, словно цветы.

Совсем другим у нас был кок Жеребцов. Великан! Не руки у него, а медвежьи лапы. Шея толстая, подбородка почти нет. Лицо неподвижное, как маска, кверху оно расширено, и над ним навис огромный лоб, точно каменный балкон. Глаза неопределенного цвета и неживые, как свинцовые. Между бровей большая бородавка, бурая, корявая, похожая на пробку от бутылки. Неряшливый и забывчивый, он все же пищу готовил неплохо— матросы были им довольны. Но такой он был скучный человек, что даже Панфилка не мог его развеселить. Улыбнется только одним уголком рта и молчит. Однако жили они, по-видимому, дружно. Никому кок не давал таких хороших костей поглодать, как Панфилке,— с мясом и мозгом.

Жеребцов прославился у нас одной странностью. Задай ему какой-нибудь вопрос — он обязательно должен сначала дернуть себя за нос, а потом уже ответить. Без этого никак не может обойтись — будет стоять и молчать, как фонарный столб. И с начальством у него так выходило. Ему за это не раз попадало. Получалось, когда он дернет себя за нос, то в его сознании вроде как черная шторка поднимается, и все становится ему ясным.

И вот однажды что случилось. Было тихое утро. На синем небе ни одного облачка. Невысоко над горизон-

том висит яркое солнце. На море ни одной морщинки, точно оно помолодело за ночь. Вдыхаешь свежий воздух и чувствуешь во всем теле такую бодрость, как будто солнце вливает в тебя новые силы. Кругом разлита сияющая радость, хочется петь песни. В такое утро кажется, что ты никогда не состаришься, не умрешь и будешь жить вечно молодым.

Команда уже позавтракала. На верхней палубе идет уборка. Около камбуза на дубовом чурбане кок Жеребцов рубит на части бычью тушу. Я стою поблизости и любуюсь его здоровенной фигурой. На нем все белое— фартук, колпак, куртка. В его руках тяжелый топор с очень широким лезвием. Такие топоры бывают только у мясников. Когда кок резко опускает его на чурбан, то скалит зубы и шумно выдыхает:

— Гха!

Только что кончил он разрубать мясо, как около камбуза появился Панфилка.

— А ну-ка, кухонная чумичка, можешь ты мне с одного взмаха отрубить голову? — пошутил весельчак.

Кок покосился на Панфилку свинцовыми глазами, дернул себя за нос и мрачно ответил:

— Клади голову на чурбан.

Смотрю, Панфилка становится на колени и кладет голову на чурбан. Лицо у него повернуто в сторону моря. Солнце светит ему прямо в глаза. Он щурится и восторженно улыбается, показывая белые, как редька, зубы. Глядя на него, улыбаются и матросы. Кок берет огромный топор и высоко вздымает его над собой, точно перед ним действительно бычья голова. В таком грозном виде он уставился на тонкую шею матроса и как будто замер. Мне показалось, что глаза у него помутнели. Все были уверены, что это только шутка, и все-таки стало так страшно, что у меня остановилось дыхание. Вдруг Жеребцов оскалил зубы, блеснуло в воздухе лезвие топора, и я явственно услышал привычный звук:

— Гха!

И голова Панфилки отлетела прочь, ударилась о палубу и покатилась по ней, как футбольный мяч. Туловище перевернулось раза два и осталось лежать неподвижно около чурбана. Палуба окрасилась кровью.

Крик ужаса вырвался у матросов.

Мне показалось, что я проваливаюсь в бездну. Закачалась палуба под ногами, запрыгали вокруг люди и судовые предметы. Но это было только мгновение. Корабль стоял на якоре. Жарко светило солнце. Суетились лишь матросы и громко галдели. Я взглянул на Жеребцова. Он выронил топор из рук и не сошел с места. Лицо у него окаменело, нижняя челюсть отвалилась, рот раскрылся, помутившиеся глаза удивленно уставились на окровавленный чурбан. В этот момент кок, по-видимому, и сам не понимал, что случилось.

Матросы побежали за начальством. Вскоре всполошился весь корабль. Люди спешили на верхнюю палубу. Я бросился вниз, в каюту своего командира, чтобы доложить ему о событии. Когда он услышал от меня такую страшную новость, у него затряслась ржавая борода, а глаза налились кровью, как у бешеного быка. Мы побежали по трапу на верхнюю палубу. Он так шумно дышал, точно ему не хватало воздуха. А около камбуза собралось пропасть народу — и офицеры и матросы. Перед командиром все расступились. Жеребцов по-прежнему стоял на одном месте, словно его припаяли к палубе. Командир увидел кока и заорал не своим голосом:

— А-а, это ты, убийца! Становись, подлец, на колени! Клади голову на чурбан!

Кок покорно исполнил его приказ. Командир схватил топор и так же, как и Жеребцов, высоко поднял его над собой. Вокруг все затихли, затаили дыхание, как на высочайшем смотру. Еще момент — отлетела бы и другая голова. Меня точно какая-то сила толкнула вперед,— я выхватил у командира топор. Он повернулся ко мне и зарычал:

— Да как ты смеешь! На каторгу упеку!

— Куда угодно упекайте, а топор я вам не отдам,— твердо ответил я.

Вдруг лейтенант Подперечицын загородил меня и заявил командиру:

— Господин капитан первого ранга! Что вы делаете? Опомнитесь!

И командир действительно точно очнулся от бреда. Посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на кока. Тот продолжал держать голову на чурбане.

— Арестовать убийцу! — строго и трезво приказал командир и направился к себе в каюту.

Всех точно прорвало: поднялся невероятный крик. Кока хотели убить и выбросить за борт. Офицеры вызвали наверх караул. Все это чуть не кончилось бунтом. Когда, наконец, повели Жеребцова в карцер, у него в сознании как будто наступило прояснение. Он замотал головой и заревел истошно и надрывно, точно раненый медведь.

Сейчас же о событии сообщили по семафору адмиралу. Немного времени спустя к нам на броненосец со всех кораблей съехались старшие врачи. Им было приказано исследовать кока — сумасшедший он или нет? Лейтенанту Подперечицыну командир поручил вести следствие по этому делу. Но все они ничего не добились от Жеребцова. Он лишь одно твердил:

— Я сам не знаю, как это вышло.

Доктора допрашивали команду, как он вел себя раньше и не было ли в его поведении каких-нибудь странных случаев. Матросы считали его хорошим коком и вполне нормальным человеком. Водки он не пил, ни с кем не скандалил, в драках не участвовал. Только иногда у него бывали заскоки в голове. Однажды нужно было ему приправить борщ. Он нарезал сало, поджарил его с луком и отставил в сторону, а в котел положил свой фартук. Но тут же младший кок вытащил фартук обратно. В другой раз так вышло. Была команда всем наверх и выстроиться повахтенно. Жеребцов выскочил на палубу в кальсонах и стал во фронт. Кругом столько смеху было, а он стоит и не замечает, что у него нет брюк. Сейчас же его посадили на пять суток в карцер. После отбытия своего наказания он взял свои кальсоны, изрезал их на мелкие лоскуточки и выбросил за борт. Узнали доктора и о том, как он дергает себя за нос.

Ночью командир пил водку больше обычного. Видать было, что это убийство повлияло на него очень сильно. Он часто хватал себя за голову и говорил:

— Психологическая загадка. Доктора объясняют так: при рубке мяса движения рук у кока исполняли работу помимо воли, механически, а задерживающие центры в его мозгу ослаблены. Из таких субъектов выходят самые страшные преступники. Теперь будут исследовать

у преступника спинной мозг. Подозревают сифилис. А в общем, ему давно бы нужно быть не на судне, а в доме для умалишенных.

Командир никак не мог успокоиться:

— Я сам чуть не стал убийцей. Какой ужас! Что со мной случилось?

И растерянно разводил руками.

— Ну, спасибо тебе, Захар, что ты вырвал у меня топор. Совершилось бы страшное дело. Давай выпьем за упокой души Панфилки. Хороший был матрос!

Впоследствии кока все-таки судили. Все думали, что его сошлют в Сибирь на каторгу. Но на суде нашли у него какую-то душевную ненормальность и приговорили его только к церковному покаянию. Сорок дней он должен быть на хлебе и воде и класть перед иконами по сто поклонов в день. С корабля он был списан в психиатрическую больницу для лечения. Он твердо решил: как только вырвется со службы, то уйдет в монахи замаливать свой страшный грех.

Мне больше всего досадно, что командир подорвал свой авторитет. Зачем он схватил топор и хотел отрубить голову Жеребцову? Теперь офицеры нехорошо говорят о моем барине — считают его тоже ненормальным. Ну, ничего — потом все это сгладится...

Псалтырев вдруг вскочил и стал прощаться со мною:

— До свиданья, друг. Наш катер подходит к пристани. Через недельку зайду к тебе в экипаж. Поговорим еще.

Склонив вперед голову, он зашагал по холодной осенней земле так уверенно, словно был ее хозяином. Ветер играл спускавшимися с его фуражки ленточками. Я остался один в размышлении о дальнейшей судьбе этого талантливого и своеобразного человека, так не похожего на других матросов.

XVI

Вместе с своей ротой мне пришлось попасть в манеж, где было устроено для команды развлечение. Здесь же находились матросы и с других кораблей. Я сидел на

краю скамейки в одном из передних рядов и смотрел, что делается на сцене. Началось с того, что матросы исполнили русскую пляску, выбивая ногами дробь под звуки двухрядной гармошки. Другие матросы, сменив своих товарищей, пропели хором морскую песню.

На этом самодеятельность и закончилась. Начали выступать артисты. Какой-то молодой франт рассказал анекдот, как один поручик, уходя на занятия, приказал своему денщику зарезать курицу и приготовить из нее обед. Но тот не выполнил поручения. Офицер, вернувшись домой, спросил:

— Почему курица не зарезана?

Денщик ответил:

— Так что, ваше благородие, никак нельзя было это сделать,— за курицей ухаживал петух его превосходительства.

Денщик оказался таким дураком, что его барин остался без обеда.

Франта сменил седобородый артист, высокий, толстый, во фраке, с широким черным бантом вместо галстука. Остановившись, он застыл перед зрительным залом, заложив руки назад и опустив глаза, словно сильно устал. Так продолжалось несколько секунд. Вдруг его пепельная голова горделиво откинулась назад, руки он выбросил вперед, и мы увидели в одной из них балалайку. Все ждали, что он запоет басом, но в бренчащие звуки балалайки влился его надорванный и осипший тенор. Артист, ломаясь, дергался, изгибался, дрыгал для чего-то ногой и напевал юдофобские частушки.

Все это казалось невероятной дешевкой. Для нас ни разу не поставили мало-мальски приличной пьесы, ни разу не пригласили хоть сколько-нибудь сносных артистов. Начальство, очевидно, думало, что мы вполне удовлетворимся этими эстрадными отбросами. Но мы сидели смирно, глазели на убогую сцену и слушали все то, что с нее преподносили нам. Сознательные матросы слушали все это с таким отвращением, как будто бы их заставили жевать гнилую, с тухлым запахом пищу. Лишь немногие из публики смеялись. Впереди развалился на стуле лейтенант, которому было поручено следить в этот вечер за порядком. Ему было скучно — он часто зевал, широко раскрывая рот и лениво посматривая на сцену. Налево,

привалившись к деревянной стене манежа, стояли патрульные матросы при палашах.

На мое плечо легла чья-то рука. Я поднял голову и увидел улыбающегося Захара Псалтырева. Он тихо заговорил:

— Слыхал, как нашего брата, вестового, продернул один ферт? Все за дурачков нас считают. Сам он идиот! Воли нет — поддал бы я ему коленом ниже поясницы, чтобы он кувырком полетел со сцены.

Во время короткого антракта, гуляя в манеже, я немного успел поговорить с Псалтыревым. Он с печалью сообщил мне:

— Барина-то моего отставили от командования броненосцем. А ведь как здорово было поставлено дело на «Святославе». Лучший корабль во всем флоте. И благодарность адмирала не помогла. За что, спрашивается, такая напасть на человека? Подвел командира граф «Пять холодных сосисок». Он каким-то родственником приходится великому князю. Наверное, бывают и умные графы, а у этого ничего нет, кроме спеси. И все-таки отомстил командиру. Мне об этом сам барин рассказывал.

— А как твои науки? — спросил я.

— Барин достал мне алгебру. Зубрю в свободное время. Трудное это дело, но обязательно ее одолею. Он мне дал еще учебники по географии, истории, ботанике, зоологии. Наказывает, чтобы я учился, а сам нисколько не помогает. О нем есть что рассказать. Удивишься ты, если узнаешь, как мы живем.

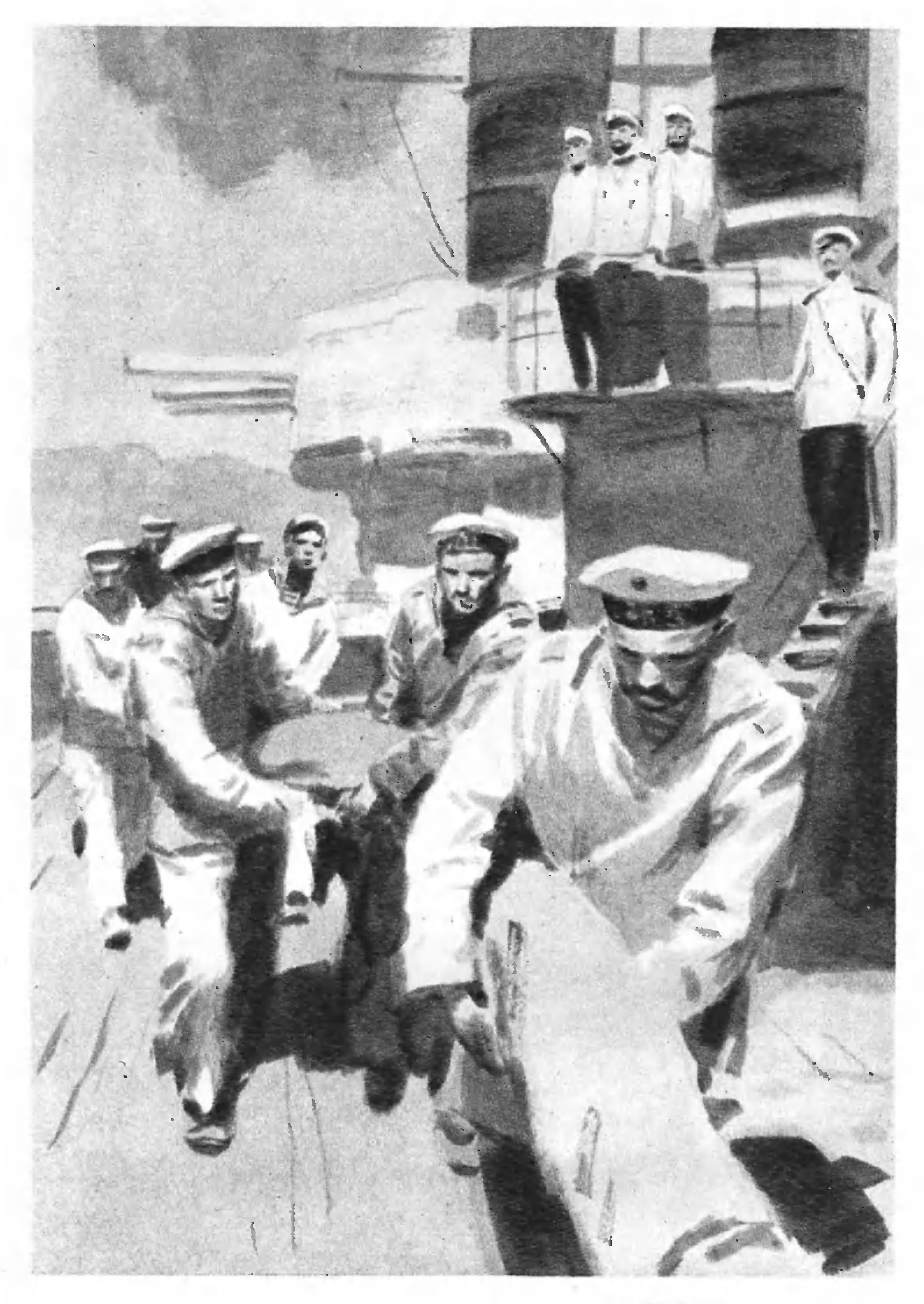
Я уговорил Псалтырева прогуляться по городу. Ночь была тихая, с легким морозом. Мы прохаживались по глухим и пустынным улицам. Я внимательно слушал своего друга.

— Барин дружит со мною пуще прежнего. Без меня, должно быть, скучно ему и поговорить не с кем. Офицеров он ненавидит, друзей у него никого нет. Кроме как по делам службы, он ни к кому не ходит, и у него никто не бывает. Ну, и приходится ему отводить душу со мною. Днем он по-прежнему спит, а ночью выпивает. Теперь уж трудно ему остановиться.

Новый фокус он придумал: как только я приготовлю выпивку и закуски, сейчас же приказывает мне наря-



«КАПИТАН 1-го РАНГА».



«КАПИТАН 1-го РАНГА».

диться в его мундир, в крахмальную сорочку, в ботинки. Фигуры у нас подходящие, только он телесами полнее меня. Приходится мне что-нибудь подвертывать на живот, чтобы мундир лучше обтягивал мой корпус. И вот в таком виде взглянул я первый раз в зеркало и удивился: чем я не капитан первого ранга? Даже страшно смотреть на самого себя. Хочется руку поднять к козырьку, чтобы честь отдать. Командир наказывает мне больше не величать его «ваше высокоблагородие», а называть Василием Николаевичем. И меня он называет по имени и отчеству — Захар Петрович.

Конечно, мне очень трудно соответствовать своему барину в обращении на благородный манер. Но так случилось, что я уже заранее забил себе голову этой мудреной для нас, сиволапых, штукой, всякой всячиной насчет господского форса. Раз смотрю — рядом с койкой на подоконнике лежит книга. На переплете, вижу, крупными золотыми буквами наискось заглавие: «Хороший тон». А книги — моя страсть. Набросился я и на эту. Читаю. Оказывается, это правила поведения мужчин и женщин в благородном обществе. Затейная книга! Из нее-то я и узнал, как себя держать на званых обедах, на именинах, на свадьбе, на крестинах, на похоронах и за домашним столом. В ней сказано про все случаи жизни. Вот я и зубрил, как и когда одеваться, каким манером нравиться другим.

Много сказано в книге насчет порядка во время обеда. Нельзя, например, слизывать с ножа или резать рыбу ножом, а только вилкой. Если не будешь знать, как и что едят, то ты — невоспитанный человек, а такому нет места среди господ. Подается, скажем, бифштекс. Наш брат, понятно, сразу располосует его ножом на куски и давай скорей уминать. Нет, благовоспитанный гость должен соблюдать церемонию: отрезать только по кусочку и в рот; съел, тогда еще отрежь. Когда я служил вестовым у графа «Пять холодных сосисок», его повар Прохор Савельич часто угощал меня своими соусами. Иные мне так нравились, что я, бывало, хлебом вытру тарелку досуха. Вот был невежа! А по книге «Хороший тон» это считается таким же безобразием, как если бы я предстал среди гостей в одной исподней рубашонке и кальсонах.

То же самое, избави бог, руками пихать в рот пищу. Благородные люди будут смотреть на тебя, как на дикаря. И только спарже, артишокам и мелкой дичи сделано почему-то снисхождение — их можно брать и руками, без вилки.

По книге выходит так. Какой бы ни был ученый, хоть профессор, а раз ты нарушил обычай за столом, то тебя все равно сочтут за невежу и тогда недостоин ты бывать среди избранных. Благородная публика тебя больше не потерпит и никуда не пригласят. Не подумай, что это пустяк. Обречь себя на изгнание из хороших домов — это господам все равно, что умереть заживо.

Раньше я думал, что хорошие манеры нам не по плечу. Господа очень гордятся этими знаниями хорошего тона. А на самом деле выходит, что это совсем не трудно — читай книгу и запоминай. И стоит-то книга всего-навсего два с полтиной. Дешевая наука. Каждый дурак ее поймет и за образованного сойдет.

Только теперь я догадался, какую штуку сыграл со мной командир. Это он нарочно подсунул мне книгу «Хороший тон». По его приказу я по ночам наряжаюсь в офицерский мундир. Этого показалось ему мало. Хочет он, чтобы я как равный с ним и по-благородному вел себя за столом. Тогда, ряженый, я буду еще больше походить на настоящего капитана первого ранга. Ведь вот что придумал, какую комедию завел! А наше дело маленькое: не прекословь барину.

И вот мы сидим за столом, как будто оба равный чин имеем, водку пьем, закусываем и разговариваем между собою.

Иногда он приказывает привести к нему женщину. В нашем городе сколько угодно таких заведений, откуда любую женщину можно взять,—только денег не жалей. Разные бывают у нас: блондинки, брюнетки, рыжие. Каждую такую особу он угощает вином и закусками и ухаживает за нею, словно за настоящей барыней. Она смеется, всячески его раззадоривает. А он никак не поддается на соблазны и не позволяет себе не только дотронуться до нее, но и лишнего слова сказать ей. И она, видя такое обращение с нею, в свою очередь, начинает изображать собою невинную девушку. Я смотрю на них и удивляюсь: за что, спрашивается, я распла-

чиваюсь за нее его же деньгами? Десять целковых! Две таких суммы — и в деревне можно бы купить корову. И каждый раз такая игра продолжается до полночи и дольше, а потом Василий Николаевич начинает извиняться перед женщиной, что у него якобы спешная работа. На прощание он обязательно поцелует у нее руку, как это полагается у господ. Я думаю, что все это он делает в отместку своей жене. По-видимому, она сильно задела его за живое, и никак он не может успокоиться. А мне со стороны смешно и обидно смотреть на всю эту канитель. Другое бы дело было, если бы он при своей жене стал ухаживать за продажной девицей. Получилось бы, что он ставит ее наравне с барыней, и это оскорбило бы ее до слез. Но если она ничего этого не видит и ничего об этом не знает, то зачем же выкидывать такие номера? Только для обмана самого себя. Вот что значит господа — они и мстят как-то по-особому, не так, как крестьяне. Словом, всегда так барин чудит. А послушать его — умный человек!

Когда мы сидим с ним вдвоем, то больше всего говорим о русском флоте. Но к этому переходим не сразу. Начинается с того, что Лезвин берет чайный стакан водки, чокается со мною и говорит:

— Ваше здоровье, милейший Захар Петрович!

Я чуть-чуть склоняю голову и отвечаю ему:

— Будьте уверены, добрейший Василий Николаевич!

Он опрокидывает в себя полный стакан водки. И я для аппетита хвачу немного. Закусываем и говорим о разных пустяках. В окна барабанит косой дождь или снежная крупа. Мы оба недовольны затянувшейся осенью. И тут же с радостью вспоминаем, как плавали под тропиками. Чудесное было время! Оно кажется нам солнечной сказкой. Эх, эти всплески волн и голубые просторы морей! Никогда не забыть о них. Лезвин еще выпивает стакан водки. Потом он жалуется, что в нашем городе нет приличных портных, поэтому заказы на хорошую одежду приходится отдавать в Петербург. Так мы с командиром некоторое время и ходим вокруг да около. И только после трех стаканов он принимается за флот. Он сразу начинает яриться и уже объясняется без дураков.

— Да, Захар Петрович, с такими порядками не создашь боевой морской силы. Мы жалкие подражатели Запада. А своего у нас ничего нет. В верхах, за исключением немногих, сидят одни бумажные волокитчики, лентяи и невежды. Они умеют только грабить казну. На это у них хватает и старания и хитрости. В случае войны нам любая нация наломает ребра.

Я поддакиваю командиру и стараюсь говорить по-ихнему:

— Правильно, Василий Николаевич, изволите выражаться! Куда наш флот годен? Только для смотров. И воры, большие и малые, присосались к нему, как черви к капусте. Возьмем для примера нашего экипажного казначея, титулярного советника Спирина. Жалованья он получает около ста рублей. А построил себе три каменных дома! Откуда взял такие капиталы? Флот ограбил. А сколько у нас таких разных Спириных развелось? И все они доят наш флот, как гулящую корову. А за какие заслуги произвели Вислоухова в контр-адмиралы? Командиром современного крейсера и то не мог бы быть. А ему доверили командование целой эскадрой.

При упоминании о Вислоухове мой барин даже дернулся, а потом выпил стакан водки, закусил ветчиной и сердито заговорил:

— Двоюродная сестра у него служит при дворе фрейлиной. А она его любовница. У нас всегда так бывает: кто-нибудь и кого-нибудь тянет за шиворот в высокие чины. Способности человека не принимаются в расчет. Но самое зло, любезный Захар Петрович, ютится под золотым шпицем — в Главном морском адмиралтействе. Нужно весь этот современный Вавилон разрушить до основания, а все начальство разогнать за пять тысяч верст. Разогнать так, чтобы их духом не пахло. После этого уже взяться за тех, кто пониже, вроде чиновника Спирина и контр-адмирала Вислоухова. Этих сослать за тысячу верст. Вот тогда только можно приняться за создание настоящего боевого флота...

Я видел одиночество барина, и мне было жалко его. Сколько он учился, сколько мыслей у него в голове! А нет никакой пользы от этого. Угасал этот человек на моих глазах. Никакие науки его уже не интересовали. Он даже перестал прикасаться к своим книгам. Я за него

пользуюсь ими. А он читает только отрывной календарь, да и то лишь когда ложится в постель.

Однажды мне особенно бросилось в глаза, насколько постарел и поблек Лезвин в сравнении с тем, как впервые я встретил его. Денег он расходует уйму, а удовольствия никакого не имеет. Впустую прожигает остатки своей жизни и обманывает разными причудами самого себя. А ведь в деревне только одним его месячным жалованьем можно было бы поднять любое захудалое хозяйство. Вспомнилась мне родная семья, где каждая копейка на учете, и я задумался. Лезвин заметил это и спросил:

— Вы что, Захар Петрович, голову повесили?

— Размышляю, Василий Николаевич!

— О чем?

— Очень хитро жизнь построена.

— Чем же хитро?

— А вот взять для примера деревню. Крестьянин ухаживает за своей коровой, заботится о ней, а добытое от нее масло он не кушает. За него покушают это в городе те, что совсем коров не имеют. А он будет копить деньги, чтобы купить железные шины на колеса. Или, скажем, вырастит он свинью, а достанутся ему от нее одни потроха. Свинина же вся пойдет в город. Видите ли, ему седелку нужно купить, топор, косу, не считая того, что с него еще подати требуют. Так же и жена его поступает. Разводит она кур, собирает от них яйца. Никто ей не запрещает накормить яйцами своих детей. Очень вкусная и полезная пища. Но этой крестьянке до зарезу необходимо выручить полтинник, чтобы платок на голову купить. Идет она в лес за ягодами. Иная земляничка, выросшая на солнечном припеке, так и рдеет — сама просится в рот. Но баба не съест эту ягодку, а обязательно положит ее в кувшин или в туес. И когда вернется домой, она и своих любимых детей не накормит ягодами. Она лучше снесет ягоды на железнодорожную станцию. Почему? Да потому, что на соль нет денег. А ведь эти яйца, масло, свинина, куры, ягоды и другие вкусные и полезные продукты не охраняются никакими часовыми. Пожалуйста — пусть крестьяне едят этого сколько угодно. Никто им не запрещает. Но будьте спокойны—они заполнят свои желудки квасом и картошкой, а что получше— приберегут для богатых. И добро

было бы, если бы богатые, в свою очередь, снабжали их тем, что производится в городе: обувью, одеждой, косилками, плугами, молотилками. Но ведь этого ничего нет. Деревня почти обходится одними своими изделиями. Вот я и думаю, Василий Николаевич,— разве не хитро жизнь построена?

Мой барин нахмурился.

— Не стоит, Захар Петрович, рассуждать об этом. И без того тошно жить на свете.

Так вот я и провожу со своим барином каждую ночь. О чем только мы не разговариваем! Но больше всего нападаем на флотские порядки. Лезвин нет-нет да и хлопнет стакан водки. Под утро сделается черным, как чугун. Приказывает мне:

— Ну, пора кончать всю эту музыку.

Вижу, барин мой дозрел. Я разоблачаюсь и надеваю свою матросскую форму. И таким манером из меня опять получается вестовой. Я веду барина в спальню. Он валится на пружинистую кровать и говорит мне:

— Захар, раздень меня.

Однажды уложил я его в кровать, прикрыл одеялом, а он смотрит на меня помутившимися глазами и бормочет:

— Ты, деревенская язва, понимаешь, что говоришь?

— Я не знаю, что вы имеете в виду.

— Твои рассуждения. По-настоящему я давно бы должен отдать тебя под суд. Я чувствую, что в твоей голове назревают страшные мысли. Придет время, когда ты начнешь офицеров и адмиралов выбрасывать за борт. И таких, как ты, много развелось во флоте.

Я насторожился, но улыбаюсь и отвечаю:

— Никаких особенных мыслей у меня в голове нет, Василий Николаевич. Думы мои только о деревне. Кончу службу — опять начну пахать землю. Где уж нашему брату чай пить. Нам бы хоть сахарку погрызть, и то слава богу.

— Да, да, сахарку погрызть,— повторяет Лезвин.— Тем более, что зубы у тебя крепкие, как и твоя голова. А потом потянет на какао с пирожным.— И уже дружески добавляет: — Но все равно я никому не дам тебя в обиду. Посмотреть бы, что из тебя получится. Пока, Захар, размышляй. Дай мне отрывной календарь.

На втором листке он обыкновенно засыпает.

Из манежа повалили матросы. Время моей гулянки истекало. Я распрощался с Псалтыревым и спешно зашагал в экипаж, чтобы не остаться «нетчиком».

XVII

Псалтырев был арестован при странных обстоятельствах. Во всех экипажах среди офицеров и матросов много было разговоров вокруг этого события. Одни уверяли, что он отравил своего барина, чтобы ограбить его, другие отрицали это и выдвигали другое соображение,— он просто с ума сошел. Находились и такие, по мнению которых он будто хотел офицерским кортиком перерезать все экипажное начальство. Некоторые примешивали здесь политику. Словом, произошел какой-то загадочный случай, всколыхнувший моряков. Судьба друга меня очень беспокоила. Но толком я не знал, в чем дело, не знал до тех пор, пока он сам, освобожденный уже из-под ареста, не рассказал мне об этом, сидя у меня на койке.

— Вот, друг, какие дела в жизни бывают. Правильно говорится в народе: «От сумы да от тюрьмы не отказывайся». И я чуть за решетку не угодил. А вышло это так. Вечером, как и раньше это бывало, накрыл я стол, приготовил выпивку и закуски, а потом сам нарядился в мундир своего барина. Уселись мы на стулья друг против друга. У нас обоих на плечах красовались золотые эполеты, как будто мы только что вернулись с парада. Лезвин на этот раз был настроен мрачно, словно он предчувствовал что-то недоброе. Сначала мы выпивали и закусывали молча. Только когда чокались, то приветствовали друг друга хорошими словами. Потом кое-как разговорились. Я заметил, что в трезвом виде у него память слабеет,—иногда обрывает он свою речь на полуфразе. Но стоит только выпить ему стакана два водки, как сразу мозг у него проясняется. Я тогда с удовольствием слушаю его и набираюсь ума-разума. Я, конечно, тоже не молчу. И в этот вечер я рассказал ему, как мне удалось побывать на всеобщей исповеди у Иоанна

Кронштадтского и что в это время пришлось видеть и слышать. Лезвин угрюмо промолвил:

— Я встречался с ним несколько раз. Неврастеник! Больше того, сумасшедший поп! Высказывает какой-то бред. А людям больше всего нравится в религии то, что необычно и непонятно. Вот почему всякое его нелепое бормотание они принимают за пророчество. В том его успех.

И добавил как бы про себя:

— Россия — это корабль, плавающий в непроглядном тумане.

Его взгляд пришелся мне по душе. Я решил рассказать ему и о другом случае. В этом, пожалуй, была моя ошибка.

— Забыл сказать вам, Василий Николаевич, что имею самую интересную последнюю новость.

— Какую?

— Недавно в городе открылось новое заведение под названием «Грезы моряка». Очень красивое название. Это заведение должно обслуживать главным образом морских офицеров. Матросу попасть туда трудно. Но все-таки кое-кто из команды побывал там. Это те, кто побогаче, вроде содержателей казенного имущества, или те, что от родных получают большие деньги. Для этого им пришлось наряжаться в штатское платье.

Лезвин спросил:

— Откуда же они могли достать штатское платье?

— Мало ли в городе знакомых. Да и торговцы готовым платьем не откажут дать под залог костюм напрокат. За деньги все можно достать. Эти матросы с восторгом отзывались о заведении «Грезы моряка». Роскошь, говорят, там необыкновенная. В коридорах и номерах разостланы ковры. В главном зале, где танцуют, полы паркетные, люстры горят, как в соборе, музыканты играют на скрипках и рояле. Девиц подобрали самых красивых: и высоких, и маленьких, и полных, и худеньких. И все они нарядные, как настоящие мамзели. Любую выбирай — кому какая нравится. Но зато и обдирают посетителей. Переночевать там стоит пятнадцать рублей. Да пятерка уйдет на угощение какой-нибудь особе. Значит, за одну ночь вылетят из кармана две красненьких...

Лезвин перебил меня:

— А для чего это вы, Захар Петрович, сообщаете мне об этом да еще с такими подробностями?

— Подробности, Василий Николаевич, это между прочим. Но я вам главного не сказал. Когда открывали «Грезы моряка», то сначала отслужили молебен с водосвятием. Был приглашен хор певчих. Попа нашли редкой красоты: борода у него ласковая, глаза кроткие, голос небольшой, но очень нежный. Словом, с виду священник похож на святого угодника, что на иконах рисуют. Возгласы он подавал трогательные до слез. А хор так складно пел, что, говорят, душа радовалась. Хозяин с хозяйкой, их маленькие дети, кассирша, все девицы, вышибалы усердно молились богу. Просили, значит, милосердного бога, чтобы он посылал им побольше гостей в это заведение. Потом этот смиренный батюшка обходил все номера, где девицы живут, и каждую кровать благословлял крестом и кропил святой водой. И что же вы думаете, Василий Николаевич? Бог внял их мольбам, и теперь отбоя нет от посетителей.

Лезвин даже сплюнул:

— Тьфу, какая гадость!

Потом спросил меня:

— А откуда, Захар Петрович, вы все знаете об этом?

— Да как же мне не знать, Василий Николаевич? Позавчера у нас была мамзель. Вы изволили величать ее Елизаветой Владимировной. Ведь она из этого заведения. Очень верующая и богомольная особа, точно монашка. Вот от нее-то я и узнал все. Да и в экипажах всем матросам это известно. Теперь у них разговору и смеху хватит на полгода: молебен с водосвятием в таком заведении! Ведь это событие, Василий Николаевич!

Лезвин покачал головою и прохрипел:

— Так вот как мы охраняем чистоту религии.

— Кстати сказать, Василий Николаевич, наш граф «Пять холодных сосисок», что подвел вас, иногда тоже бывает в этом заведении. Но только посидит в зале, а в номера не заходит к девицам.

При этих словах Лезвин ударил кулаком по столу и заорал, как безумный:

— Ну и черт с ним, с этим графом!

Он выпил полный стакан водки и не стал даже закусывать.

Времени было около одиннадцати часов. Барин порядочно захмелел. Глаза у него стали красные, лицо помрачнело. Он особенно разошелся насчет морских воротил и говорил так шумливо, словно его слушали сотни людей:

— Когда меня произвели в офицеры, я ревностно взялся за службу. Для меня ясно было, что такая великая страна, как Россия, не может обойтись без могучего флота. Обширные берега ее омываются водами Балтики, Черного моря, Белого моря, Великого океана, Ледовитого океана. Мне представлялось, как наши корабли бороздят морские просторы под всеми широтами. Все государства боязливо посматривают на наш андреевский флаг. И в этом сильном флоте я играю не последнюю роль. Вот почему я так горел нашим флотом. Сколько мною написано докладных записок в Главный морской штаб! Мне хотелось улучшить санитарные условия матросов. Зря старался. Кто у нас больше всего унижает команду? Иностранцы, вроде графа «Пять холодных сосисок». На каждых пять русских офицеров приходится один иностранец. И об этом я писал—требовал поднять достоинство матроса и в то же время ввести самую строгую дисциплину на кораблях. Никакого результата. Я добивался открытия генерального штаба. И что же? Бей в каменную стену головой—не прошибешь. Я доказывал, что Морской кадетский корпус должен быть доступным для всех сословий. Нужно отбирать в него самых талантливых юношей. Только тогда у нас будут настоящие офицеры. На этот мой доклад высшее начальство даже пригрозило мне, чтобы я поменьше высказывался насчет реформ. Словом, все мои доклады утонули в омуте бюрократических бумаг, как тонет якорь в море. Но якорь можно поднять, а мои записки навсегда утонули. И что мы теперь видим? Флота у нас нет. Есть большое количество железных гробов для будущей войны.

Такое заключение Лезвина меня обескуражило, и я спросил:

— Почему же это так получается, Василий Николаевич?

Мой вопрос словно пришпорил Лезвина.

— Отчасти я уже указал вам на причины, а дальше, Захар Петрович, присмотритесь сами, что за люди возглавляют наш флот. Вам все станет понятным. Недавно одного лейтенанта произвели в капитаны второго ранга. А все психиатры уже десять лет признают его сумасшедшим. Он неизлечимо больной. Правда, помешательство у него тихое, для людей неопасное. Но все равно — ни на один корабль его не берут. Иногда он приходит в порт, вытаскивает из кармана белых мышей и показывает их рабочим. Он всех уверяет, что это его маленькие дети. Конечно, в глазах рабочих это не офицер, а какое-то посмешище. И этому человеку каждый месяц двадцатого числа казна аккуратно посылает жалованье. Я нарочно взял душевнобольного человека. Мне хочется показать вам, как недалеко ушли от него и так называемые нормальные люди. Возьмем, например, адмирала Бранта. Он целые дни и вечера проводит за вышивкой. Эта работа увлекает его, доставляет ему высшее удовольствие. Гладью и крестиками он вышивает такие замысловатые узоры, что любая женщина позавидует ему. На столах у него скатерти собственного рукоделья. Стоит посмотреть его салфетки на этажерках, дорожку на рояле, украшение вокруг портретов. Какое великолепное сочетание красок, какое тонкое искусство! Но разве не смешно видеть адмирала с черными орлами на плечах за вышивкой?

Лезвин искривил губы в злую усмешку.

Я вставил свое мнение:

— Значит, человек находится не на своем месте! Ему ведать не боевой рубкой, а модной белошвейной мастерской. Из него, может быть, вышел бы незаменимый заведующий.

— Вот именно! — подхватил Лезвин с таким воодушевлением, словно чему-то обрадовался.— А во флоте он лишь даром получает жалованье. Другой адмирал— Веснин — содержит собственных лошадей и отлично наезжает их. Любит это дело по-настоящему. Место ему — на ипподроме. Вероятно, он стал бы выдающимся наездником. Но на флоте он никуда не годный моряк. При этом еще он не прочь руки погреть около казенного сундука. Адмирал Гильд — неплохой парусник, благород-

ный человек. Но современных кораблей он не знает. Этот человек помешался на православном богослужении. Дома у него перед иконами горят неугасимые лампады. Он сам заправляет их, следит за ними днем и ночью. Плавать с ним — одно наказание. Не только команду, но и офицеров он мучает церковными обрядностями и невероятно длинными богослужениями. Кончается обедня, он обязательно еще закажет попу молебен с коленопреклонением. Сам стоит на коленях, и все его подчиненные так же должны поступать. Но на их боевую подготовку он мало обращает внимания. Да. он и не понимает ничего в этом деле. Все на бога надеется.

Я сказал:

— В народе говорят: «На бога надейся, а сам не плошай». Вероятно, Василий Николаевич, такой флагманский корабль похож на плавучий монастырь, где роль игумена исполняет адмирал.

Лезвин злорадно усмехнулся:

— Верно! Игумен в мундире и с орлами на плечах. Но есть еще типы похлеще его! Капитан первого ранга Балкин, будущий адмирал,— человек богатырского телосложения, силач и кутила. Сам красный, борода рыжая. Любитель подебоширить. Но главная его страсть — это пожары. Его знают все пожарные. Он ведрами покупает для них водку. А они за это, если где вспыхнет пожар, должны первым делом звонить ему по телефону. Тогда он мчится на рысаке, стоя на пролетке, и держит перед собою, словно икону, огромнейший топор. Большая рыжая борода развевается от ветра во все стороны. В этот момент у него вид древнего витязя. На пожаре он работает впереди пожарных и один выворачивает из здания целые бревна. Рыжий, он сам похож на пламя. Для него огонь — своя стихия, как для рыбы вода. Из него мог бы выйти замечательный брандмайор. Но какое, спрашивается, это имеет отношение к флоту?

— Очень маленькое, Василий Николаевич,— с досадой отвечаю я, словно дело касалось не флота, а моего родного дома.

После того, как барин разошелся с женою, я впервые вижу его таким возбужденным. У него нет ни детей, ни друзей. Он разочаровался в жизни, ни во что не верит. Судьба ограбила его, унизила, превратила в ничто.

Только я один дружу с ним, только передо мною он с горечью изливает то, что накипело у него на душе:

— Возьмем адмирала Нелишина. Образованный человек, хорошо знает европейские языки. Любимым занятием у него — не морское дело, а парикмахерское ремесло. Он бреет и стрижет всех своих знакомых. Никто не может сделать такую идеальную прическу, как он. Это не просто парикмахер, а лучший мастер, своего рода художник. Куда бы он ни поехал, при нем всегда находится специальный чемодан с набором парикмахерских принадлежностей: десятка два кисточек, столько же больших и маленьких ножниц, до полсотни бритв лучших заграничных фирм, потом — флаконы с одеколоном, коробочки с пудрой, пакеты с ватой, баночки с вазелином. Он может и компресс наложить и массаж сделать не хуже любого парикмахера. Многим офицерам предлагает сделать прическу по своему вкусу, но не каждый соглашается воспользоваться его услугами. Тогда адмирал начинает ухаживать за таким, как за другом, будет его накачивать водкой и вином и сам пить, но обязательно своего добьется — пострижет и побреет офицера. Что вы скажете на это, Захар Петрович?

Лезвин смотрит на меня выкатившимися глазами и ждет ответа.

Я отвечаю шуткой:

— Если бы в морском сражении можно было действовать не орудиями и минами, а только бритвой и ножницами — ого! Что такой адмирал мог бы натворить!

Барин ядовито подхватывает:

— Да, при таких условиях он стал бы первым флотоводцем в мире.

И вдруг громко расхохотался каким-то болезненным смехом.

— Выпьем за здоровье адмирала-парикмахера!

Он с жадностью осушил стакан водки, заставил и меня полстакана выпить.

— Послушайте дальше, Захар Петрович. У великого князя Алексея Александровича, нашего шефа, вернее, главного растратчика русского флота, служит адъютантом капитан второго ранга Винодельский. Флот ему нужен не больше, как почетное и доходное место. Зато его интересует другое. Всю жизнь он собирает по-

хабные картины, фотографии, статуэтки и разные вещицы вплоть до трубок. Не раз он ездил за ними за границу и не жалеет для этого никаких денег. Во всей Европе ни в одном публичном доме не найдешь подобной мерзости, какие имеются у него на квартире. Похабщиной он украсил все стены прихожей, столовой, всех комнат и даже уборной...

Я спросил Лезвина:

— Как же это так, Василий Николаевич? У него, наверно, есть жена, дети, родственники, бывают знакомые. Неужели ему не стыдно?

— У таких людей обезьяний стыд. Но не в этом дело. Хозяин этой ужасной квартиры — старый холостяк и знать не хочет ни дам, ни девиц. Живет он монахом и порицает тех мужчин, которые ухаживают за женщинами. Пусть медицина разберется в душе этого человека. А вот вам еще один экземпляр: свиты его величества адмирал Толстопятов. Добродушнейший толстяк. Ему безгранично нравится поварское искусство. Дома он часто снимает с себя сюртук, подвязывает фартук, засучивает рукава и начинает стряпать. Сам Пушкин с меньшим вдохновением писал свои стихи, чем Толстопятов приготовляет пищу. Изготовленные им блюда должны бы кушать только боги, а не люди. Он бывает невероятно счастлив, если знакомые приглашают его состряпать обед или ужин. Некоторые офицеры даже делают себе на этом карьеру. Но из пушек и снарядов никакого вкусного блюда не создашь. Поэтому и отношение этого адмирала к боевым кораблям очень прохладное. Да, Захар Петрович, всех чудаков не перечислить. Нет у нас таких флотоводцев, как Сенявин, Корнилов, Ушаков, Нахимов. Только адмирал Макаров держится на высоте. Но один, как говорится, в поле не воин...

— А Виктор Григорьевич Железнов? — спросил я и жадно впился глазами в барина.

— Этот адмирал тоже на месте, хотя и порядочный карьерист и хитрец. Но ведь таких очень мало. Наберется еще десять человек. А остальные высшие чины служат на флоте по какому-то недоразумению. Призвание у них совсем другое. Многие молодые офицеры честно хотели послужить своей родине. Но чему они могли научиться у этих господ? Проходило время. Молодежь разочаро-

вывалась в своих мечтах. Их также охватывала зараза разложения. И мне этого не удалось избежать. Я тоже стал каким-то чудаком.

Лезвин замолчал, нахмурился, но от волнения у него продолжали дергаться губы.

Мне было обидно за русский флот, и я сказал:

— Выходит, что морские воротилы служат во флоте только ради жалованья и чинов. И больше ничего. А боевой подготовкой кораблей и личного состава они так же интересуются, как быки молебном.

— Это сказано очень сильно и верно.

У барина лицо набухло, на висках вздулись жилы, брови надвинулись на глаза. Он потер лоб и задумался. Какая задача решалась в его голове? Как бы в ответ мне он заговорил хрипло, с горечью:

— Вот что, Захар Петрович, скажу я вам. Я уже написал на высочайшее имя докладную записку. Завтра же ее пошлю. Это мое последнее обращение. Все наши флотские недочеты, всю мерзость нашей морской службы я изложил на бумаге в самой резкой форме. И добавляю — это не мое только мнение, но и других передовых офицеров. Пусть почитают. А в конце ставлю вопрос: намерено ли правительство оздоровить наш флот? Если нет, то пусть выгонят меня вон со службы или посадят за тюремную решетку. Я соглашусь скорее сдохнуть под забором, как бездомная собака, но не хочу участвовать в позоре будущей войны...

Я встревожился, слушая его, и с болью смотрел на этого благородного, но надломленного человека. Я хотел сказать ему: не надо напрасно рисковать собою. Но он вдруг сжал кулаки и, потрясая ими над головою, закричал грозно, как обвинитель:

— Что за люди стоят у штурвала всероссийского корабля? Куда, в какую пропасть они направляют нашу родину? Ведь это...

Дальше у него как будто не хватило слов — он молча уставился на меня безумными глазами. Мне даже страшно стало и от его выкрика и от его взгляда. А барин, задыхаясь, берет дрожащей рукой стакан водки, чокается со мною и говорит:

— Ну, ладно, Захар Петрович, под столом увидимся.

И нужно же было тут греху случиться. Стакан засту-

чал о его зубы, водка расплескалась. Послышался звон разбитого стекла. Я взглянул на барина: лицо его посинело, глаза стали стеклянными, на губах появилась пена. Он ухватился за свою грудь и зашептал:

— Сердце... сердце...

Никогда я так не терялся, как в этот вечер. Недолго пришлось мне размышлять. Схватил я капитанскую фуражку и, в чем был одет, пустился бегом в свой экипаж. Матросы, с какими я встречался, отдавали мне честь. Что, думаю, смеются, что ли, они надо мною? Все-таки немного выпивши я был, и с испугу мыслишки путались. Вбегаю прямо в канцелярию и кричу во все горло:

— Доктора! Скорее доктора!

На мой крик вылетает из отдельной комнаты дежурный офицер, какой-то лейтенант, при сабле, с эполетами на плечах. Спросонья он таращит глаза на меня и, видимо, ничего не понимает. Правую руку он держит под козырек и хочет мне рапортовать. А я, как ошалелый, ору:

— Ваше благородие, барин мой умирает. Доктора скорее давайте.

В этот момент он, вероятно, принял меня за сумасшедшего. Лицо у него помертвело. Он ухватился за саблю, попятился от меня и забормотал:

— Позвольте, вы кто такой?

Я объясняю ему, что служу вестовым у его высокоблагородия капитана первого ранга Лезвина. Дежурный офицер немного опомнился, показывает на мой наряд и спрашивает:

— А это откуда у тебя?

Только после этого я заметил, что на мне офицерский мундир. Вот почему матросы отдавали мне честь! Еще больше охватило меня волнение. Я рассказываю дежурному офицеру, как было дело,— не верит. Сейчас же меня арестовали, приставили ко мне двух часовых с винтовками. А я все на своем настаиваю, что меня, мол, хоть на кол посадите, но только для барина давайте скорее доктора. Уж очень мне было жалко Василия Николаевича. Все же я добился своего: послали доктора к нему на квартиру. Но барина нашли на полу уже мертвым. Дежурный офицер раскричался на меня:

— Разбойник! Ты, наверно, задушил своего барина? Признавайся сейчас же! Все равно тебя расстреляют.

И бил меня кулаком в подбородок. Но мне почему-то не было больно. Я стиснул зубы, чтобы язык не прикусить. Только голова при каждом ударе откидывалась назад.

По телефону был вызван экипажный командир, капитан первого ранга Лукин. Через несколько минут он явился в канцелярию. На его седобородом лице было такое выражение, как будто он решил сейчас же меня уничтожить. Он протянул в мою сторону указательный палец и спросил:

— Этот?

Дежурный офицер ответил ему официально:

— Так точно, господин капитан первого ранга.

Экипажный командир стал угрожать мне виселицей. Его особенно возмущало, что я наряжен в офицерский мундир. Я пробовал оправдываться, но он приказывал мне молчать. Я перестал отвечать на вопросы и думал лишь об одном: что будет с моей Валей и с моим сыном, если эти угрозы оправдаются? С меня стащили мундир и брюки. В одном нижнем белье я был отправлен в карцер. Я улегся на голые нары и после пережитых волнений почувствовал невероятную усталость. Бесполезно было думать о дальнейшем: все равно мою участь решит начальство. Через какую-нибудь минуту сон нежно обнял меня, как родная мать, а потом казалось, что я, покачиваясь, плыву на облаках.

На второй день моего барина отвезли в морской госпиталь и там его вскрыли: выяснилось, что он скончался от паралича сердца. Хотя я и не был виноват в его смерти, но меня продолжали держать под арестом. Никто не верил, что я надевал мундир по приказанию Лезвина. Сначала считали меня сумасшедшим, но доктора установили, что я в здравом уме. Началось следствие. Допрашивал меня один лейтенант, человек строгий и придирчивый. По его мнению, выходило так, что я обокрал своего барина, нарочно нарядился в его мундир, чтобы удрать с военной службы, но в последний момент испугался полиции и прибежал в канцелярию. Он хотел запугать меня. Но ведь и моя голова кое-что сообража-

ет. Не хотелось мне позорить покойника, а пришлось признаться следователю:

— У меня, ваше благородие, свидетели есть. Они могут подтвердить, что я правду говорю.

— Это какие же у тебя свидетели, откуда?— спрашивает следователь.

Я отвечаю ему, глядя в глаза:

— Феня из «Золотого якоря», Нина из «Попутного ветра», Лиза из нового заведения «Грезы моряка».

Словом, я перечислил ему почти все веселые дома. Следователь от моих слов даже покраснел и не стал ничего записывать. Сейчас же он побежал советоваться с экипажным командиром. Только после этого меня освободили из-под ареста и строго-настрого приказали мне, чтобы я насчет своего барина держал язык на привязи. Иначе я попаду в тюрьму. А зачем я буду болтать? Ведь это я только тебе, как другу, рассказываю. Жаль барина! Хороший был человек для нашего брата. Как-то мне теперь удастся устроиться?

XVIII

Крейсер, назначенный в длительное плавание, уже стоял на большом рейде, грозно возвышаясь над водой железной громадой. Под безоблачным небом, в лучах весеннего солнца, взбивая пену на гребнях волн, резвился на просторе западный ветер. Судно, повернувшись ему навстречу острым форштевнем, скрежетало якорными канатами в клюзах, словно нетерпеливо порывалось скорее ринуться вперед, в загадочную даль моря. Андреевский флаг на корме, гюйс на носу и длинная, с двумя косицами, лента вымпела на грот-мачте, после того как целую зиму пролежали в глухом подшкиперском помещении, ожили и весело трепетали, обласканные сиянием голубого дня.

На этот раз, несмотря на праздник, никого из команды гулять на берег не отпустили. К борту то и дело приставали баркасы. С них перегружали на судно последние припасы, необходимые в плавании. На верхней палубе раздавались свистки и выкрики капралов, приводя команду в движение.

Неожиданно ко мне на крейсер явился Захар Псалтырев. Он был в новенькой фланельке, в аккуратно выглаженных черных брюках, в блестящих, как отшлифованный черный мрамор, ботинках. На каждом его плече красовалось по два желтых кондрика, означающих звание строевого квартирмейстера. Мужественное загорелое лицо его широко улыбалось, сверкая радостной белизной зубов. Но меня больше всего поразило, что он дослужился до младшего унтер-офицера. Заметив мое удивление, Захар воскликнул:

— Что ты смотришь на меня, как поп на еретика? Здорово, браток!

— Мое тебе почтение, друг! — крепко пожимая его сильную лапу, возбужденно ответил я.— Откуда, какими ветрами занесло тебя на наш корабль?

— Через товарищей узнал, что вы сегодня снимаетесь с якоря. Я нанял ялик и прикатил проведать друга. Ну, как дышится в море?

— На полную грудь.

Мы обменялись еще несколькими фразами и спустились в мои владения — в ахтерлюк. Я раскупорил банку с консервами, достал хлеба. В гречневой крупе у меня была спрятана бутылка с лимонной водкой. Я сейчас же извлек ее оттуда. Увидев бутылку, Захар заявил:

— После смерти командира с этим злом я покончил. Мешает это держать правильный курс в жизни. И только ради такой радостной встречи сделаю исключение: пропущу два глоточка.

Выпивая и закусывая, мы закидывали друг друга вопросами. Хотелось узнать о судьбе других товарищей. Кратко рассказал он и о своей семье. Дома у него все было благополучно. По-прежнему с юношеским восторгом он отзывался о своей жене и сыне,— она опять работает машинисткой, а малыш растет.

— Но как ты, Захар, из вестового превратился в строевого квартирмейстера? Вот чудо!

— Да, это чудо,— засмеялся Псалтырев.— Невозможное стало возможным. Случайно я поймал за хвост свою давнюю мечту и оседлал ее. И знаешь, кто мне помог в этом деле? Ирландский сеттер.

— Брось морочить мне голову. Я серьезно спрашиваю.

— А я тебе еще более серьезно отвечаю: мне помог ирландский сеттер.

Среди ящиков и бочек ахтерлюка только я один слушал баритональный голос Псалтырева, повествующего о новых ступенях своей жизни.

— Вздумал я однажды прогуляться по городу, подышать свежим воздухом. Хожу, присматриваюсь к народу. Между штатскими людьми и солдатами мелькают синие воротники матросов. У меня возникает вопрос: куда они все идут, о чем думают? А ведь в каждой голове какие-то свои мысли, свои планы, свои желания. Вот бы все эти мысли и желания узнать и на бумаге изложить. Получилась бы книга, какой еще не было на всем свете. Прохожу мимо парка, куда нашему брату, матросу, вход воспрещен. Рядом со мною шагает по тротуару пожилая женщина с четырехлетним мальчиком. Она, видать,— няня, а он — господский сынок. Очень статный ребенок. И так ему подходит морская форма, что я залюбовался им. И вот у самого входа в парк, откуда ни возьмись, появляется ирландский сеттер — громадный, огненной окраски, уши длинные, хвост опущен. Первое, что мне показалось подозрительным,—это слюнявая пасть и мутные глаза. У меня сразу же мелькнула мысль: бешеный пес. И действительно, оказалось так. Как известно, собаки этой породы редко бывают злые. К людям они относятся мирно, даже ласково. Больше всего интересует их охота на птицу. А этот пес ни с того ни с сего вдруг набросился на матроса и схватил его за ногу. Э, думаю, опасность угрожает и другим людям, надо действовать. Я моментально выломал из ограды большой кусок штакетника. Хорошо, что я успел это сделать вовремя. Пес от матроса кинулся к няне. Но в этот момент я находился рядом с ней. Налет бешеного зверя так перепугал ее, что она вскрикнула, замахала руками и беспомощно опустилась на тротуар. Ребенок прижался к ней и заорал истошным голосом. Я преградил ирландцу дорогу. Он хотел меня цапнуть, но я, изловчившись, так удачно ударил его по передним ногам, что он полетел кубарем. Должно быть, я переломал ему обе ноги,— он не мог больше подняться. На всякий случай я нанес ему несколько ударов и по голове. Он перестал

двигаться и захрипел перед смертью. Я оставил его и подошел к няне. Бледная и дрожащая, она хотела что-то сказать и не могла. Мальчик продолжал надрываться от плача. Я поднял няню, и только после этого она заговорила:

— Ноги мои не идут. Матросик, проводи меня домой. Барин мой заплатит тебе за это.

Одной рукой я подхватил ребенка, а другой помогал няне. Не прошли мы и нескольких шагов, как подвернулся извозчик. Уселись все трое на повозку, а спустя минут десять мы уже были в богатой квартире.

И началось тут что-то несусветное. Мальчик к этому времени начал было успокаиваться и только всхлипывал. Но барыня, женщина лет тридцати, смуглая, как цыганка, взглянула на него, а потом на испуганную няню и остолбенела.

— Что случилось? — упавшим голосом спросила она.

Я только и успел сказать:

— Бешеная собака...

Дальше она уже ничего не слушала. Завопила, запричитала, что теперь ее Славчик может погибнуть. А он, глядя на мать, тоже разревелся. Слезы застилают ей глаза, и не видит она, что ее сын невредим. То она в отчаянии за голову хватается, то начинает целовать ребенка. Голубой капот у нее распахнулся, видна белая, как снег, шелковая сорочка, полные груди вываливаются наружу. Она не замечает этого. Я все порываюсь сказать ей, что бешеная собака не успела даже дотронуться до ее сына. Все мои слова проходят мимо нее. И уйти мне не позволяет. Вдруг она спохватилась и давай названивать по телефону:

— Витя, приезжай немедленно... Бешеная собака... Ребенок искусан... Ужас... Голова кругом идет...

Потом начинает по телефону доктора вызывать.

Опять выкрики, вопль.

Через несколько минут прибыл капитан второго ранга. Как тут же выяснилось, это и был Витя, ее муж; человек высокий, представительный. Я вытянулся, руки держу по швам и, как полагается на военной службе, пожираю его породистое лицо глазами. Белесые густые усы у него подстрижены коротко и ровно, как щетина на

зубочистке. Он быстро окидывает всех нас внимательным взглядом и спокойно спрашивает:

— Какая тут у вас трагедия произошла?

Она с воплями бросается к нему:

— Почему доктор так долго не едет?.. Боже мой!.. Ведь Славчик может с ума сойти...

Он мягко отстраняет ее и вежливо, но в то же время твердо говорит:

— Перестань, Серафима, волноваться. Сейчас разберемся.

Его слова так подействовали на барыню, как будто ее разбудили от кошмарного сна, и она сразу образумилась.

Барин берет своего сына на руки, наскоро оглядывает его и определяет — ничего страшного не произошло. Мальчик при отце моментально замолк. Барин бросает жене вроде выговора:

— Всегда ты, Серафима, поддаешься панике раньше времени. Оказывается, напрасно подняла тревогу.

Он обратился с расспросами ко мне. Я подробно объяснил ему, как все произошло. Няня подтвердила мои слова. Он выслушал и сказал:

— Ну, любезный, спасибо тебе. Я не знаю, как и отблагодарить тебя.

И дает мне две двадцатипятирублевых бумажки.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие. Но только денег мне не надо.

Офицер удивленно приподнял желтоватые брови.

— Как? От денег отказываешься? Может быть, у тебя родители богатые?

Я на момент растерялся. Очень был удобный случай испытать свое счастье, но в то же время соображаю: а вдруг он рассердится и прогонит меня? Кровь обожгла мое лицо. Я заговорил дрожащим голосом:

— Никак нет, ваше высокоблагородие, родители мои бедные. Но все равно — деньги меня мало интересуют. На военной службе поят, кормят, одевают и квартира бесплатная. А если уж вы так добры ко мне, то помогите мне в одном деле.

— В каком?

— Хочу попасть в школу строевых квартирмейстеров.

Тут же я рассказал ему, как я люблю морское дело

и как боцман Кудинов обучал меня разным корабельным премудростям.

— Это, любезный, сделать легче всего,—говорит он и улыбается.— Я как раз служу старшим офицером на учебном парусно-паровом крейсере «Герцог Ольденбургский». Пойдешь со мною в плавание на практику.

Деньги он все-таки навязал мне и еще угостил хорошим обедом с выпивкой. И жена его так ласково обращалась со мною, как будто я был ей родным братом. А тут еще Славчик подогрел любовь ко мне у своих родителей. Он так забавно изображал, как я разделался с ирландским сеттером, что они смеялись до слез. Я тоже чувствовал себя вроде именинника.

Через два дня я уже был на учебном крейсере.

Целый год мы пробыли в плавании. На этот раз долго бороздили Атлантический океан. Побывали на острове Мадера, на Азорских островах. Столько нового я в жизни повидал, что не рассказать об этом за целый день.

Когда я плавал на броненосце, мне много удалось усвоить из того, что нужно знать строевым квартирмейстерам. Я на всю жизнь останусь благодарным боцману Кудинову. Через него узнал различные тросы, как и в каких случаях они употребляются и как их нужно хранить. Я умел сплеснивать тросы, накладывать на них трени, бензели и найтовы. Все морские узлы мне тоже были известны: прямой, рифовый, простой штык, полуштык, двойной штык, удавка, удавка со шлагом, выбленочный, гаечный, шкотовый, брам-шкотовый, сваечный, стопорный и много других узлов. Знаком я был и с блоками: толстоходный, тонкоходный, комель-блок, гитов-блок, анапуть-блок, лотлинь-блок, канифас-блок. Словом, на броненосце с этими предметами я уже разбирался, как с упряжью у себя на дворе. И это мне пригодилось, когда я попал на учебное рангоутное судно. Но пришлось еще очень усиленно заниматься, чтобы освоить все на новом корабле. Это обилие парусов и разных снастей сначала меня просто подавляло. Попробуй-ка запомнить одни названия: грот-гитовы, брам-гитовы, кливер-ниралы, бом-брамсели, брам-шкоты, марса-фалы, марса-быкгордены, лисель-спирты, лисель-штерты, форбом-брасы, брам-эзельгофты, бугеля, сезни. Таких названий сотни. При этом нужно знать, для че-

го служит каждая снасть и как ею пользоваться. Взялся я за учебу с настойчивостью муравья и все преодолел, точно через высокую и крутую скалу перелез.

Таким учебным судном должен был бы командовать энергичный и подвижной человек. А нас возглавлял совсем одряхлевший капитан первого ранга. Лицо у командира сморщилось, толстый нос покрылся сизыми прожилками, постоянно слезящиеся глаза помутнели, словно покрылись клейстером. Как только он ими видит? Меня удивляла его привычка: через каждую минуту он дергал сивой головой, как будто хотел вытряхнуть из нее назойливые и неприятные мысли... Ведь он казался мне таким хилым, что напоминал трухлявую березу в лесу, которая держится только на своей коре,— чуть толкни ее, и она развалится. Словом, от него уже пахло землей. А все-таки он храбрился и старался показать себя молодым. И смешно было слушать, как такой человек рассердится на какого-нибудь матроса и начинает ему угрожать:

— Я тебе за это такого тумака дам, что голова слетит с твоих плеч, как рукомойник.

Вообще командир любил выражаться по-народному. Иногда наказывал матросу:

— Ты мне так сделай это дело, чтобы тело не потело и голова не болела.

Однажды, глядя на него, я подумал: хорошо, что старость подходит к людям незаметно, как ночной тать, и похищает их силу понемножку, но зато изо дня в день, из часа в час. А если бы человек в какое-нибудь утро проснулся и увидел в зеркале, что в одну ночь он стал таким ветхим и сморщенным, как наш командир, что было бы с ним? От ужаса он, вероятно, сошел бы с ума.

Впрочем, наш старик оказался неплохим марсофлотцем, но пережитые годы сказывались на нем — силами ослаб, как обветшалый парус, и память стал терять. Поэтому за него всеми делами ворочал старший офицер, Виталий Аркадьевич. Про него можно сказать— морской орел! За время плавания я ни разу не видел его пьяным. Освободится от судовых занятий — сейчас же садится за книги. И провинившегося матроса и отличившегося, наказать ли кого хочет или наградить, каждого называет любезным. Но лично мне он нравится. Не только кто из

команды, но и офицер у него не забалуется. Очень требовательный по службе и любит точность. Отдаст какое-нибудь приказание спокойно, но так ясно, словно отрубит слова. И тут уж нельзя не выполнить его распоряжения. А как начнет во время парусного учения командовать — радость охватывает душу. Голос у него звучит, как сирена, и слышен по всему судну, на всех мачтах и реях. Это подхлестывает нашего брата, как бичом. Бегом взбираешься по вантам, а потом на высоте пятиэтажного дома, возбужденный до того, что, кажется, кровь в жилах кипит, работаешь и не думаешь, что можешь сорваться с мачты и превратиться в лепешку. Лишь одно у тебя на уме — скорее и лучше выполнить свои обязанности. Но зато можно было гордиться, что на нашем крейсере все идет так великолепно, как хорошо налаженный оркестр,— ни одной фальшивой ноты.

Ко мне старший офицер относился душевно. Если вздумает на берег отправиться,— я у него всегда загребным на вельботе. Иногда, посмеиваясь, он подбадривал меня:

— Вижу, любезный, что из тебя выйдет лихой капрал.

Ну, и я старался служить на совесть. И только однажды проштрафился. Попалась мне книга Достоевского «Преступление и наказание». Устроился я в плотницком отделении и увлекся чтением. Даже забыл, что нахожусь на военном корабле. А он в это время, немного накренившись, шел по волнам Атлантики. Налетел шквал. Была команда: все наверх рифы брать. По расписанию в таких случаях я должен находиться на грот-бом-брам-рее. Но я ничего не замечал и ничего не слышал. Я настолько был потрясен содержанием романа, как будто по моей голове проехали бороной. Ведь вот до какого состояния довел меня этот писатель. Спасибо дежурному матросу по палубе: он толкнул меня и сказал:

— А для тебя особая команда, что ли, будет?

Я спохватился и, как птица, вылетел на верхнюю палубу. Но старшему офицеру уже стало известно, что я на две минуты опоздал. После того, как рифы у парусов были взяты, он призвал меня к себе в каюту.

— Почему ты, любезный, не являешься вовремя по команде?

Я хотел соврать ему, но он посмотрел прямо в мои глаза таким дружественным взглядом, что я сказал всю правду. И сам не знаю, как это у меня с языка сорвалось. Сказал и напугался. Ну, думаю, пропало все. А тут слышу и ушам своим не верю:

— Что ты читаешь Достоевского — это похвально. Но обязанности свои не должен забывать ни при каких обстоятельствах. Если бы даже океан перевернулся вверх дном, ты все равно по команде должен находиться на своем месте. Пойдешь, любезный, в карцер на четверо суток. Я тебе много обязан за спасение моего Славчика, но долг службы и военная дисциплина — это главное. Соверши на судне какой-нибудь проступок мой собственный сын — я бы и его подверг наказанию. Понятно тебе все это?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Можешь идти, любезный!

Вот, это, думаю, настоящий начальник. Молодчина! Побольше бы таких офицеров на флоте. Если бы он посадил меня на две недели, я бы нисколько не обиделся на него.

Больше никаких недоразумений у меня не было. На экзамене на все вопросы я отбарабанил без единой запинки. А теперь хожу с двум лычками на каждом плече.

Слава богу, что ирландский сеттер сбесился. Сам погиб, но мне счастье принес. Иначе я никак не смог бы попасть на учебное судно.

Остается мне дослужиться до звания боцманмата, а может быть, и до боцмана.

Эх, нет у меня возможности проникнуть в Морской кадетский корпус! Либо разум свихнул бы себе, либо превзошел бы все науки. Но туда для нашего брата двери закрыты. Может быть, когда-нибудь откроются.

Мне хотелось еще посидеть и поговорить с Псалтыревым. Каждая встреча с ним была для меня большой радостью. Я люблю таких людей, как он,— они тянутся к знанию, словно растение к солнцу. Их становится все больше и больше, этих будущих творцов жизни, поднимающихся из гущи народной. Как древние воины для овладения крепостью таранами пробивали каменные стены, так они своей кипучей энергией и невероятной

настойчивостью преодолевают все преграды на своем пути, чтобы достигнуть намеченной цели. Но, как ни интересно было беседовать с Псалтыревым, неотложные служебные дела вынуждали меня расстаться с ним.

Выходя из ахтерлюка, мы вспомнили о покойном капитане первого ранга Лезвине.

Я спросил:

— А знаешь ли ты, что твой бывший барин произведен в контр-адмиралы?

— Да что ты? Когда? — спохватился Захар.

— Я сам читал высочайший приказ. Он был получен на второй день после смерти Лезвина.

— Это хорошо. Значит, за него замолвил слово бывший начальник эскадры, контр-адмирал Железнов. Тесть-то мой оказался справедливый человек.

Псалтырев так обрадовался, точно он сам был произведен в высший чин.

Мы вышли на верхнюю палубу. С разрешения вахтенного начальника ялик пристал к левому трапу. Я крепко расцеловался с другом. Он быстро спустился по ступенькам трапа и, уловив момент, уверенно прыгнул на качающийся ялик. Волна подхватила отважного моряка и, окропив сверкающими брызгами, понесла его в сторону военной гавани.

Я не знал тогда, что расстаюсь со своим другом на долгие годы. Шли войны и революции. Смерчем проносились события, изменявшие не только людей, но, казалось, и самый облик земли. Как весенние потоки, бурля, несутся к морским просторам, так и народ из городских окраин и глухих деревень, волнуясь, рвался к свободе, к иной жизни, достойной своего духовного величия. В эти годы я не раз вспоминал Псалтырева, расспрашивал о нем у других, но никто не мог дать мне ответа. И все же я не терял надежды, что когда-нибудь мне удастся с ним встретиться.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Большой моторный катер, на котором я находился, вышел из гавани и, сделав крутой поворот, направился на запад. Слева в открытые иллюминаторы заглядывало летнее солнце, обдавая теплом. Под ясным небом сладостно нежилось море, сверкая, словно безмерная шаль, вышитая золотыми узорами. Море и воздух казались неподвижными. Только под кормою кипел бурун и тянулся за нами треугольником волн.

Я ехал на линкор «Красный партизан». Со мною в каюте сидело несколько краснофлотцев. Здесь были артиллеристы, торпедисты, электрики, кочегары. Они знали меня и охотно со мною разговаривали.

— Вы бы описали нашего командира судна,— сказал артиллерийский старшина, хитровато улыбаясь тонкими губами.

— Почему именно его? — спросил я небрежно, полагая, что артиллерист сказал это ради шутки.

— Человек интересный. О нем можно целую книгу сочинить.

— А кто у вас командиром?

— Капитан первого ранга Куликов. Он участник гражданской войны. Отважный человек. Недаром правительство наградило его двумя орденами. Надо думать, что и орден Ленина получит.

— Ну, как вы с ним живете?

— Хорошо. Команда очень довольна им.

— Вероятно, уже пожилой?

— Да, годков ему порядочно будет, наверно, вторую полсотню разменял. Только никак не хочет с этим примириться. И все удаль свою показывает. По физкультуре любого молодого замотает. Железный человек. Неделю тому назад он участвовал в состязании по заплыву. Расстояние было тысяча метров. И что же вы думаете? Занял второе место.

Рыжий кочегар, которого товарищи называли Галкиным, добавил:

— Наш командир любит также участвовать в гонках на гребных шлюпках. Это для него самое большое удовольствие. В таких случаях он сдает судно своему старшему помощнику и садится на весла. Ну и сила же у него!

Я слушал эти отзывы и вспоминал прошлое. Мне, бывшему моряку, хорошо были известны порядки в царском флоте. Тогда не только командир, но и ни один мичман не мог сесть на весла наравне с матросами. В таком поступке офицеры увидели бы подрыв дисциплины. А если бы это сделал глава судна, то такого начальника все офицеры сочли бы сумасшедшим или опасным нигилистом и, вероятнее всего, на него полетели бы в Главный морской штаб доносы. Нечего и говорить о том, чтобы командир того или другого корабля решился принять участие в состязаниях по плаванию. На высшую власть того времени это произвело бы ошеломляющее впечатление, равносильное сообщению о мятеже на каком-нибудь судне.

Командир Куликов начал интересовать меня. Хотелось узнать о нем подробнее. Краснофлотцы охотно отвечали на мои расспросы.

Заговорил электрик Сигалов, низкорослый и большеголовый парень:

— С таким командиром можно служить: умный и справедливый человек. И что за голова у него! Ведь сколько людей на судне! А он знает почти каждого в лицо и по фамилии. Он часто обходит корабль. И у него такая привычка: где много людей, он присоединится к ним или даже присядет потолковать с краснофлотцами. Тут с ним можно говорить о чем угодно: о домашних делах, о колхозах, о танцах, о том, кто и чем займется после службы, у кого и где находится невеста. Иногда он обратится к краснофлотцу: «Ну, товарищ Поляков, что

вам пишет Маруся?» А тот отвечает ему: «Это было, товарищ капитан первого ранга, в прошлом году».—«Так быстро угасла у вас любовь?»— «Ничего не поделаешь, товарищ капитан первого ранга. Если женское сердце сравнить с замком, то я к нему не мог подобрать ключа». А командир уже спрашивает другого: «Товарищ Дроздов, как ваш сынок Вася поживает? Растет?» Вот память! Уж что он услышал, то никогда не забудет. Бывает, командир сам начнет нам рассказывать что-нибудь такое, что мертвых рассмешит. А как встал и пошел, то опять он начальник. Этому командиру очки не вотрешь. Ты никак не узнаешь, когда ему вздумается облазить корабль: днем, ночью или перед рассветом. Таким образом, и командный состав и краснофлотцы у нас всегда начеку.

Я спросил:

— Командир, видимо, живет с вами в хороших товарищеских отношениях. Но этим не снижает ли он себя в глазах своих подчиненных?

— Нисколько,— поспешил с ответом кочегар.— Он является для нас опытным и разумным начальником, каждое его слово для нас закон. А характером командир такой: сам он не врет и не любит тех, кто вздумает его обмануть. Случается, что человек совершит нечаянно какой-нибудь проступок по службе. Тогда лучше заранее иди к командиру и расскажи ему все по совести, как было дело. Он во всем разберется и может простить тебя. Но если ты соврешь ему, то пощады не жди. Больше тебе не придется с ним служить. У него лозунг такой: экипаж судна — это одна дружная и честная семья, а родина — ее мать.

Один из собеседников посоветовал мне:

— Когда вы познакомитесь с ним поближе, то расспросите его о гражданской войне. Вот порасскажет — заслушаешься. Досталось от него белогвардейцам.

Чем больше я беседовал с краснофлотцами о командире Куликове, тем сильнее он возбуждал к себе мое любопытство. Судя по их восторженным отзывам, он, повидимому, пользовался среди своих подчиненных большой любовью. И авторитет его, как начальника, стоял чрезвычайно высоко. Насколько я понял, это был испытанный боец, проявивший себя во время гражданской

войны как великолепный стратег и тактик. А рассказы о его непомерной храбрости были похожи на легенды.

Через несколько часов наш моторный катер повернул влево. За это время солнце значительно склонилось к западу и теперь заглядывало в каюту справа. По-прежнему узорчато искрилось море и казалось еще более приветливым. Голубели ясные дали и, как всегда, манили душу моряка смутными обещаниями.

Вскоре за мысом, поросшим громадными соснами, показалась эскадра, стоявшая на якоре в просторной губе. Это постоянное ее местопребывание во время летних учений. Все яснее вырисовывались контуры кораблей. Здесь были линкоры, крейсеры, эсминцы, посыльные суда. Ближе к берегу, разбившись на небольшие группы, выстроились рядами подводные лодки. Эти страшные боевые единицы теперь казались игрушечными суденышками, созданными как будто только для забавы человека. Среди них возвышались своими корпусами пароходы— это базы для подводников. Эскадра слегка дымила. Нетрудно было догадаться, что на судах лишь часть котлов находилась под парами, обслуживая вспомогательные механизмы.

Я с жадностью смотрел на корабли, и мысль невольно возвращалась к недавнему прошлому. Что было после гражданской войны? Часть судов была потоплена в сражениях; многие корабли белогвардейцы, изменив своей родине, увели за границу. В разоренной Советской стране остался небольшой флот, плохо обслуживаемый и не имевший даже возможности обеспечить себя топливом. Но теперь он сильно увеличился в своем составе, окреп и продолжает вырастать в могучую и грозную силу, охраняя водные рубежи социалистического отечества.

Катер с полного хода ловко пристал к правому трапу линкора «Красный партизан». Я взошел на верхнюю палубу. Меня встретил капитан 2-го ранга, отрекомендовавшись старшим помощником командира Ложкиным. Он почтительно улыбался, сверкая золотыми коронками на передних зубах. Его высокая фигура на момент заслонила от меня всю палубу. Тут же со мною поздоровался лейтенант — вахтенный командир. Только теперь я заметил, как много людей на верхней палубе. Но

еще больше удивило меня то, что из них только вахтенные были одеты по всей форме. А остальные не имели на себе ничего, кроме трусиков или плавок. Капитан 2-го ранга Ложкин, заметив мое изумление, пояснил мне:

— Это перед ужином приготовились купаться.

Оглянувшись, он осторожно взял меня под локоть и подвел к пожилому человеку.

— Познакомьтесь — наш командир, капитан первого ранга Куликов. А это...

Старший помощник назвал мою фамилию.

Командир протянул руку и до боли сжал мои пальцы в своей широкой и сильной, как медвежья лапа, ладони.

— Очень рад с вами познакомиться,— заговорил он басом, вонзаясь в меня пытливым взглядом серых глаз.— Заочно я давно знаю вас по вашим произведениям. Приехали посмотреть, как мы живем?

— Совершенно верно, товарищ Куликов,— ответил я, в свою очередь, оглядывая его с головы до ног.

Большая седеющая голова, подстриженная под ершика, уверенно покоилась на толстой шее. Лицо, гладко выбритое, безусое, продубленное солнцем и морскими ветрами, было кирпичного цвета. Он был среднего роста, широкоплеч, грудаст и твердо стоял на упругих ногах, немного расставив их, как привык это делать на мостике во время качки. Ему, вероятно, перевалило за пятьдесят лет, но его тело сохранило гибкость и молодость. Он то сдержанно улыбался, то сразу становился серьезным, выражая нетерпение скорее познать гостя.

— Может быть, и вы за компанию покупаетесь? С дороги это будет особенно полезно.

— Благодарю вас. Этим делом, с вашего разрешения, я займусь завтра.

Со мною здоровались еще какие-то люди, и каждый из них называл свое звание и свою фамилию. Так, помимо командира, со мною перезнакомились корабельный врач, инженер-механик, лейтенанты-артиллеристы, штурманы и политработники.

На палубе стояли во фронте краснофлотцы, разбившись на подразделения, объединенные одной какой-нибудь специальностью. Старшины групп проверяли наличность желающих купаться. Когда все было готово, вахтенный командир, взглянув на часы, приказал горнисту:

— Играть движение вперед.

Раздались звуки горна. Всегда привычные и знакомые, они в этот момент прозвучали по-особенному, взбудоражив жизнь на корабле. Сигнал внес необычное оживление среди людей. Смех и говор заполнили палубу, как будто сразу оборвалась дисциплина. Сотни моряков, блестя на солнце свежестью и здоровьем юношеских тел, устремились на старт купания. Одни спускались по трапам на нижние ступеньки — это были, вероятно, новички водного спорта. Другие, матерые пловцы, становились в шеренгу по борту с солнечной стороны или примащивались на откинутые от бортов выстрелы [1]. Некоторые мастера прыжков в воду взбирались на мостики, высота которых над морем равнялась самым высоким вышкам и трамплинам водных станций. Меня целиком захватила вся эта горячка приготовлений к купанию голых людей в разноцветных плавках и трусиках. Прежде чем войти в воду, многие, стоя у самых краев борта и мостиков, на выстрелах и на ступеньках трапа, проделывали всевозможные вольные гимнастические упражнения. Люди, словно проверяя свои физические силы, вытягивались на носках, трясли ногами, подтягивали животы, расправляли плечи, приседали, поджимали колени, размахивали руками, выбрасывали их вперед, назад, вверх, массировали мышцы груди. Корабль, облепленный обнаженными телами, теперь походил на спортивную водную станцию или школу плавания на Москва-реке. Так же как и там, здесь борт, мостики, выстрелы и трапы служили вышками и трамплинами разной высоты.

От борта линкора отделились шлюпки и направились в разные стороны.

Капитан 2-го ранга пояснил мне:

— Дежурные шлюпки, на случай оказания помощи тонущим. Это у нас всегда на купании. Наш освод.

От движения шлюпок на спокойной воде расходились легкие волны, дробя солнечные блики. На поверхности моря вспыхивали беглые зайчики. От их ослепительных искр жмурились глаза стартующих купальщиков.

---

[1] **Выстрелом** называется рангоутное дерево, которое во время якорной стоянки откидывается от борта и к которому привязываются шлюпки. *(Прим. автора).*

Вдруг, покрывая говор, раздались всплески падающих в воду тел.

Я увидел, как с мостика прыгнул головою вперед, поворачиваясь винтом, человек в голубых плавках. Одновременно с ним, согнувшись и поджав колени почти к груди, закувыркался двумя сальтами в воздухе еще человек в черных трусиках. Оба они щукой нырнули в глубину.

Капитан 2-го ранга не переставал пояснять мне:

— Эти двое — из многих наших мастеров прыжка: в голубых плавках — машинист, в черных трусах — сигнальщик.

Я не успевал следить за множеством простых и сложных прыжков. Началось беспрерывное мелькание бросающихся вниз тел, в разных замысловатых движениях. Меня удивляло, до чего многочисленны и разнообразны могут быть фигурные комбинации из человеческого тела. Конечно, не все моряки проделывали сложные и смелые прыжки. Наблюдались чередования простейших входов в воду без толчка, «спады» вниз головою и «соскоки» ногами. Но все это неудержимое стремление к воде настолько было заразительно, что мне самому хотелось, не раздеваясь, броситься с борта в прохладную влагу.

Залюбовавшись воздушными полетами моряков, я забылся и потерял из виду самого командира.

На заднем мостике стоял инструктор по спорту, одетый в форму младшего командира. В руке он держал записную книжку, отмечая в ней свои наблюдения за купающимися.

Мне опять вспомнился царский флот. За шесть лет, проведенных мною на военных кораблях, я никогда не видел того, что пришлось наблюдать здесь. Лишь на некоторых судах раза два в месяц устраивались общие купания. Но в этом принимало участие не больше одной четвертой части команды. А остальные, не умея плавать, с завистью смотрели на своих товарищей, но продолжали оставаться на палубе боязливыми зрителями, изнывая от жары и пота. Для купающихся, чтобы они не могли утонуть, укрепляли за выстрелы сеть, горизонтально погруженную в море на глубину половины человеческого роста. Таким образом, раздольная ширь сводилась до масштаба деревенской лужи, где можно было только

барахтаться, а не свободно плавать. Поэтому прыгать вниз головою с бортов, а тем более с мостиков, совсем никому не разрешалось. Еще хуже было на кораблях учебно-артиллерийского отряда. Каждый год этот отряд по три месяца проводил на Ревельском рейде. Адмиралу никогда и в голову не приходило разрешить команде купаться. Так же было и на кораблях минного отряда. Матросы могли позволить себе такое удовольствие только в тех случаях, когда их отпускали на берег. Не удивительно, что большинство из команды, прослужив на судах военного флота по семи лет, ни разу не испытали радости морского купания.

Начальство будто не понимало, какую пользу приносит людям купание. Совершенно иначе смотрят на это в советском флоте. Сейчас каждому пионеру известно, что ни один спорт не может так закалить человека, как купание. А все эти упражнения в прыжках развивают в моряке ценнейшие свойства: решимость, самообладание, настойчивость и умение добиться победы.

Я обратился к старшему помощнику Ложкину:

— А есть у вас из команды не умеющие плавать?

— Ни одного!— не без гордости ответил он.— А если из молодых краснофлотцев такие к нам попадут, то их обязательно научат овладеть этим искусством. Моряк не должен бояться воды. Вы видите, с какой охотой все бросаются в море? Это вполне естественно. Молодежь всегда имеет желание помериться своими силами с другими. Добиться успеха в соревновании — вот одна из важных форм ее воспитания.

Вокруг линкора шумные всплески воды смешивались с человеческим гомоном. В косых лучах солнца радужно вспыхивали фонтаны брызг. Одни из моряков просто плавали, пользуясь для этого разными стилями, другие пускались наперегонки, соревнуясь между собою в быстроте и на дальность заплыва. Некоторые из купающихся, разбившись на кучки, сгрудившись, играли в водное поло. Ведя и перебрасывая резиновый шар, игроки действовали руками и головою. Можно сказать, все части тела пускались в бой. И выходило это у них с такой поразительной легкостью и свободой, словно они двигались не в море, а на суше. Поражало их мастерство держаться и двигаться на воде. В стороне от групповых заплывов

видно было, как несколько виртуозов то состязались по нырянию вдаль, то показывали фокусы, перевертываясь в воде колесом, то неподвижными пластами застывали на спине, ложась в дрейф. Под безоблачным небом, в лучах дневного светила, море, ослепляя отраженным блеском, как бы кипело от множества барахтавшихся молодых, сытых и загорелых тел. В этом общем порыве возбужденного движения, казалось, принимали участие и чайки, с криком носившиеся над пловцами. Получалось впечатление, что эти люди выросли в самом море, оно стало для них родной стихией, и они, возбужденные, резвились в нем, как дельфины. Я слушал задорные выкрики и безудержный смех сотен моряков, и у меня возникла мысль, что так веселиться не могли даже древние греки — родоначальники культуры водного спорта.

Я обратился к старшему помощнику:

— Часто бывают у вас такие купания?

— Во время стоянки на якоре каждый день перед обедом. Иногда и перед ужином еще раз купаются, как, например, сегодня.

Я посмотрел на другие корабли,— вокруг них так же, как и здесь, купались люди.

По приказу вахтенного горнист проиграл сигнал купающимся. Моряки стали повертывать к линкору. По трапам и шторм-трапам они быстро взбирались на палубу. На них, словно утренняя роса, дрожали, излучаясь солнцем, капли морской влаги. Бодрые, налитые силой молодости, они разбегались по кораблю, торопясь одеться в морскую форму.

II

Мне дали отдельную небольшую каюту. Я с радостью поселился в ней. Столик, кресло, койка, диван, умывальник, шкаф для белья и одежды, книжные полки были так удобно размещены, что занимали мало места. А чтобы во время качки мебель не могла передвигаться, она была прикреплена к переборкам или к палубе. Мое помещение показалось мне достаточно уютным. Ночью оно освещалось электрической лампой, днем проникал свет через иллюминатор. Этот иллюминатор все время

был у меня открыт, и я с наслаждением вдыхал соленый морской воздух.

Находясь в отдельной каюте, я не переставал ощущать биение пульса судовой жизни. Линкор, даже стоя на якоре, не замирал ни на одну минуту. Молчали лишь его главные машины, а вспомогательные механизмы продолжали работать. При них люди несли свою вахту. По временам до моего слуха доносились выкрики отдаваемых начальством распоряжений или топот ног пробегавшего по коридору человека.

Вчера после купания мне не удалось повидаться с командиром Куликовым. Он был чем-то занят и за весь вечер, запершись у себя в каюте, ни разу не показался на людях. А сегодня утром за мною прибежал вестовой и пригласил меня в салон. Там за круглым столом уже сидел командир. Он был одет в белый китель, в широкие темно-синие брюки. Грудь его украшали два ордена Красного Знамени, на рукавах блестели по одной широкой золотой нашивке, означая звание капитана 1-го ранга. При моем появлении он встал, поздоровался со мною и справился, как я спал и как я вообще чувствую себя на новом месте. На мои положительные ответы его загорелое и лоснящееся лицо слегка улыбнулось. Он пригласил меня за стол:

— Вместе подхарчимся.

Движения его были неторопливо солидные. Но ел он хлеб с маслом, сыр, яйца и пил кофе с такой поспешностью, словно находился в буфете железнодорожной станции и боялся опоздать к поезду. Меня удивляло его молчание. По отзывам краснофлотцев, он представлялся мне не таким. И почему-то он поглядывал на меня подозрительно, словно был недоволен мною. Что случилось? И, только покончив с завтраком, Куликов вытер салфеткой губы и заговорил:

— Вы женаты?

Я растерялся от неожиданности такого вопроса и не сразу ответил, а он, как бы утешая меня, сказал:

— Ничего. Я тоже женат.

Озорной огонек сверкнул в его серых глазах. Мне показалось, что он потешается надо мною. Я хотел заметить ему о нелепости его вопроса. Но он тепло улыбнулся и спросил:

— Как вам нравится наш линкор?

— Ничего не могу сказать, потому что не видел его как следует.

Он встал и вышел из-за стола.

— Мы с вами успеем о многом поговорить. А пока вот что: познакомьтесь с кораблем. Я назначу вам толкового лейтенанта. Походите с ним по разным отделениям.

— Спасибо.

Командир продолжал:

— Современный линкор — это вам не прежние корабли. Ход его до двадцати пяти узлов. Он может поражать противника, еле видимого на горизонте. И вы знаете, какую энергию заключает в себе «Красный партизан»?

Я вопросительно поднял брови.

— Не меньше, чем Волховская гидроэлектрическая станция. Ничего себе, а?

— Да, наглядно.

Извинившись, Куликов удалился по своим делам. Я остался в салоне один, размышляя о современном флоте. На подобных линкорах и других судах я и раньше бывал, но от этого у меня нисколько не утратился интерес к военному кораблю. А «Красный партизан» особенно занимал меня. Закованный в толстую броню, он сверху не имел никаких лишних надстроек. Башни, передний и задний мостики, две дымовые трубы, подъемные краны — вот все, что возвышалось над верхней палубой. С внешней стороны он напоминал громадный утюг длиной в одну пятую часть километра. Башни и борта линкора грозно ощетинились дальнобойными и противоминными орудиями.

В салон вошел старший лейтенант, худощавый и стремительный человек лет тридцати семи. Скуластое, со впалыми щеками, его лицо приветливо улыбалось, из-под густых бровей, сросшихся над переносицей, бодро смотрели карие глаза. Протягивая мне руку, он браво отрекомендовался:

— Федор Матвеевич Пазухин. Назначен командиром в ваше распоряжение, чтобы познакомить вас с нашим линкором.

Я попросил его присесть и предложил ему папиросу. Пока мы курили, я узнал от него кое-что из его биогра-

фии. До службы он занимался со своим отцом рыболовством на Белом море. С малых лет он увлекался водной стихией. Поэтому по первому призыву ЦК комсомола он добровольно пошел во флот. Будучи на действительной службе, Пазухин окончил школу рулевых, а затем три года пробыл на сверхсрочной службе в звании младшего командира. За это время, посещая вечерние курсы по общеобразовательным предметам, он подготовился и поступил в Военно-морское училище. По окончании его стал штурманом. Но ему хотелось приобрести больше знаний. Этой весной он получил диплом об окончании академии по своей специальности.

Я спросил:

— Что это ваш командир такой необщительный? Никак к нему не подъедешь. Молчит. Всегда он такой?

Лейтенант Пазухин рассмеялся.

— Значит, присматривается к вам. Это будет продолжаться еще два-три дня. А в общем, это замечательный командир: по службе суровый, но в жизни исключительный добряк. Великолепный организатор и боевой человек. Плавать с ним — это значит пройти хорошую морскую школу на практике.

Мы пошли осматривать линкор. Насколько «Красный партизан» казался мне прост с внешней стороны, настолько же все было в нем сложно внутри. Даже мне, побывавшему на многих военных кораблях, трудно было сразу разобраться в его железных лабиринтах. Мой проводник, лейтенант Пазухин, в некоторых помещениях на короткое время задерживался, давая объяснения насчет того или другого механизма, и торопливо шел дальше. Я едва поспевал за ним. Это был осмотр на скорую руку, поверхностный, лишь бы удовлетворить новизной впечатлений нетерпеливую жадность мозга. Немыслимо было охватить все в один раз. Чтобы облазить все палубы, отсеки, кубрики, машинные отделения, кочегарки, трюмы, мостики, штурманские рубки, боевые рубки, трапы, коридоры, бронированные башни, казематы противоминной артиллерии, крюйт-камеры, бомбовые погреба, торпедные погреба, радиорубки, телефонные станции, электрические станции, отделения для сухой и сырой провизии, угольные ямы, канцелярии, каюты, помещения за двойным бортом, канатные ящики,

коридоры, где вращаются гребные валы,— словом, чтобы заглянуть во все закоулки, в люки, горловины, вентиляционные отдушины, на это пришлось бы потратить несколько дней. Но еще больше потребовалось бы времени для уяснения работы главных машин и всевозможных вспомогательных механизмов, проводов, переборок, артиллерийских, торпедных, штурманских приборов, беспроволочных телеграфов, электрических станций, всех бесчисленных манометров и других изобретений, необходимых для управления боевым кораблем. Осматривая линкор, мы то поднимались ввысь на несколько этажей, то опускались в глубь его железных недр. Для этого нам приходилось пользоваться трапами или скобами, прикрепленными к вертикальной переборке, и только в тех случаях, когда нам нужно было попасть на мостик, прибегали к помощи лифта. Беседуя с лейтенантом Пазухиным, я с трудом, до боли в голове, осмысливал всю сложность современного корабля. Понятным становилось, почему для обслуживания его нужны не просто моряки, а люди высоких специальных знаний: инженеры, техники, машинисты, кочегары, артиллеристы, радисты, электрики, турбинисты, минеры, сигнальщики, дальномерщики. Им приходится иметь дело с различного рода механизмами и приборами.

Из радиорубки, проникая во все отделения судна, раздался повелительный голос:

— Внимание! Внимание! Говорит радиоузел линкора «Красный партизан». Прекратите занятия! Проветрите жилые помещения!

На время я расстался со своим проводником.

Командир Куликов на этот раз не присутствовал на купании и не обедал. Его зачем-то вызвали на флагманский корабль. А я с большим удовольствием освежился в море и затем плотно пообедал.

После обеда я с тем же лейтенантом возобновил осмотр судна. Мы порядочно задержались в одной из орудийных башен. Снаряды, приспособления для подачи их, сами орудия, всевозможные приборы для управления огнем,— как все это усложнилось в сравнении с тем, что было раньше во время моей службы! А дальнобойность стрельбы стала такой громадной, что попадание снарядов может быть только при правильном определе-

нии расстояния до противника. Вот почему на судне установлены самые усовершенствованные дальномеры. Лейтенант Пазухин пояснил мне:

— Допустим, что противник находится от нас в ста двадцати кабельтовых. Хороший дальномерщик, овладев современным прибором, точно определит расстояние до него. Ошибка может быть допущена в полкабельтовых, не больше.

Мы еще долго ходили по разным закоулкам линкора. От обилия впечатлений у меня трещала голова. И все же этот осмотр был очень беглым. Мы не могли останавливаться на деталях судна, насыщенного от киля и до самого клотика техническими изобретениями.

— Вы уже имеете некоторое представление о современном корабле,— говорил лейтенант Пазухин.— Чтобы вся его материальная часть работала бесперебойно, требуется от личного состава очень много специальных знаний. Не удивительно, что число строевых краснофлотцев с течением времени все уменьшается. На их место становятся люди с техническим образованием.

Он привел меня в библиотеку. Заведующий ею был краснофлотец, развитой и разговорчивый человек. Он охотно и с любовью рассказывал нам о судовой книжной сокровищнице. Я слушал его и невольно вспоминал прошлое.

В царском флоте каждый корабль имел по две библиотеки: одна для начальства, другая для нижних чинов. Считалось хорошо, если в офицерской библиотеке находилось до тысячи томов. Тут были и научные книги и беллетристика на разных европейских языках. При этом русские авторы пользовались меньшим почетом, чем французские. Что же касается матросской библиотеки, то она представляла собою жалкий вид, состоя из сотни брошюр. Здесь были всякого рода сказки, много раз проверенные военной цензурой, чтобы не проскочила в них какая-нибудь вредная идейка; описания жития святых и великомучеников, проповеди Иоанна Кронштадтского, лубочные дешевки, ничего не дающие ни уму, ни сердцу. В такой библиотеке нельзя было найти ни одной серьезной книги. Отсутствовала даже история России, казалось бы, так необходимая, чтобы пробудить у военного читателя любовь к своей родине. Вот почему

более развитые матросы покупали книги на свои собственные гроши. Но и это давалось не так легко. С произведениями таких авторов, как Лев Толстой и Максим Горький, или с передовыми журналами люди из команды старались не попадаться на глаза начальства. Мало того, что они рисковали попасть в карцер, их могли еще взять под подозрение, как политических преступников. И все же, несмотря ни на что, матросы читали. Для этого им приходилось забираться либо за двойной борт, либо в подбашенное отделение и в другие такие места, куда не заглядывал офицерский глаз.

Не то стало теперь. На линкоре «Красный партизан», как и на всех судах советского флота, библиотека была общей для всего экипажа. Команда пользовалась ею наравне с начальствующим составом.

Я спросил у библиотекаря:

— Сколько у вас книг?

— Более двадцати тысяч томов.

Названная цифра меня удивила.

Мне было обидно за прошлое и радостно за настоящее. До неузнаваемости изменилась жизнь флота. Теперь не только никто не преследует краснофлотцев за чтение книг, но всячески это поощряется.

Я поблагодарил своего спутника, лейтенанта Пазухина, и, усталый, ушел к себе в каюту отдохнуть.

Вечером я ужинал с командиром Куликовым. Со мною он держался так же, как и утром: был скуп на слова. Тогда я сам стал приставать к нему с расспросами, главным образом по артиллерии. Его лицо приняло выражение настороженности. Он отделался от моего любопытства общими фразами, не сообщив никаких конкретных данных. А когда я поинтересовался, насколько подготовлены комендоры, он как будто не слышал меня и заговорил о другом:

— Странные бывают случаи в жизни.

— А именно?

— Несколько лет назад я побывал в Ленинграде на кладбище. Дело было летом. Только что брызнул мелкий дождь, и сейчас же небо очистилось от облаков, поголубело. В ярких лучах солнца вся зелень деревьев и трав празднично расцвела каплями росы. Воздух был пропитан каким-то особым ароматом и свежестью, приятно ще-

котал ноздри и наливал тело здоровьем. Словом, кругом было разлито столько сияющей радости, что даже не верилось, что находишься на месте человеческих страданий, горестных вздохов и горьких слез. Но, как и всегда на кладбище, невольно пришли мысли о бренности нашей жизни. Походил я между могил и холмов, поразмышлял, погрустил. Потом со мною встретился кладбищенский сторож. Сели мы на скамеечку, я угостил его папиросой. Разговорились. Старик имел за своими плечами семь десятков лет, но чувствовал себя, по-видимому, еще бодро. Когда-то он был бондарем, но бросил свою профессию. Оказалось, лет тридцать назад он похоронил здесь свою любимую жену и с тех пор здесь же остался сторожем. Живет неважно и все же остался верным своей супруге. Бывают же на свете такие однолюбы! Вспоминал он о ней с такой трогательной сердечностью, с таким глубоким чувством, как будто она была самая добрая женщина на всей земле. И я видел, как по его загорелым щекам покатились две крупные слезы. У него осталось одно желание — лечь в могилу рядом с женой. Покуриваем мы со сторожем, мирно беседуем. В это время появляется на кладбище старушка. Проходит она мимо могильных холмиков и памятников, вся сгорбленная, покачивает головою и смотрит по сторонам, точно приискивает себе местечко на вечный покой. На ней шляпка с широкими полями, украшенная полинявшими розами и ягодами вишен, и черное шелковое платье старомодного покроя. Все это когда-то дорого стоило, но теперь и шляпку и платье давно бы нужно выбросить в мусорный ящик. Только туфельки на французских каблучках, бальные, отливающие серебром, сохранили изящный вид. Очевидно, они были связаны у нее с какими-то радостными воспоминаниями, и она надевала их только в исключительных случаях. По всему видать, что это бывшая барыня. Она бережно несла в горшочке гвоздику. Судя по ее бедному наряду, надо полагать, что она купила эти цветы за счет экономии на пище. Старушка подошла к могиле, чисто убранной, огороженной чугунной решеткой, за которой возвышался мраморный памятник и стояла зеленая скамеечка. Зайдя за решетку, эта сгорбленная женщина остановилась как бы в недоумении. Я ждал, что сейчас она разрыдается, оплакивая

милое и дорогое существо, похороненное в этой могиле. Но она подозрительно оглянулась на нас. В этот момент я увидел ее лицо, желтое и сморщенное, как сухой гриб, и невероятно злое. Губы ее шевелились, она что-то шептала, но только не молитву. В этом я был убежден. Вдруг она повертывается и начинает что-то проворно хватать с могилы. И что же я вижу? Она рвет цветы и разбрасывает их в разные стороны, а баночки из-под них разбивает об ограду. Все это она проделывала с ненавистью. Потом она поставила на могилу свои цветы и уселась на скамеечку. Но от волнения седая голова старухи еще долго дергалась. Пораженный этим случаем, я обратился за разъяснением к сторожу. От него я все узнал. Под мраморным памятником покоится прах знаменитого певца. Было время, когда он шумел на всю страну. В театрах он своим необыкновенным голосом и художественным исполнением покорял зрителей. Все для меня стало понятным. Десять лет прошло, как зарыли знаменитого певца в землю, но бывшие барыни все еще приходят сюда, чтобы поклониться праху своего бывшего кумира. По словам кладбищенского сторожа, все они такие же ветхие, как и эта особа. Но ревность у них все еще не угасла. Почти все они приходят к этой могиле и уничтожают цветы, расставленные на ней другими. Иногда они сталкиваются здесь вместе, и тогда между ними происходит отчаянная ругань. Они готовы выцарапать друг у друга глаза. Очевидно, каждая из них думает, что он, кости которого давно истлели, любил ее одну и только ей одной принадлежал. Над кладбищем, стрекоча пропеллером, низко пролетел самолет. Старушка не обратила на него внимания. Она перестала трясти головою, замерла. В этот момент она была вся в прошлом. Может быть, в ее памяти всплывали те сладостные моменты, какие она переживала тридцать — сорок лет назад. Возможно, что при первой встрече и первых поцелуях с любимым она была именно в этих отливающих серебром туфельках. Время ничего не оставило для нее, кроме ярких, но уже оборванных лепестков воспоминаний.

Куликов замолчал. Я задумался над его рассказом. И вдруг мне стало досадно, почему я не получил ответа на свой вопрос. Мне показалось, что командир относится ко мне недоверчиво. Я сказал:

— Случай, какой вы наблюдали на кладбище, сам по себе интересный, а в вашей передаче особенно. Но какое это имеет отношение к линкору?

— Ах, да, линкор,— спохватился командир, вылезая из-за стола.— Знаете что? На осмотр его вам придется потратить еще немало времени. Скажу о себе. Когда меня назначили на этот линкор командиром, то я по долгу службы решил облазить его весь, побывать во всех отделениях. И каждый день я аккуратно записывал в блокнот, сколько на это у меня тратится времени. Когда такой осмотр был мною закончен, я подытожил свои записи. Получилось, что я потратил на это ровно два месяца. Вот что значит современный линкор.

Он ушел, оставив меня одного в салоне.

Мне начинал он казаться человеком очень интересным и сложным. В его седеющей, подстриженной под ерша голове, как в надежном сейфе, вероятно, много ярких переживаний и всевозможных ценных наблюдений. Но он был осторожен со мной. Я вспомнил слова лейтенанта Пазухина и решил, вооружась терпением, ждать, когда он заговорит со мной языком простых человеческих отношений.

III

Меня интересовал вопрос: что это за люди, населяющие линкор «Красный партизан», и откуда они пришли?

В этом мне много помог комиссар линкора Ефим Савельевич Огородников. Высокий, жилистый, лет тридцати, с медлительной походкой, он показался мне при первом знакомстве человеком вялым. Но скоро я изменил о нем свое мнение. Воспитанник специальной академии, он хорошо разбирался в политике, обладал твердой волей и организаторскими способностями. А энергии в нем было заложено хоть отбавляй. Для него не существовало ночи, если предстояло срочное дело. На собраниях, когда он выступал с речью, его удлиненное, густобровое лицо становилось вдохновенным, глаза загорались синим блеском. Своею страстностью он заражал всех слушателей. Команду он знал не меньше, чем командир, и среди нее также пользовался большим уважением.

Это были два главных лица на корабле: один ведал

боевой подготовкой своих подчиненных, другой вырабатывал в них политическую и моральную стойкость. Оба, кстати сказать, дружили между собою и в случае надобности могли на время заменить один другого. Командир выполняет свою роль всегда на виду у всех, часто появляясь на мостике. Комиссар же как бы отодвигается на задний план, но он вникает во все подробности судовой жизни и выполняет напряженную большевистскую работу.

Как-то вечером я прохаживался с комиссаром Огородниковым по верхней палубе линкора. Он говорил мне о команде:

— С каждым годом состав команды все улучшается. Да иначе и не может быть. Возьмем для примера только пионерское движение, распространившееся по всей нашей стране. Вы, вероятно, сами видели, с каким энтузиазмом молодые ребята готовятся стать будущими моряками?

— Да, я видел их на Балтике, видел на Черном и Азовском морях,— согласился я.— В возрасте от двенадцати до пятнадцати лет они уже не боятся моря и катаются на шлюпках под парусами и на веслах, как заправские моряки. Они могут семафорить, управлять рулем и держать курс по компасу. А некоторые из них, наиболее развитые, даже разбираются в морских картах и умеют прокладывать по ним курс. Малограмотному и забитому матросу царского времени нужно было прослужить во флоте года два, чтобы сравняться знаниями в морском деле с нынешними пионерами.

— Правильно сказано,— подхватил комиссар, оживляясь.— Откуда у нашей молодежи такое желание попасть в Красную Армию и флот? Стало великой честью быть воином в такой стране, как наша родина. Об этом вы сами хорошо знаете. Вот и стремятся к нам лучшие представители молодежи. Присмотритесь к ним. В связи с развитием школ в государстве и к нам поступают все более и более грамотные люди. У нас на корабле семь человек из команды с высшим образованием. А таких, которые закончили средние учебные заведения или разные техникумы, можно насчитать несколько десятков. Разве было что-либо подобное в царском флоте? Кроме того, сколько славных юношей, прошедших уже общест-

венно-политическую школу, дали нам комсомольские организации. Среди команды вы много найдете и таких, которые до призыва работали на тракторах, на комбайнах и при сложных заводских и фабричных машинах. Словом, к нам приходит много развитых людей. А за время пребывания на корабле они еще больше приобретут специальных знаний и получат хорошую политическую шлифовку.

Комиссар замолчал и посмотрел на запад. Солнце, спускаясь к горизонту, позолотило края облаков. С юга подул легкий ветерок и рассыпался по рейду серебристой рябью. От борта отвалил моторный баркас, увозя краснофлотцев, отпущенных на берег. Огородников снова заговорил:

— Конечно, в семье, да еще в такой большой, как наш экипаж, не без урода. Иногда попадаются человечки неважные: любители выпить и лодыри. Приходится над ними много работать, чтобы выветрить из них эту дурь. В конце концов, под действием дружного коллектива, и они становятся порядочными людьми.

Мы стали разбирать начальствующий состав. В общем командиры происходили либо из рабочих, либо из крестьян. У многих из них родители были малограмотными или даже совсем неграмотными. А их сыновья, пользуясь тем, что просвещение стало доступно для всех, получили хорошее образование, включительно до академии. Они носят блестящую форму лейтенантов и капитанов разных рангов. Это энергичная и цветущая молодежь. Только командир линкора, старший механик и старший артиллерист представляли собою исключение.

— Вы, вероятно, познакомились со старшим механиком Остроумовым? — спросил комиссар.

— Да. Очень степенный и солидный человек. Мне показалось, что он из «породистых» людей.

— Ошибаетесь. При царском режиме он был машинистом самостоятельного управления. Но после революции он кончил институт инженеров. Партийный стаж у него более двадцати лет. Это человек неповоротливый, с ленцой. Впрочем, он великолепно выполняет свои обязанности. Во время похода линкора у нас не бывает перебоев в работе механизмов. Все недочеты в своей области он заранее устраняет.

Разбирая начальствующий состав, мы не могли миновать и старшего артиллериста Судакова. Роста выше среднего, плотный, он находился в расцвете своих сил. На его лице, полном, слегка рябоватом, с коротко подстриженными черными усами, всегда играла безобидная усмешка. Это был балагур и весельчак, любитель поиграть на гармошке. Хотя он имел звание капитана 2-го ранга, я принимал его за легкомысленного человека. Но комиссар разубедил меня в этом:

— У Судакова есть свои недостатки. Он втихомолку выпивает, иногда у него прорывается резкая ругань. С этим мы боремся. Но в то же время он является исключительно талантливым артиллеристом. Любит свое дело. В старом флоте он был только комендором-наводчиком. Дальше этого не пошел. И только советская власть дала ему возможность кончить Военно-морское училище, а затем артиллерийский факультет Военно-морской академии. Пусть кто-либо из его подчиненных попробует втереть ему очки. Ничего из этого не выйдет. Судаков, мне кажется, может в абсолютной темноте разобрать и собрать любую пушку. Если вам удастся побывать на стрельбище, вы увидите, как под его управлением будет действовать наш огонь. Жаль, что Судаков, вероятно, скоро от нас уйдет.

— Куда?

— В Морскую академию. Ему предлагают кафедру по артиллерийской части. Только в нашей стране может так быть: человек от комендора-наводчика поднимается до звания профессора.

Я заговорил о главе судна:

— Ваш командир Куликов, по-видимому, любопытный человек, но уж очень неразговорчивый.

Комиссар рассмеялся:

— Это он-то неразговорчивый? Редкостный рассказчик. Говорит, как по книге читает. Послушать его интереснее, чем читать повести и романы.

К Огородникову подлетел краснофлотец и, вытянувшись, бойко заговорил:

— Разрешите, товарищ комиссар, доложить.

— В чем дело?

— Партактив весь в сборе. Ждут вас.

— Иду.

Комиссар отправился в ленинский уголок, а я к себе в каюту. Около дверей своей каюты я неожиданно встретился с командиром линкора. Я сказал:

— Может быть, ко мне зайдете, товарищ Куликов? Покурим.

— С удовольствием.

В каюте он расположился на диване, я уселся на стуле. Закурили. Я рассказал ему о своей беседе с комиссаром о личном составе. Куликов кое-что добавил от себя для характеристики некоторых командиров, а потом заговорил об Огороднпкове:

— Бывший подпасок, а здорово умственно развился. Этот человек далеко пойдет. Отец его с трудом научился читать на курсах по ликвидации безграмотности. Дело было в приморском городе, куда он попал в качестве простого землекопа. В деревне у него никого не осталось. Захватил он с собою и сына. Мальчик увидел море и, кажется, влюбился в него на всю жизнь. Комсомолец, он окончил среднюю школу отличником. А теперь, как вы видите, стал моряком.

Я слушал командира и смотрел на его лоснящееся от здоровья лицо с тем любопытством, какое возбуждают необычные люди. А он мне казался именно таким. Между нами сложились странные отношения. Часто бывало так: я заговорю об одном, а он отвечает мне совсем другое; то он насупится и молчит, словно я сделал ему какую-то гадость, то старается быть очень предупредительным. Иногда мне казалось, что он подсмеивается надо мною. Я даже решил про себя: должно быть, он из бывших офицеров, и ему, несмотря на его партийность, тошно говорить с бывшим матросом. А когда он бывал ласков со мною, то во всем его облике было что-то родное и близкое, как будто я давно уже был с ним знаком. Так или иначе, но меня почему-то неудержимо тянуло к нему. На этот раз он был в хорошем настроении. Я спросил:

— А вы не служили в царском флоте?

Куликов, в свою очередь, спросил меня:

— Разве вы ничего не знаете об этом?

— Нет.

Он внимательно посмотрел на меня и, словно в чем-то убедившись, ласково улыбнулся.

— Года два тому назад я прочитал одну из ваших книг. Она навела меня на верную догадку. Я сейчас же написал вам письмо. В этом письме я все изложил о себе. Но вы не удостоили меня ответом, и я решил про себя: вероятно, человек загордился или зазнался, если не откликается на мое дружеское послание.

Я сразу понял: вот почему Куликов до сих пор относился ко мне холодно и с какой-то недоверчивостью.

— Смею вас уверить, что никакого письма я от вас не получал. Уж кому другому, а моряку я не мог бы не ответить. А зазнайство — это не мой стиль.

Куликов еще больше обрадовался. Из дальнейших разговоров выяснилось, что он знает, в каком экипаже я служил и в какой роте с новобранства обучался, и даже назвал фамилию инструктора. Он напомнил мне при этом о таких подробностях моей службы, о каких даже я стал забывать. Мой взгляд сосредоточился на его лице, смутно улавливая знакомые черты. Несомненно было, что где-то я встречался с этим человеком.

— Откуда все это вам известно, товарищ Куликов? Может быть, и вы в этой же роте обучались одновременно со мною?

— Да, уважаемый приятель! Можно еще кое-что вам напомнить. Я хорошо знал одного вашего ученика. Вы ему помогали по арифметике и русскому языку. Потом он служил вестовым у капитана первого ранга Лезвина. Вы продолжали с ним дружить. Это был мой тезка — Захар Псалтырев. Он благополучно здравствует до сих пор.

Я таращил глаза на командира, а при последних словах его вскрикнул:

— Скажите, что вы знаете о нем? Что с ним стало? Где он? Ведь Псалтырев — это мой задушевный друг.

Я заерзал на стуле, ожидая скорейшего ответа, а командир, словно наслаждаясь моим нетерпением, неторопливо достал из серебряного портсигара папиросу, закурил и спокойно сказал:

— Он много поработал для революции, не раз бывал на волосок от смерти, но и революция не обидела его. Она дала ему то, что ему даже во сне не снилось. В настоящее время он имеет звание капитана первого ранга и командует советским кораблем.

— Каким?

— Линкором «Красный партизан».

Ошеломленный, я несколько секунд сидел молча, все еще не веря в превращение одного человека в другого. В памяти моей замаячил новобранец, который явился на флотскую службу в рваном полушубке, в облезлой заячьей шапке, в лаптях. Потом, приняв присягу, он служил вестовым. Но это не мешало ему до самозабвения любить море и корабли. Парень был талантлив на все руки. С этой стороны у него имелись все данные на то, чтобы теперь, при советской власти, занять высокий пост командира судна. Но тот человек щеголял большими черными усами, носил другую фамилию и только какими-то отдаленными чертами напоминал этого солидного капитана 1-го ранга. Я растерянно забормотал:

— Это вы и есть тот самый Псалтырев?..

— Да, тот самый.

— Который...

— Да, который...

— А почему фамилия теперь другая?

— Когда призвали меня на военную службу, я был записан по уличной кличке. А после революции я восстановил настоящую свою фамилию: стал Куликовым. Зачем же мне носить уличную кличку, да еще церковную? А вы, как видно, все еще сомневаетесь? Неужели я настолько изменился, что вы не узнаете своего друга?

— Захар! — вырвалось у меня.

— Алексей! — оглушил меня басистый голос.

Мы бросились друг к другу в объятия и крепко расцеловались. Это был момент такой искренней радости, словно мы обрели величайшее счастье. Чувство дружбы, угасшее было за длительное время нашей разлуки, снова властно вспыхнуло в душе. Вся официальность сразу исчезла, как нелюбимый моряками туман.

— Почему, Захар, ты в первый же день не открылся передо мною? — возбужденно упрекал я Куликова.— Зачем тебе понадобилось морочить мне голову?

Он задушевно смеялся, прищурив сияющие серые глаза.

— Во всяком деле прежде всего нужна выдержка. Кроме того, у меня было основание не сразу открыться перед тобою. Пойми, разве не обидно было, что ты ни-

чего не ответил на мое письмо? Да и присмотреться нужно было к тебе: остался ли ты тем человеком, каким я знал тебя на военной службе, или изменился к худшему.

— Ну, и что же?

— Нашел все в порядке.

Распахнув душу друг перед другом, мы еще долго восторгались нашей неожиданной встречей.

IV

На следующий день после завтрака командир Куликов пригласил меня в свою каюту. Это было просторное помещение, отделанное красным деревом. Два открытых иллюминатора с раздвинутыми шторками из малинового бархата давали достаточно света. Стены украшены были портретами знаменитых флотоводцев: Ушакова, Сенявина и Нахимова и фотографией семьи командира. На потолке электрические лампочки скрывались под матовыми стеклами. Кроме того, была еще настольная лампа с синим абажуром, прикрепленная к большому письменному столу. В каюте при помощи переговорной трубы командир мог держать связь с мостиком, а по телефону — с любым отделением корабля. Стоит только, сидя в кожаных креслах за письменным столом, поднять голову, как взгляд неизбежно падал на барометр. Мебель еще дополняли несколько стульев, диван и круглый столик с огромной пепельницей из черепахи. К каюте примыкала командирская спальня с широкой пружинистой кроватью, со шкафами для белья, с умывальником.

Покуривая, мы сидели за круглым столиком. Я смотрел на командира и вспоминал, как хорошо он разбирался в жизни, будучи только вестовым, и великолепно обо всем рассказывал. А теперь я еще с бо́льшим волнением слушал его, уже капитана 1-го ранга, окончившего Военно-морскую академию.

— Во время империалистической войны, по распоряжению ЦК партии большевиков, я отправился в портовый город,— начал свой рассказ командир.— У меня был чужой паспорт, и в нем я обозначался демобилизованным, как страдающий припадками. Устроиться на работу было не так легко, не рискуя провалиться.

Но на Морском заводе оказался мой хороший знакомый инженер, отчасти тронутый уже революционными идеями. Он и принял меня к себе на работу. Я считался хорошим слесарем, мною дорожили.

На этом заводе уже были свои люди, и они прекрасно вели работу среди рабочих. Мне же, как бывшему матросу, было поручено главным образом заняться флотом. Я легче, чем кто-либо другой, мог разобраться в людях флотских экипажей и судовых команд. Не хвалясь, скажу: за семь лет службы я основательно изучил матросов. Мне достаточно было с кем-нибудь из них побеседовать только раз, чтобы определить,— подходящий это человек для нас или нет. Обыкновенно знакомство начиналось с машинистами, кочегарами, минерами, гальванерами. На корабле люди этих специальностей считались наиболее передовыми. Короче говоря, у меня было большое преимущество перед другими работниками. И все же нужно было действовать очень осторожно. Во время войны тайные агенты особенно следили за нижними чинами. Однако дело у меня пошло успешно. Через несколько месяцев были установлены связи со многими флотскими экипажами и кораблями. Спустя еще некоторое время мы организовали нелегальный комитет, возглавляемый мною. Мы содержали кинотеатр. Это давало нам возможность добывать средства на организационные расходы. Но главная цель здесь заключалась в другом. Хозяином кино считался бывший машинист самостоятельного управления Остроумов. Усатый, сытый, высокий и широкоплечий, он внешностью напоминал офицера в отставке. Разговаривал он медленно, закругляя каждую фразу. Вся полиция находилась с ним в приятельских отношениях. Со стороны никто не мог заподозрить в нем революционера. И все его служащие были свои люди: киномеханик, билетерши, кассирша и даже сторож. Вот почему это кино заменяло нам нелегальную штаб-квартиру. Здесь происходили явки, отсюда матросы получали литературу и указания, как вести работу. Наше кино было у власти на хорошем счету.

Нашлись свои люди даже в морском штабе — писаря. Через них мы узнавали все секретные новости. Каждое мероприятие высшего начальства нам заранее было известно. Наша нелегальная литература хранилась в на-

дежных руках. В этом нам очень помогала Катя, служившая горничной у полицмейстера. Она безумно была влюблена в минного квартирмейстера Погудина. Матросы говорили о нем:

— Это такой горячий человек, что если плюнет, то плевок шипит, как на раскаленной плите.

Он и Катю распропагандировал. От природы девушка эта оказалась умной, быстро соображающей и серьезной. После революции Погудин женился на ней. Но еще до этого стала она у нас преданным человеком. Никому из жандармов и в голову не приходило произвести обыск на квартире самого полицмейстера. Мало того, что у Кати хранилась литература,— благодаря этой горничной мы знали в лицо почти всех тайных агентов. А это значительно облегчало осуществление наших планов.

Время работало для нас. Во флоте мы имели крепкие и сильные организации. Можно было надеяться, что если вспыхнет восстание, то 1905 год уже не повторится. Тысячи матросов пошли тогда на каторгу, а многие из них поплатились и своими жизнями.

Наступил семнадцатый год. На фронтах русское командование переживало крах. Солдаты, плохо снабженные продовольствием и не имевшие надлежащего вооружения, теряли веру в победу. А главное во имя чего они вынуждены были голодать, мерзнуть в окопах, кормить своим телом паразитов, жертвовать собою? Но даже и при таких условиях солдаты все еще бились на фронтах и шли в атаку на противника, но делали это уже без подъема, по какой-то инерции, как идут некоторое расстояние корабли с застопоренными машинами. И весь народ был возбужден до крайности. Стоило, бывало, с каким-нибудь человеком заговорить о войне, как он начинал раздражаться, словно внезапно наступал у него приступ невыносимо острой зубной боли. Учитывая такое настроение широких масс, мы рассматривали месяц февраль как предгрозие революции. Это чувствовали и офицеры, как чувствует в море каждый моряк приближение бури. Небо еще чистое, и море спокойное, но барометр неуклонно падает. Моряки тревожно оглядываются и замечают: уже возникают кое-где облака, и несутся они низко и торопливо, а вся водная гладь, слов-

но от судорожной дрожи, покрывается рябью. А через сутки обрушивается такой циклон, от которого у робких стынет кровь. Так было и во флоте, в особенности во второй половине февраля. Матросы не бунтовали, молча исполняли распоряжения начальства, а некоторые из них даже старались служить лучше, чем обычно служили. Но в то же время на их лицах, в их глазах было такое выражение, какое бывает у игрока в карты, обеспеченного козырями: он ждет только момента, чтобы объявить об этом своему партнеру и протянуть руку за выигрышем. Более наблюдательные офицеры хотя и смутно, но догадывались, что приближается гроза. На кораблях все реже раздавались окрики, и они никого уже не пугали. Столетние навыки начальства управлять командой стали ненадежными, как обветшалая и вся изорванная узда на горячей лошади. Эта лошадь, которую хозяин не столько кормил овсом, сколько бил палками и хлестал кнутом, стояла еще смирно, но близко около нее уже страшно было находиться: может подмять под себя и сокрушить кости.

В конце февраля через штабных писарей мы узнали, что в Петрограде началось восстание. Это подтвердили и приехавшие к нам товарищи. В столице рушился старый строй. Слухи об этом и у нас взволновали народные массы. Наши организации еле сдерживали рабочих и матросов, горевших нетерпением сбросить скорее со своих плеч вековую тяжесть рабства.

Наконец наступила памятная ночь.

Хозяева города приготовились к отпору революции. По распоряжению высшего начальства, всюду по улицам расхаживали патрули. Для защиты арсенала, телеграфа, телефонной станции и других важных учреждений усилили охрану. На каменных стенах порта были поставлены пулеметы. Но и революционеры не зевали. Первым делом мы захватили телефонную станцию и телеграф. Охрана не оказала никакого сопротивления и сдала нам эти учреждения так легко, как будто произошла смена часовых. А когда матросы и рабочие начали вываливать на улицу, то к ним присоединились все патрульные и часовые.

Здесь не обошлось дело без курьезов. Один из флотских экипажей был мало распропагандирован и считал-

ся у нас отсталым. Первая его рота, когда узнала о начавшемся восстании, все же заволновалась. Но не было вожака повести ее на улицу. Матросы долго спорили между собою, как действовать дальше. Одни говорили:

— Ночь. Разве в темноте что-нибудь сделаешь? Надо подождать до утра.

Другие возражали:

— А потом придем на готовенькое, да? За это народ не скажет нам спасибо.

И тут же ставился вопрос:

— Фу, черт возьми! Нам бы революционного начальника. Он бы нам все указал.

Так они галдели, пока кто-то крикнул:

— Дневальный! Что же ты губы развесил? Командуй!

Дневальный оказался парнем бойким и, как умел, подал команду. Рота двинулась на улицу. За ней последовали и другие роты. В экипаже остались только новобранцы. Но немного позже и они вышли на двор и остановились. Издалека доносились выстрелы, крики. Они заперли ворота. Через забор к ним перемахнул старый матрос, человек вспыльчивый и решительный. Он замахал перед новобранцами наганом и заорал истошным голосом:

— А вы, истуканы, что стоите здесь? Для вас особая команда, что ли, будет?

Старый матрос рассвирепел, бросился к новобранцам, а потом скомандовал:

— Немедленно открыть ворота! Выстроиться повзводно.

Это было произнесено таким уверенно повелительным тоном, который не допускал никаких возражений. Новобранцы зашевелились и молча исполнили все, что приказал им старый матрос.

— За мной, шагом — марш!

Раздался равномерный топот ног.

Старый матрос и на улице не переставал командовать:

— Раз, два, три! Левой! Левой! Не жалей ног! Отбивай хорошенько шаг! За свободу, товарищи, идем бороться!

Из некоторых экипажей выбегали матросы с криками «ура», с залихватским посвистом.

Ночное небо, задернутое облаками, было темно. Но улицы, освещенные редкими фонарями, становились все оживленнее. К матросам присоединялись солдаты, рабочие. Лишь часть людей была вооружена винтовками, а остальные ничего не имели. Я закричал:

— К арсеналу! Товарищи, к арсеналу!

Этот крик, подхваченный другими, несся по улице дальше. И людской поток, взбудораженный и словно кем-то подхлестываемый, катился к назначенному месту. Матросы разыскали заведующего арсеналом. Жиденькая седая бороденка на испуганном лице придавала ему такой вид, словно он находился при последнем издыхании. Он сам, дрожа от страха, отпер замок арсенала. Народ хлынул внутрь каменного здания. Ручные гранаты, револьверы, японские винтовки «арисака», патроны — все это лихорадочно, как драгоценность, расхватывали повстанцы. Те, кто успел вооружиться, выбегали из арсенала наружу, а на их место подваливали другие люди. Среди военных и рабочих несколько человек было в больничных халатах и туфлях. Это были матросы, которые вырвались из морского госпиталя, не дожидаясь выздоровления. Заведующий арсеналом, оттесненный в сторону, умолял:

— Братцы, что же это вы делаете? Как же я буду отдавать отчет? Пусть ваш начальник расписку мне даст, сколько и чего взято из арсенала.

Кто-то кричал в ответ:

— Революция, папаша, началась! Если хочешь, она тебе пропишет эту расписку!

Старичок не унимался и, боясь за свою отчетность, настаивал на своем. Наконец он заплакал. Это было настолько нелепо, что люди только смеялись над ним, но никто его не тронул.

Огнестрельное оружие было все разобрано. А в арсенал продолжали вливаться новые люди. Эти, не найдя для себя ничего более подходящего, набрасывались на холодное оружие. Все пошло в ход: бердыши, булавы, секиры, копья, пики, мечи. Нашлись чудаки, которые даже щиты захватили с собой.

Вся эта людская масса ринулась к дому, где жил

сам грозный адмирал Витнер — начальник порта, он же начальник тыла, он же военный губернатор.

Этот человек, как и Гришка Распутин, всегда интересовал меня. Один, бывший конокрад из села Покровское; приблизившись к царскому дворцу, распушился там, словно на перегное, махровым цветком разврата и этим подрывал в народе веру в династию. Другой своим бессердечным отношением к матросам разжигал в них ненависть не только к себе, но и ко всему самодержавному строю.

Я не раз видел адмирала Витнера. Это был обрусевший немец, презиравший все наше отечественное. Вот каким запечатлелся он в моей памяти: среднего роста, поджарый, темный шатен с вьющимися волосами, с закрученными усами на жестком и хорошо сохранившемся лице. Какие данные у него были, чтобы так выдвинуться по службе? Я много понаслышался о всех его делах, знаю и о его прошлом. В молодости он ничем не отличался, был хорошим танцором и дирижировал в Морском собрании танцами. Может быть, он так и остался бы обыкновенным офицером, если бы не случилось в его жизни одно обстоятельство. Он был зачислен в свиту великого князя, сына Александра III, наследника престола Георгия. По болезни Георгий вынужден был переселиться на Кавказ, но это его не спасло — он умер. При нем все время находился молодой Витнер. Царица Мария Федоровна после смерти своего сына навсегда осталась покровительницей этого офицера. Отсюда началась его карьера. Надо отдать ему должное: в Порт-Артуре, командуя крейсером, он делал лихие налеты на японцев. Иначе выявил себя этот человек на военном совете флагманов и командиров кораблей. Был поставлен вопрос о дальнейшей судьбе русской эскадры: оставаться ли ей до конца в Артуре, заблокированной с суши и с моря японцами, и помогать в обороне крепости, или же в последний раз дать решительный бой неприятельскому флоту и пробиваться во Владивосток. Витнер первый высказался за то, чтобы разоружить корабли, а морякам превратиться в сухопутные войска. Через две недели после этого военного совета эскадра все же вышла в море. Произошло сражение с противником. Японцы основательно были побиты и начали уже отступать. И если

русскому флоту не удалось прорваться во Владивосток, то в этом было виновато бездарное командование.

Короче говоря, под сенью Марии Федоровны и под ее благословляющей десницей Витнер получал чин за чином. Так он поднялся до командира нашего порта и сравнительно молодым дослужился до полного адмирала. В нем осталась прежняя гимнастическая выправка, но во всей его деятельности не было и намека на флотоводца. Постепенно он превратился в сухого бюрократа. Его мало беспокоило, насколько корабли и матросы подготовлены к защите родины. Но он был до помешательства требователен к внешней выправке, к декоративному блеску. Как администратор, он властвовал и над городом. Его внимание простиралось даже на публичные дома. Он издал в виде небольшой брошюры циркуляр с подробными указаниями, какой должен быть в них порядок, в какие сроки и как должны осматривать публичных женщин. Вот до чего дошел адмирал царского флота!

Но больше всего меня удивляло его отношение к матросам. Он никогда не жил с ними дружно. Одно время он служил старшим офицером на учебном парусно-паровом крейсере, на котором подготовлялись строевые квартирмейстеры. Тогда особенно доставалось от него ученикам. Как гимнаст, он сам бегом поднимался по вантам на марс и салинг, если замечал там что-либо неладное, и на страшной высоте, рискуя свалиться, награждал кого-нибудь пощечинами. Это ухарство доставляло ему большое удовольствие. Бывало с ним и так, что, прогуливаясь по мостику, он вдруг видел какой-нибудь непорядок среди матросов. Тогда он не сбегал по трапу, как это обычно делается, а прыгал с мостика прямо на палубу и набрасывался на виновника.

Говорят, что английские доги, по мере того, как они стареют, становятся все злобнее. Так было и с адмиралом Витнером. Занимая пост командира порта, он с каждым годом все беспощаднее относился к матросам. Они для него были ничто — какая-то тварь, лишенная сердца и разума. Казалось, он жил одним только желанием: унижать их и причинять им как можно больше горя. Если кто попадался ему на глаза, то уже не мог обойтись без наказания. Адмирал обязательно к чему-нибудь придирался и сейчас же определял наказание

равнодушно холодным голосом, словно речь шла о том, чтобы выкинуть из ведра мусор за борт.

— Не матрос, а животное. На гауптвахту. На тридцать суток.

Вот почему, когда его белая лошадь, запряженная в пролетку, появлялась на улице, матросы рассыпались в разные стороны. Витнер кричал кучеру:— Стой! — и, не дожидаясь, пока кучер задержит бег коня, адмирал легко спрыгивал с пролетки и мчался за тем или другим матросом. Случалось, что он и через забор перемахивал с таким же проворством, как молодой человек. Задержанному им матросу грозила уже не гауптвахта, а тюрьма.

Словом, если бы кто со стороны посмотрел на эту картину, то мог бы подумать, что в город ворвалась какая-то вражеская сила.

Не меньший трепет испытывали матросы, когда им по делам службы приходилось проходить мимо дома, где проживал начальник порта. Окна этого темно-коричневого здания были снабжены особой зеркальной системой наподобие перископа. Она давала возможность свирепому хозяину, находясь у себя в кабинете, видеть все, что делается на улице. В парадном подъезде часто виднелась плотная фигура старого отставного фельдфебеля в военной форме, с двумя рядами медалей на груди. Против дома, среди улицы, посменно дежурили трое здоровенных городовых. Редкий день проходил без того, чтобы кто-нибудь из нижних чинов не был здесь задержан. Обыкновенно это делалось так: адмирал, заметив в зеркале отражение проходящего по улице матроса, нажимал кнопку. В парадном подъезде раздавался звонок условленного сигнала. Старый фельдфебель или городовой знали, что в таких случаях надо делать, и очередная жертва являлась перед глазами грозного адмирала.

Только одному матросу удалось избежать наказания. Может быть, это был только анекдот, выдуманный досужей фантазией. Но всем хотелось признать его за действительный случай, и всегда об этом рассказывали друг другу с какой-то радостью, как о подвиге.

Дело было летом. Задержанный матрос очутился в кабинете адмирала. Тот осмотрел его со всех сторон —

ни к чему нельзя было придраться. Тогда адмирал приказал:

— Покажи подошвы сапог.

Матрос высоко поднял одну ногу.

— Не так. Ложись на спину и задери обе ноги вверх.

Матрос выполнил это приказание.

Адмирал процедил:

— Ага, худые подошвы. Не заботишься, каналья, чтобы вовремя починить их. Пойди к городовому и передай ему мое приказание: пусть он отведет тебя на гауптвахту на двадцать суток.

— Есть, ваше высокопревосходительство.

Матрос вскочил, вышел на улицу и, подойдя к городовому, передал ему:

— Ты, господин хороший, неправильно задержал меня. И за это его высокопревосходительство приказал мне отвести тебя на гауптвахту. Посидишь двадцать суток, клопов покормишь.

Это было сказано с такой смелостью и так внушительно, что городовой побледнел. Со страхом он взглянул на страшный дом. А в этот момент адмирал выглянул в распахнутое окно и, махнув рукой, словно подтверждая слова матроса, крикнул:

— На двадцать суток!

Матрос отвел городового на гауптвахту и сдал его под расписку. Прошло несколько суток, прежде чем адмирал заметил, что на посту у его дома стоит новое лицо. Тут только выяснилось, что произошло. Адмирал рассвирепел и сам объехал все экипажи, разыскивая дерзкого матроса, но все его старания оказались бесполезными.

Это случилось несколько лет назад. С той поры адмирал стал относиться к нижним чинам еще более жестоко. Так ли это было или иначе, но верно то, что он не ограничивался только дисциплинарными взысканиями. За малейшие проступки люди шли под суд. Особенно из-за него страдали те, кто был замешан в политике. Сотни матросов томились по тюрьмам, изнывали на каторге, немало было их расстреляно и повешено.

Проходили годы. В людях нарастала затаенная страсть мести. До сих пор они были так покорны перед своим всесильным повелителем, а теперь они же клоко-

чущей массой скопились около его дома. Ни старого фельдфебеля с орденами, ни городового здесь уже не было. У парадного подъезда одиноко горел электрический фонарь. Казалось, что это мрачное здание, молчаливое и без огней, давно покинуто жильцами. А снаружи толпа все разрасталась, ширилась. Слышались возбужденные выкрики:

— Ломай двери!

— Выбивай окна!

Но вдруг парадная дверь распахнулась, и адмирал в зимнем пальто нараспашку, в флотской фуражке сам вышел к народу. Это было для всех настолько неожиданно, что сразу оборвались крики. Люди с удивлением смотрели на адмирала, словно не верили в его появление— не другой ли это кто? Но в свете электрического фонаря четко виднелась знакомая фигура среднего роста, с тремя черными орлами на золотом фоне каждого погона, в нахлобученной фуражке. Лицо его, бритое, с закрученными по-немецки вверх усами, сохраняло прежнее величие, точно он принимал парад. Этот человек был недалекий, но самоуверенный и заносчивый. Очевидно, он все еще думал, что стоит ему только появиться перед людьми, как они моментально оцепенеют от страха. Так, по крайней мере, бывало раньше. Он окинул их взглядом и, придавая своему голосу как можно больше твердости, грозно крикнул:

— Это что за толпа здесь собралась? Что за безобразие такое? Расходись!

Люди молчали и как будто колебались, не зная, что делать. На момент мне показалось, что сейчас все повернутся и, охваченные ужасом, помчатся отсюда. Но никто не двинулся с места. И вдруг, нарушая тишину, раздался чей-то грубо-насмешливый бас:

— Он еще думает командовать нами!

Среди людей началось движение. Задние ряды напирали на передние. Адмирал только теперь понял, что произошло. Те, кто находился к нему ближе, слышали, как он завопил:

— Братцы, дайте мне с женой проститься!

Матросы в ярости бросали ему:

— Твои братья в серых шкурах по лесу бегают!

— Ты, лиходей, не давал никому проститься да-

же с матерью, когда нашего брата отправлял на виселицу!

Адмирал пытался что-то еще сказать, но, по старому обычаю, его потащили на площадь. И уже никакая сила не могла остановить гнев народа.

V

Главное у нас все было сделано: захвачены корабли, форты, флотские экипажи и разные казенные учреждения. Везде были организованы революционные комитеты, и всюду развевались красные флаги. Можно было сказать, что во флоте царский строй сломался, как старое весло под напором сильного гребца. Некоторые из начальства еще пытались при помощи этих обломков весла выплыть невредимыми из разбушевавшегося моря революции. Но это было так же безнадежно, как безнадежно остановить наступающую весну. Никакие самые сильные заморозки уже не могут долго задержаться под горячими лучами солнца.

Народ, почувствовав свободу, митинговал день и ночь. Революция пробудила у людей новые мысли. Каждому из противников самодержавия хотелось высказаться, говорить о свободе и что-то делать.

В Петрограде организовалась новая власть из буржуев и их социалистических подпевал. Как и полагается такой власти, она стремилась умерить пыл поднявшегося народа и ограничить размах революции.

В первое утро революции город проснулся раньше обычного. С моря дул сырой ветер. Еще солнце не взошло, а уже никому не хотелось сидеть дома. Матросы, солдаты, портовые и заводские рабочие, их жены и дети шумно заполняли собою улицы и площади. Только прежние заправилы отсиживались в своих квартирах, как в траншеях. Для этих людей наступающий день был полон тревоги. Зато народ ликовал.

В испуге заметались его враги. На одной из улиц возбужденная толпа окружила дом, объятый пламенем и дымом. Это горела охранка. Главные защитники монархии думали огнем очиститься от преступлений против народа. Поджигая архив, они заметали свои кровавые сле-

ды. Но впоследствии большинство тайных агентов было переловлено. И кто же, ты думаешь, нам помогал в этом? Незаметная Катя — горничная полицмейстера. Она узнавала жандармов и городовых, переодетых в штатское. Они не страдали на фронтах, а отъедались в тылу и учиняли расправу с мирными жителями, неугодными власти. Много против них накипело в сердце народа.

Мне хочется рассказать тебе главным образом о начальствующем составе. В отношении офицеров не со всеми одинаково поступали. Те, что по-человечески относились к команде, только случайно подвергались оскорблениям. А вообще матросы оберегали их.

А мы все это рассматривали как нечто неизбежное: «Лес рубят — щепки летят». Вешние воды не только ломают лед, но и размывают берега, выворачивают с корнями деревья и сносят иногда целые селения. Для нас главное было, чтобы не сбиваться с пути.

VI

Куликов рассказывал мне о прошлом, а в это время на корабле жизнь шла своим чередом. Она не могла обойтись без участия командира. К нему приходили люди то с каким-нибудь докладом, то с неотложным вопросом.

Явился в каюту неповоротливый толстяк, старший судовой механик Остроумов. Он был в рабочем синем костюме и, по-видимому, только что поднялся из машинного отделения. По его выбритому лицу струились капли пота. Он вытянулся и неторопливо заговорил баритоном:

— Разрешите, товарищ капитан первого ранга, разобрать воздушный насос. В последнем походе он немного пошаливал.

— Сколько на это уйдет времени? — спросил командир.

— Часов десять — двенадцать.

— Такого разрешения я дать не могу. Это выводит нас из назначенной готовности. А вы находите это совершенно необходимым?

— Да.



«КАПИТАН 1-го РАНГА».



«КАПИТАН 1-го РАНГА».

— Я вынужден запросить разрешения командующего.

Куликов вырвал из блокнота листок, что-то написал на нем и вызвал вахтенного. Моментально явился в каюту младший командир.

— Срочно передать семафором командующему содержание этой записки,— сказал Куликов.

— Есть,— ответил младший командир и точно повторил всю фразу, произнесенную главой судна.

Когда мы с Куликовым остались вдвоем, он снова вернулся к прошлому.

— В первые дни революции я был очень занят. Нужно было укреплять большевистские организации, проводить своих людей в советы, вести борьбу с другими партиями. Иногда со стороны некоторых темных людей проявлялись хулиганские выходки. Более сознательные матросы и солдаты решительно пресекали их с самого начала. В эти дни некоторые, пользуясь сумятицей, начали заниматься грабежами. Но они ошиблись: мы расправлялись с ними беспощадно.

Словом, работы хватало. В то же время я очень хотел встретиться с вице-адмиралом Железновым. У меня было к нему особое дело. Я запросил о нем телеграммой революционный комитет того отряда судов, каким он командовал. Товарищи ответили мне, что за несколько часов до восстания адмирал покинул свой флагманский корабль и неизвестно где находится. Семья его жила в нашем приморском городе. Я давно интересовался ею, имея на это основательные причины. Захватив с собою трех матросов, я отправился к адмиралу на квартиру. В числе матросов был и старший боцман Кудинов.

Только вчера мне удалось узнать, как этот человек очутился в первых рядах революции. Я плавал с ним на броненосце «Святослав». Он был настоящий моряк. Казалось, что без моря и корабля ему так же трудно жить, как водоросли без воды. На броненосце «Святослав» он прослужил старшим боцманом много лет. С командой у него установились своеобразные отношения: с виновниками он расправлялся самолично, но никогда не подводил их под ответ перед начальством.

Однажды при новом командире за какой-то пустяк хотели отдать под суд матроса. Боцман заступился за него. Командир рассвирепел и сместил его в младшие боцманы. С этого момента он почувствовал, как растет в нем ненависть к начальству. А во время империалистической войны он был обижен еще больше: его снизили до боцманмата и списали с броненосца на тральщик «Окунь». Кудинов и проплавал на нем около двух лет. Все шло благополучно. А потом врезался в его жизнь такой день, который никогда им не забудется.

«Окунь» вместе с другими тральщиками вылавливал в море мины заграждения, расставленные немцами. Сентябрьский ветер развел порядочную волну. Было холодно. Кудинов распоряжался работами на верхней палубе. Одет он был в капковую куртку, заменявшую в случае несчастья спасательный круг, а ноги его были босы и покраснели, как сурик. Он решил обуться. По его приказанию матрос принес ему сапоги. Он перешел на бак, уселся на свернутый брезент и начал спешно обуваться. Ему удалось надеть один сапог, а когда он потянулся за вторым, раздался страшный взрыв. Вся носовая часть «Окуня», напоровшегося на подводную мину, была оторвана. В несколько секунд тральщик исчез с поверхности моря. Вместе с тральщиком пошли ко дну вся машинная команда и те строевые матросы, которые находились внутри судна. Часть команды была убита. Только с верхней кормовой палубы несколько человек успели спрыгнуть за борт. Командира и штурмана сбросило газами с мостика. Сейчас же с других тральщиков были спущены шлюпки. Они подошли к месту катастрофы и начали вылавливать в море людей. Спасенных оказалось немного, и среди них не было Кудинова. Вдруг далеко в стороне услышали отчаянный крик. Одна из шлюпок направилась на этот крик. Вскоре гребцы увидели Кудинова. Его выкатившиеся из орбит глаза на искаженном лице как будто не замечали приближавшихся к нему спасителей. Барахтаясь в волнах, он крутился на одном месте и ревел, как сирена. А когда его подняли на шлюпку, он вдруг замолчал и, взглянув на свои ноги, неожиданно спросил:

— А где мой второй сапог?

Выходило так, как будто эта мысль во время взрыва застряла у него в мозгу. С нею Кудинов высоко полетел наискосок в небо. Потом он на какую-то долю секунды остановился и упал в море. Капковая куртка не дала ему опуститься до дна. Он штопором стал всплывать на поверхность моря. И только после того, как его подняли, он смог выразить свою мысль вслух.

После гибели «Окуня» Кудинов был награжден георгиевским крестом и произведен в боцманы. Вскоре он получил назначение на крейсер первого ранга. А затянувшаяся война расширила и углубила его взгляды на жизнь. Соприкоснувшись с революционными матросами и познакомившись с нелегальной литературой, он превратился в революционера.

Я приблизил его к себе, потому что никого он так не слушался, как меня. Человек он был надежный — не выдаст ни при каких обстоятельствах.

И теперь он шагал с нами к адмиралу. Мои товарищи были в военной форме и вооружены винтовками, а я имел в кармане браунинг и, как рабочий, был одет в штатский костюм. На квартире мы застали лишь жену адмирала, высокую и плоскую, как доска, женщину с рыжими локонами, с белесыми глазами. При виде нас она испуганно отшатнулась. Мы пошли в зал. Старый боцман, заметив на стене портрет царя Николая Второго, уставился на хозяйку и засопел, раздувая щеки. Лицо его с перебитой переносицей приняло еще более свирепое выражение, чем обычно. Вдруг он закричал:

— А, здесь в почете наш главный враг! — и направил штык на портрет.

Мадам Железнова ахнула и упала в обморок. Кудинов, недолго думая, вылил на нее целую кастрюлю холодной воды. Она очнулась. Платье на ней было мокро, рыжие волосы на голове слиплись, и вся она имела жалкий вид. От нее, дрожащей и посиневшей, мы ничего не добились путного.

Мы обошли все комнаты. Адмирала не было. В кабинете на письменном столе мне попалась фотографическая карточка с изображением Железнова, когда он был еще безусым гардемарином. Неожиданная мысль мелькнула в моей голове. Я сунул фотографию в карман.

В квартиру вошел швейцар, пожилой человек, в ливрее с золотыми позументами. Кудинов заорал:

— Говори, где адмирал?

Тот, выкатив в испуге глаза, клялся всеми святыми, что ничего о нем знать не знает.

Так мы и ушли ни с чем. Но по дороге нас догнал сынишка швейцара лет восьми, веснушчатый и курносый мальчик. Он таинственно заговорил с нами:

— Дяденьки матросы, а я знаю, где адмирал.

Нам известно было, что для детей революция превратилась в небывалую радость. Они носились по городу с одного конца на другой, указывали матросам, где скрываются жандармы, городовые. Вообще в таких случаях дети являлись первыми помощниками взрослых.

Мы сразу остановились перед сыном швейцара.

— А ты откуда знаешь?

— Тятенька маменьке говорил, а я лежал в кровати и все слышал. Адмирал спрятался у инженера Иванова.

От мальчика мы узнали, на каком корабле служит Иванов. Это был старший судовой механик, известный нам как передовой человек. Машинисты и кочегары даже выдвигали его кандидатуру в члены корабельного революционного комитета.

Мальчик указал нам адрес инженера и попросил нас:

— Только ничего не говорите обо мне тятеньке. А то достанется мне на орехи. Ох, и сердитый он!

Кудинов дал ему пустой патрон от винтовки. Мальчик запрыгал от восторга и помчался от нас во всю прыть.

Было около полудня, когда мы вошли в квартиру инженера-механика Иванова. Хозяин встретил нас в прихожей и очень растерялся, увидев перед собою вооруженных матросов. Я спросил:

— У вас в квартире никто из посторонних не скрывается?

— Нет,— неуверенно ответил Иванов.

— Соврете — плохо будет всем,— предупредил боцман Кудинов, глядя на него в упор из-под козырька флотской фуражки.

Инженер вздрогнул, провел ладонью по глазам, точно смахивал с них паутину, и залепетал:

— Зачем же, товарищи, я буду врать вам? В гостях у меня сидит один человек. Это мой приятель.

— Кто? — спросил я.

— Виктор Григорьевич Железнов.

Инженер не прибавил к названной фамилии чина.

Меня охватило такое волнение, точно я сделал важное открытие. Мы двинулись вперед. Адмирал Железнов сидел за столом среди членов чужой семьи, одетый в штатский костюм. Он нисколько не смутился, как будто ждал нашего прихода. Я сказал:

— Здравия желаю, ваше превосходительство!

— Здравствуйте,— без всякого заискивания и даже с некоторой строгостью ответил адмирал. Это мне понравилось, как понравилось и то, что на его лице с острой посеребренной бородкой я не заметил никакой перемены. Я заговорил:

— Ради чего вы вздумали нарядиться в гражданский костюм?

— Я полагаю, что от этого революция нисколько не пострадает.

— Совершенно верно, ваше превосходительство. Плохо только то, что это связано с другим делом: вы самовольно покинули свой отряд.

Адмирал и на этот раз нашелся:

— Там мне больше нечего делать. Я откомандовал. Теперь вы покомандуйте.

— Жаль, что вы так смотрите. Лучшие офицеры все-таки остались на своих местах. Вы, как хороший морской специалист, могли бы принести для нашей обновленной родины большую пользу.

Адмирал промолчал.

— Ну, что же? Придется вам, ваше превосходительство, прогуляться с нами.

— Да, по-видимому, придется.

Адмирал решительно встал, поблагодарил хозяйку, распрощался со всеми и вышел в прихожую. Меня удивило, с какой быстротой на нем очутилось штатское зимнее пальто и каракулевая шапка. Получалось так, как будто он торопился по срочным делам службы. Вни-

зу, в подъезде, я отозвал боцмана Кудинова в сторону и наказал ему, какие поручения он должен выполнить вместе с товарищами. Он нахмурился и, показывая глазами на адмирала, недовольно пробурчал:

— А как же с ним-то?

— Я беру его на свою ответственность.

Боцман с товарищами пошли в одну сторону, а мы с адмиралом —в другую. Я жил в рабочем квартале. Квартира у меня была полуподвальная и состояла из двух небольших комнат и кухни. Но все в ней, благодаря моей жене, было аккуратно размещено и чисто убрано. Я извинился перед Железновым:

— Вы уж простите, ваше превосходительство, что приходится вас принимать в такой непривычной для вас квартире. Вы, вероятно, первый раз в жизни попадаете в рабочую семью. Но я думаю, что в данное время здесь вы будете чувствовать себя лучше, чем в роскошных хоромах. По крайней мере вас никто не будет беспокоить.

— Благодарю вас за заботу обо мне, но я не знаю, чем это все вызвано,— отчеканил адмирал.

Я представил ему свою жену:

— Это моя подруга жизни Валя, а это наш адмирал Виктор Григорьевич Железнов.

Моя жена не знала моего замысла и с удивлением взглянула на меня, а потом на гостя. Она никак не могла понять, зачем я в такое кипучее время привел к себе адмирала. Но она верила в мою честность и приветливо улыбнулась ему. А тот скорее по привычке, чем по долгу вежливости, расшаркался перед нею, как перед барыней, и, подавая руку, проговорил обычную фразу:

— Очень приятно.

Я убедился, что адмирал не узнал своей дочери. Он видел ее всего лишь один раз после того, как она родилась от его горничной. Скорее всего он даже забыл о ее существовании. А Валя, как «незаконнорожденная», вообще не знала, кто у нее отец.

По моему поручению жена побежала в магазин купить закуски. Мы сели у стола. Со мною осталась моя четырехлетняя дочка Надя, сероглазая и на редкость ласковая девочка.

Железнов внешне держался спокойно, но во взгляде его черных глаз просвечивала тревога, как у человека, ожидающего решения своей судьбы. По-видимому, он терялся в догадках, а я старался держаться с ним вежливо и намеренно величал его «ваше превосходительство». Кое-как разговорились. Только теперь адмирал справился о моем имени и отчестве и стал называть меня Захар Петрович. Я напомнил ему, как мы когда-то плавали вместе на эскадре и как он был у нас на корабле «Святослав», чтобы разобрать дело графа «Пять холодных сосисок». Адмирал повеселел, узнав, что я бывший моряк. Но сейчас же настроение его изменилось, когда я рассказал ему об одном случае: в этот же его приезд к нам на судно командирский вестовой невзначай хлопнул его дверьми по лбу и за это был наказан.

— Это я тогда причинил вам такую неприятность.

— Вот неожиданная встреча! — воскликнул он, пытаясь улыбнуться, но его извилистые и тонкие губы неестественно скривились. Может быть, в этот момент он понял меня так, что я привожу причины для расправы с ним.

Пришлось его успокоить:

— Я тогда думал, что вы засадите меня в тюрьму. Другой адмирал на вашем месте так бы и поступил. Но вы дали мне пустяковое наказание — пять суток карцера. Я вам за это до сих пор благодарен.

Адмирал улыбнулся.

— Да, ваше превосходительство, было время, когда моя судьба всецело находилась в ваших руках. Вы могли меня, как и каждого из матросов, посадить в тюрьму, сослать на каторгу. Больше того,— вы могли отдать меня под суд и расстрелять. Вы пользовались почти неограниченными правами. Но все же для того, чтобы стереть меня с лица земли, вам пришлось бы подвести какую-нибудь формальность и начать судебный процесс. А теперь коренным образом все изменилось.

Я спохватился, что напрасно сказал это, но уже было поздно. Адмирал оказался человеком самолюбивым, с достоинством. Его черные брови упрямо надвинулись на глаза. Он встал и заявил:

— Я вижу, что вы меня завели к себе на квартиру, чтобы сначала потешиться надо мною, а потом

уничтожить меня. Если вам хочется иметь лишнюю жертву, то пожалуйста — моя жизнь в вашем распоряжении.

Я возразил ему:

— Вовсе я этого не хочу. Наоборот, на квартире у меня вы ограждены от всяких случайностей. И не для того мы делаем революцию, чтобы расстреливать всех офицеров направо и налево. Словом, садитесь или, выражаясь по-морскому, отдайте якорь и чувствуйте себя, как в надежной гавани.

Адмирал грузно опустился на стул. Заметно было, что ему стало неловко за свою горячность. Мы разговорились о покойном капитане первого ранга Лезвине, у которого я служил вестовым. Адмирал высказался о нем как о выдающемся командире, но считает его диким и мрачным человеком.

Я наблюдал за адмиралом. Казалось, он с трудом произносил слова, обращаясь ко мне и называя меня по имени и отчеству. В то же время он как будто и не верил, что в прошлом я был только вестовым. А когда мы коснулись нашего флота, я еще больше стал для него загадкой. Я стал критиковать русскую морскую тактику и для подтверждения своих мыслей привел мнения знаменитых флотоводцев — Ушакова, Сенявина, Нельсона, Сюффрена. Время от времени я вставлял английские фразы. Наконец адмирал не выдержал и спросил:

— Где вы учились?

— Вот за этим столом, за каким вы сидите. Школа для нас была недоступна. А во время флотской службы я учился за двойным бортом. Ведь вы не разрешили бы нам приобретать знания открыто? Это считалось бы государственным преступлением. Только капитан первого ранга Лезвин знал, что я занимаюсь самообразованием, и даже снабжал меня учебниками. Но таких офицеров во флоте было мало.

Адмирал сконфузился и опустил глаза.

— А где вы усвоили английский язык?

— После военной службы я много плавал на английских коммерческих судах.

Вернулась моя жена, принесла закуски. Я сказал ей, чтобы она накрыла на стол и приготовила нам чай. Когда она вышла на кухню, я обратился к адмиралу:

— Ну, как вам нравится моя вторая половина?

В это время мимо окна проходила демонстрация. До нас доносились песни, выкрики. Где-то раздались выстрелы. В такой момент мой вопрос, вероятно, показался адмиралу диким, но все же он ответил:

— Очень симпатичная у вас жена.

Я как будто не слышал демонстрации и продолжал разговаривать на мирную семейную тему:

— Да, я очень доволен ею. Много горя она перенесла со мною. Я сошелся с нею, когда служил вестовым у капитана первого ранга Лезвина. Вскоре я ушел в длительное плавание, скитался в заграничных водах. Это плавание, как вам известно, закончилось под вашим командованием. Вы тогда прибыли к нам на место уволенного адмирала Вислоухова. Валя без меня родила мне сына. До этого она служила в одной конторе машинисткой. На время она вынуждена была оставить работу. Вот тут-то и свалились на нее мучения. Помочь ей материально, будучи сам только вестовым, я много не мог. Да спасибо моей теще. Добрая старушка все делала, чтобы поддержать свою дочь. Но ничего. Кое-как мы выкрутились из тяжелого положения. Наша любовь не угасла до сих пор. Судьба связала нас морским узлом, и, кроме смерти, никто его не развяжет. Сыну пошел четырнадцатый год. Мечтает стать моряком. А тут еще дочка подрастает.

Пока мы с адмиралом разговаривали, Надя крутилась около нас. Она болтала сама с собою, иногда задавала мне разные вопросы. Ее интересовало, почему это на улице люди так кричат и в кого они стреляют. Трудно было отделаться от ее любознательности. Потом она неожиданно объявила мне, обсасывая мармеладную конфетку, полученную от матери:

— Папа, я люблю этого дедушку. У него глазки хорошие, как у мамы.

И полезла к нему на колени. Это так обрадовало адмирала, что он обнял ее и прижал к себе. Она потрогала его бороду, поцеловала в лоб. Он спросил:

— Ты любишь конфеты?

— Люблю,— радостно ответила Надя.

— А они тебя любят?

Девочка была озадачена таким вопросом. Она задумалась, отвернувшись от адмирала. И сразу же лицо

ее расплылось в торжествующей улыбке. Нашлось решение:

— У них рота нет.

Я расхохотался. Засмеялся и адмирал.

— Правильно, Наденька, ответила ты,— сказал он и ласково погладил ей головку.— Я тебе за это принесу самых вкусных конфет.

В комнату вбежал мой сын Петя. Щеки его разрумянились, глаза блестели. Надя, увидев брата, спрыгнула с колен адмирала, захлопала в ладоши и радостно залепетала:

— Петя, а у нас хороший дедушка сидит. Он обещал мне самых вкусных конфет.

Но Петя не слушал ее. Он только мельком взглянул на гостя и, возбужденный, начал торопливо рассказывать мне звенящим альтом:

— Папа, что на улице делается! Городовых уводят под конвоем в тюрьму. И какие митинги происходят! И матросы, и солдаты, и рабочие все говорят и говорят.

Адмирал, широко раскрыв глаза, смотрел на моего сына, как на страшного вестника, а тот продолжал:

— Папа, ведь это так же, как во Франции было. Тогда самому королю голову отрубили. Нашему царю, наверно, тоже достанется.

— Конечно, достанется.

— А в порту, говорят, что делается! Я побегу туда.

Тут вступилась мать и в тревоге закричала на сына:

— Не смей ходить! Хочешь, чтобы и тебя убили? Сиди дома.

— Мама, детей совсем никто не трогает. Ей-богу. Только Гришка, внук клепальщика Быстрова, наподдавал кулаком одному мальчику и назвал его буржуем. Но матросы запретили Гришке драться.

Я сказал жене:

— Не удерживай его, Валя. Пусть идет и запоминает все, что увидит и услышит. Революции не часто бывают.

Сын обрадовался и выбежал из комнаты.

Я посмотрел на адмирала. Он помрачнел и закусил нижнюю губу.

И только теперь вырвалось у него слово, скрывавшееся в душе:

— Ужас!

Я поддакнул ему:

— Да, ваше превосходительство, как говорит Беранже, революция — это вам не графиня в перчатках.

И сейчас же я умышленно заговорил о своем сыне:

— Славный у меня мальчик. Правда, очень отчаянный, но зато учится замечательно. Все время по всем предметам идет в школе первым учеником. Кругом — на пятерки.

Чтобы адмирал не подумал, что это только отзыв восторженного отца о своем сыне, я показал ему школьные отметки. Он рассеянно взглянул на них и сказал:

— Прекрасно, прекрасно...

— Кроме того, Петя много читает. Книги он поглощает в невероятном количестве. Вы только взгляните на его книжную полку. Тут найдете и по естественным наукам, и по истории, и классическую литературу. Он любит, чтобы хорошие книги были у него на полке. Я разорился с ним на этом деле.

Адмирал приободрился. По-видимому, его тревожные думы на время оторвались от революции. Он стал внимательнее относиться к моим словам.

— Ваш сын производит приятное впечатление. Живой и развитой мальчик. Для родителей это большая радость.

— У него, ваше превосходительство, дедушка по матери выдающийся человек. Как видно, внук в него пошел. Да он и похож на него. Дедушка должен гордиться таким внуком.

— Кто же у него дедушка?

— Важный пост занимает и получает большое жалованье. Но внучатами своими он совсем не интересуется. Хоть пришел бы и посмотрел на своих отпрысков.

Адмирал решил посочувствовать мне:

— Судя по вашим словам, этот дедушка имеет черствое сердце.

Я возразил:

— Может быть, сам по себе не такой уж он плохой человек, но получается нехорошо. А почему? Вся жизнь у нас так перекручена, что некоторые потеряли всякое понятие о настоящей чести. Вот что скверно.

Валя хлопотала около стола: подала хлеб, ревельские кильки, колбасу, сыр, вареные яйца и поставила бутылку рома.

— Я думаю, что вы сначала закусите, а потом уже будете пить чай,— сказала она и пошла на кухню.

Я направился за нею и наказал ей, чтобы она вместе с девочкой пошла на время к знакомым. Она так и поступила.

Вернувшись к столу, я откупорил бутылку и стал разливать по рюмкам ром.

— Давно приобрел эту благодать с одного иностранного коммерческого судна и все берег для какого-нибудь торжественного дня. Этот день наступил. Для вас, ваше превосходительство, может быть, он и неприемлем. Но я встречаю революцию, как самый величайший праздник.

— Нет, зачем же. Я тоже не против революции, ибо самодержавие привело нашу родину в тупик. Но я никак не предполагал, что изменение государственного строя выльется в такие формы.

Адмирал осушил большую рюмку и похвалил качество рома.

— Не стесняйтесь, ваше превосходительство, закусывайте. Чем богаты, тем и рады.

— Спасибо. Я начинаю понимать, что попал в надежные руки.

— Насчет надежности рук вы не ошиблись.

Мы выпивали и закусывали, как два давних приятеля. Говорили о чем угодно, но только не о революции.

После ухода жены двери в коридор оставались незапертыми. Вдруг показался в них боцман Кудинов. Обращаясь ко мне, он сказал:

— Разрешите, товарищ начальник, войти.

— Войдите.

Кудинов шагнул вперед, вытянулся по-военному и отрапортовал мне:

— Ваше распоряжение, товарищ начальник, мы выполнили в точности.

— Хорошо. Иди в ревком и передай товарищам, что я скоро буду там.

— Есть! — сухо отрезал Кудинов и, покосившись на адмирала, вышел из комнаты.

Адмирал с иронией заметил:

— У вас тоже дисциплина.

— Без этого нельзя выполнить ни одного дела.

Впервые в присутствии адмирала нижний чин посмел обратиться за разрешением не к нему, а ко мне, бывшему вестовому. Сдержанный адмирал больше ничего не сказал. Но я представлял себе, какой горечью это отозвалось в его душе.

Наконец я решил приступить к тому, что больше всего волновало меня:

— Ваше превосходительство, я хочу поговорить с вами об одном деле. Только давайте условимся: будем при этом откровенны, как и подобает мужественным и честным людям.

— Откровенность — это самая благородная черта в людях. Пожалуйста, я вас слушаю,— сказал адмирал и, ожидая что-то необыкновенное, весь напрягся.

— У вас жила горничной одна особа — Настасья Алексеевна Кашинцева. Помните?

— У меня их много жило. Разве всех упомнишь.

Я вытащил из кармана бережно сложенную бумажку и развернул ее.

— Это было давно, ваше превосходительство. Вы тогда были молоды и находились в чине капитана второго ранга. В этой вот бумажке вы дали Настасье Алексеевне чрезвычайно лестную рекомендацию. По вашим словам, ваша горничная отличалась исключительной честностью и трудолюбием. Взгляните — это вы писали?

Железнов внимательно посмотрел на строки, написанные его рукой. Чернила на бумаге успели полинять. Он что-то вспомнил, вдруг заволновался и тихо промолвил:

— Да, это моя рука. А дальше что?

— Ничего особенного. Кашинцева — моя родственница. Это была действительно самая добросовестная женщина, каких редко можно встретить.

— Была, а теперь?

Адмирал пытливо посмотрел мне в лицо. Я выдержал его взгляд и не сразу ответил:

— В прошлом году с нею случилось несчастье: в Петербурге на нее налетел автомобиль. На вто-

рой день она умерла. Я похоронил ее на столичном кладбище.

— Печально,— едва слышно промолвил адмирал и уныло облокотился на стол.

— Через Настасью Алексеевну я знаю всю вашу жизнь. Ваша жена родом из аристократической среды. Хотя родители ее давно прогорели, но это не мешало ей держаться гордо и всеми повелевать. Она родила вам сына и дочь. Ваши дети получили прекрасное воспитание. Мне известно, что вы человек небогатый, живете только на одно жалованье, но для них вы не скупились: нанимали гувернеров и гувернанток. Ваша дочь вышла замуж за профессора. А сын, капитан второго ранга, служил до переворота старшим офицером на крейсере. Не так ли?

— Верно,— согласился адмирал нехотя, как будто речь шла о чем-то ему неприятном.— Но я не понимаю, к чему ведете вы этот разговор?

— Сейчас поймете. Ваш сын при перевороте на судне убил из револьвера матроса и ранил двоих. Конечно, его тоже не пощадили. Известно ли это вам?

Адмирал поморщился, отвернулся в сторону и сквозь зубы процедил:

— Нет, об этом я впервые слышу.

Нетрудно было заметить, что мое сообщение не произвело на него особого впечатления. Даже обладая сильным характером, он, как отец, узнавший о потере сына, должен был воспринять эту страшную новость както иначе. Значит, то, что говорила о его детях моя покойная теща, было верно — они только официально считались его детьми. И сам он в этом, по-видимому, не сомневался.

Я продолжал:

— Простите, ваше превосходительство, что я огорчил вас мрачной новостью. Но она здесь между прочим. Главное заключается в другом.

— После того, как я узнал о трагической гибели своего сына, есть еще что-то главное?

— Да, да, ваше превосходительство. И это главное может превратиться в вашу радость. Все зависит от того, как вы воспринимаете жизнь. Мы с вами условились быть откровенными. Забудьте на время, что вы адмирал,

а я — бывший вестовой. Оба мы взрослые люди и поэтому не будем дрейфить перед правдой, хотя бы она была самой жестокой и острой.

Адмирал повернулся ко мне, тревожно поднял брови, словно в ожидании удара.

— А теперь разрешите сказать вам одной русской пословицей: ваши дети вышли ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца. Они не вашей крови. Настоящие их отцы где-то гуляют и, как говорится, в ус себе не дуют. Всю заботу о воспитании своих детей они предоставили вам, а сами иногда, вероятно, посмеивались и посмеиваются над вашей простотой. Об этом вы знаете лучше меня. Но признать открыто этот факт вам будет очень тяжело.

По самолюбию мужчины был нанесен удар с такой силой, что тонкие губы адмирала задергались, на лбу вздулись вены. Задыхаясь, он сидел на стуле неподвижно, словно пригвожденный к нему, и сверлил меня черными глазами. Вероятно, я показался ему самым наглым человеком, позволяющим вторгаться в его частную жизнь... Если бы в этот момент вернули ему прежнюю власть, то он без всякой жалости раздавил бы меня, как мокрицу. Казалось, прошло несколько минут, прежде чем я услышал в тишине комнаты хриплый голос:

— Вы можете поступить со мною, как вам угодно, но я прошу вас не касаться интимной стороны моей жизни. Зачем вам нужно оскорблять честь моего дома? Разве это имеет какое-либо отношение лично к вам или к революции?

Сердце у меня закипело, и я сказал резко:

— Да, ваше превосходительство, косвенно имеет. Я вам докажу это. Но предварительно разрешите показать вам маленький фокус.

Не дожидаясь его согласия, я вышел в другую комнату. Там на стене висела небольшая фотография моей жены. Я взял эту фотографию и достал из кармана фотографию Железнова. Минутным делом было для меня приготовить ножницами два куска белой бумаги, размером той и другой карточки. На каждом листочке бумаги я вырезал отверстие только для лица. Вернувшись к столу, я положил на него фотографию безусого гардемарина Железнова, прикрытую бумагой, и спросил:

— Узнаете, ваше превосходительство?

Адмирал все еще не пришел в себя, однако взглянул на свое изображение и, не задумавшись, ответил:

— Это я.

То же самое я проделал и с другой фотографией.

— А это кто?

— Это тоже я.

— Вот когда вы ошиблись, ваше превосходительство. Это не вы, а продолжение вашего я.

С последними словами я снял бумажки с обеих фотографий. Адмирал очумело смотрел то на свое изображение, то на изображение моей жены. Его удивлению не было границ, словно он увидел чудо.

— Признайтесь, ваше превосходительство, что фокус мне удался. Вы узнали свою дочь, которую родила вам любимая ваша горничная Настасья Алексеевна. Надеюсь, что теперь для вас все стало ясно: вы — мой тесть, а я — зять. Мои дети, которые вам так понравились,— это отпрыски от вашего корня.

Адмирал был ошеломлен. Я думаю, если бы матросы поставили его перед жерлом заряженной пушки, то и в таком положении он не был бы так потрясен, как теперь. К смерти он был подготовлен, и я уверен, что он как гордый человек принял бы ее храбро, не прося помилования. Не то было здесь. Здесь вывернули ему душу и вскрыли в ней самое сокровенное, что с болезненным самолюбием он столько лет таил от людей, здесь объявилась его дочь, народившая ему великолепных внучат. До сих пор он жил в чужой семье, заботился о ней, исполняя роль отца. И у него не хватало мужества покончить с такой фальшью. А в это время его родная семья, о которой он никогда не думал, ютилась по сырым подвалам. Может быть, адмирал переживал не то, что я ему приписываю. Но он производил впечатление человека, внезапно сшибленного налетевшей на него подводой. Смятый, он сразу лишился твердости духа, глаза у него затуманились, лицо приняло бессмысленное выражение. Он потер лоб и тихо простонал:

— Что это — явь или сон?

— Это суровая действительность, ваше превосходительство.

Адмирал вдруг оживился и почти приказал мне:

— Налейте мне рому!

Руки его дрожали, когда он поднял рюмку. Он опрокинул ее в рот и, не закусывая, заговорил:

— Логично все подстроено. Вам только бы следователем быть. Выходит, что это у меня черствое сердце. Ну, что же, может быть, это и верно.

— Не вы, а весь наш социальный строй пропитан черствостью и подлостью. А теперь разрешите поставить перед вами еще один вопрос, и разговоры наши будут закончены.

— Еще один вопрос? — испугался адмирал.— На сегодня не слишком ли это будет много?

— Скажите, ваше превосходительство, откровенно: с кем вы пойдете — с нами или с теми, где вас всю жизнь обманывали? Решайте. Вы — свободный человек. Можете хоть сейчас пойти куда вам угодно. Для команды вы были неплохой начальник. Тем легче мне обеспечить вас от всяких неприятностей. Вас никто не тронет, пока вы не пойдете против восставшего народа.

— Вопрос задали вы серьезный. Надо будет подумать.

— На всякий случай советую вам остаться здесь, пока не установится революционный порядок.

Я ушел по делам и вернулся домой поздно. Дети мои уже спали. Адмирал и моя жена сидели за столом и пили чай. По их лицам я догадался, что между ними произошло объяснение. После Валя рассказывала мне, как он плакал и вымаливал у нее прощение. Отец давал клятву дочери, что с этого дня для него начнется новая жизнь. И Валя не только простила его, но и обрадовалась, что у нее теперь есть отец. Очевидно, она в душе мучилась отсутствием его, хотя и ни разу не заикнулась мне об этом.

На второй день, в сопровождении назначенной мною охраны, адмирал ходил к себе на квартиру. Пробыл он там недолго и, вернувшись, заявил мне:

— Все кончено. Жена услышала от меня такие слова о себе, какие ей никто еще не говорил до сих пор. Сегодня же она уезжает в Петроград.

И, глядя мне прямо в глаза, он твердо добавил:

— В моей душе, как и в государстве, тоже произошел

переворот. Я буду служить народу. Передайте, Захар Петрович, кому нужно, что моя жизнь — в его распоряжении.

Адмирал Железнов крепко пожал мне руку.

VII

Командир встал, приблизился к борту и выглянул в иллюминатор, как будто его заинтересовала погода. Но тут же он вернулся к столу и что-то записал в блокнот. В это время, постучав предварительно в дверь, вошел в каюту старший артиллерист Судаков. Рябоватое лицо его было чем-то озабочено.

— Разрешите, товарищ капитан первого ранга, доложить.

— Я слушаю вас,— ответил командир, устремив свой взгляд на старшего артиллериста.

— От порта отходит баржа с практическими боеприпасами для нас. Прошу разрешения произвести погрузку в соответствующие погреба.

— Хорошо, грузите. Не забудьте о случае на «Полтаве».

— Есть. Все необходимые меры предосторожности будут соблюдены.

Судаков вышел, и командир снова повернулся ко мне.

— Хотя я уверен в нашем артиллеристе, но не мешает лишний раз напомнить о мерах предосторожности. Очень серьезное это дело — погрузка боеприпасов.

Я спросил о случае на «Полтаве».

— Там во время погрузки упал в погреб полузаряд и воспламенился. А в нем, как ты, наверно, помнишь, четыре пуда бездымного пороха. Кораблю и его экипажу угрожала гибель. И только благодаря исключительной отваге смельчаков пожар удалось погасить. Все же три человека сгорели. Бывает же так, когда о несчастье можно сказать: счастливо отделались.

Мне неоднократно приходилось присутствовать при погрузке боеприпасов. Не выходя из каюты, я знал, что делается сейчас наверху. Прежде всего проверяется прочность стропов и стальных сеток, с помощью которых

будут подниматься на судно снаряды и полузаряды для тяжелой артиллерии, а также патроны для малокалиберных пушек. Противопожарные средства должны быть в полной готовности к действию: разносятся шланги, становятся на клапанах затопления и орошения погребов трюмные машинисты. Около загрузочных люков расстилаются брезенты и маты, чтобы смягчить удар случайно упавшего снаряда. Во время такой операции всей верхней палубой распоряжается старший артиллерист, и все подчиняются ему.

Я вспомнил рассказы Куликова о некоторых его соплавателях и попросил командира рассказать мне о дальнейшей их судьбе. Он посмотрел на часы и на минуту задумался.

— Не о моих соплавателях, а о гражданской войне нужно было бы рассказать тебе, но сегодня я не успею этого сделать. А годы гражданской войны были самыми напряженными и самыми яркими в моей жизни. Да, о них есть что порассказать!.. Этим мы займемся на днях, а сейчас послушай об одной моей встрече с человеком, хорошо знакомым тебе по прежним моим рассказам.

— Сказано: гора с горой не сойдется, а человек с человеком может сойтись. Так случилось и у меня. Я давно решил остаться моряком навсегда. А гражданская война еще больше укрепила меня в этом решении. Море и корабли вросли в мою душу, как деревья в землю. Но мне нужно было хорошенько подковать себя в военно-морском деле, чтобы потом никакая гололедица не пугала меня. Подал я заявление в Военно-морское училище с просьбой зачислить меня слушателем. Сначала преподаватели отнеслись ко мне недоверчиво. А потом, во время экзамена, убедились, что по общеобразовательным предметам я уже не так плохо понимаю.

Учение мне давалось легко. До революции я много скитался по морям и океанам под разными широтами. Плавая на коммерческих судах, в каких только портах я не побывал! Входы в них, как и все маяки, я знаю почти наизусть. По части военных кораблей я много усвоил от боцмана Кудинова и от покойного командира нашего броненосца капитана первого ранга Лезвина. Я всегда

с благодарностью вспоминаю о них. Да и гражданская война не прошла для меня даром. По тактике и стратегии я практически приобрел знания. Кроме того, гражданская война научила меня, как командира, познавать душу своих подчиненных и поднимать в них доблесть. Словом, ко времени поступления в Военно-морское училище жизнь настолько подготовила меня, что я покатился вперед, к намеченной цели, словно на велосипеде по ровному асфальту.

Я поселился на Васильевском острове, чтобы было ближе ходить в училище. Квартира когда-то была богатая. В десяти комнатах жила одна семья какого-то морского офицера, но она сбежала от революции. После нее в этой квартире поселилось семь семейств: рабочие, военные и служащие. Из прежней обстановки осталось лишь кое-что: у кого — славянский шкаф, у кого — трюмо, у кого — стол из красного дерева. Я со своими домочадцами поселился в двух комнатах. К этому моменту моему сыну было девятнадцать лет. Он был хорошим комсомольцем и работал на судостроительном заводе. Кстати сказать, он потом тоже поступил в Военно-морское училище и успешно его закончил. Теперь я не без гордости смотрю на своего сына: он служит на другом военном корабле в звании капитана второго ранга. Но вернусь назад.

Время было тяжелое. После мировой войны, а затем — гражданской в наследство советской власти досталась разоренная страна. Все обитатели нашей квартиры кормились пайками, жили впроголодь и в холоде. Некоторые малодушные люди отчаивались и думали, что они уже никогда больше не увидят белых булок.

В первый же день, как только я вселился в новую квартиру, до моего слуха донесся из соседней комнаты сердитый окрик:

— Я не потерплю этого! Я буду жаловаться его императорскому величеству!..

Меня передернуло от этих слов. Царь давно расстрелян, белогвардейцев вместе с интервентами словно ветром сдуло с лица русской земли, а тут вдруг я слышу такой возглас! Я немедленно обратился за разъяснением к первому подвернувшемуся в коридоре человеку. Это бы-

ла курьерша какого-то учреждения, пожилая и бойкая женщина. Она сообщила мне:

— Слепой адмирал у нас тут бушует. Поживете здесь — не то еще услышите.

То, что я узнал от других, а потом и сам увидел, было похоже на бред. Моим соседом оказался граф Эверлинг, с которым я когда-то вместе плавал на броненосце «Святослав». Все во мне всколыхнулось при воспоминании об этом человеке. Поэтому, когда я узнал, кто мой сосед, меня особенно заинтересовало, что стало с ним теперь.

Но только на второй день я увидел его. От того графа, холеного красавца, какого я знал на своем судне, ничего не осталось. Это был длинный скелет, обтянутый серой сморщенной кожей. На нем, как на колу, висел замызганный военный сюртук. Судя по одежде, очевидно, до революции он был очень полнотелым. У него до неузнаваемости было изувечено лицо: одна ноздря разорвана, щеки и подбородок в шрамах, вместо бороды — клочья седой шерсти, вместо глаз — красные язвы. При нем жила его дочь Тамара Леопольдовна. Живя у графа вестовым, я видел ее лишь один раз. Она была тогда грудным ребенком. Теперь она выросла и оформилась в довольно стройную блондинку с голубыми страдальческими глазами. Может быть, революция так повлияла на нее, но в ней не было никакой надменности. Она подкупала всех нас своей простотой. Когда я познакомился с ней ближе, она рассказала мне все подробности о своем отце.

Во время войны граф «Пять холодных сосисок» был произведен в контр-адмиралы. Незадолго до революции тот корабль, на котором он плавал, подвергся обстрелу немецких судов. Один из неприятельских снарядов разорвался около боевой рубки. Корабль мало пострадал, но находившийся в этот момент на мостике граф был тяжело ранен. Осколками ему выбило оба глаза, исковыряло лицо, изувечило пальцы на руках. Кроме того, он абсолютно лишился слуха. Графа лечили лучшие специалисты. Раны его зажили, но он при полном здравом уме остался на всю жизнь калекой: слепым, глухим и с плохой осязаемостью пальцев.

Февральская революция застала его в таком состоя-

нии. Пришли к нему в особняк вооруженные солдаты. Графиня назвала их хамами. Они арестовали ее и увели с собой. Граф и его дочь были оставлены. Он не знал об отсутствии жены, как не знал и о совершившейся в стране революции. Ни рассказать ему об этом, ни дать прочесть было нельзя.

Пока граф не был ранен, он прочно обретался на земле и никогда не думал об изменчивости судьбы. И вдруг все это пошло прахом. Богатство, почет и слава исчезли. Жизнь, многокрасочная и многозвучная, куда-то провалилась. Он познавал ее лишь частично через вкус и обоняние. После февральской революции граф продолжал жить в собственном особняке и не замечал особой перемены в своем быту. Он спал на чистых простынях, употреблял пищу, приготовленную лучшими поварами. С ним неразлучно находилась дочь, до болезненности преданная своему отцу. По каким-то признакам он узнавал ее,— может быть, по тому, что она была ростом ниже матери. Случалось, что он вспоминал о жене:

— Луиза, куда ты исчезла? Вероятно, я стал противен тебе?

К нему подходила дочь. Ее слезы приводили его к диким догадкам:

— Если бы Луиза умерла, то я присутствовал бы при ее погребении. Мой нос не мог бы не почувствовать ладана. Просто эта женщина сбежала от меня...— И, повысив голос, он резко выкрикивал:— Лишить ее наследства! Тамара, слышишь? Из моих капиталов не давать ей ни копейки.

Тамара вырывалась из объятий отца и зажимала уши, чтобы не слышать его страшных слов. Они вонзались в ее мозг, как шипы, и причиняли нестерпимую боль. Но ни она и никто другой не могли объяснить графу, что произошло в его семье, а также и во всем государстве. И дочь в отчаянии металась из одной комнаты в другую, не находя себе нигде покоя. Судя по ее рассказам, трудно было решить, кто из них переживал более тяжелую трагедию.

После Октябрьской революции графский особняк был взят под какое-то учреждение. Дочь увезла отца на Васильевский остров и поселилась с ним в одной комнате. Он принюхался к воздуху и сморщил нос.

— Смрадом пахнет. Что это значит? Мы попали в какую-то конюшню. Я не могу здесь жить.

Дочь только всплескивала руками.

В этот же день она сама сварила на примусе похлебку. В обед кушанье было подано на стол. Дочь всунула отцу в одну руку ложку, а в другую — кусок полусырого хлеба. Граф попробовал хлеб — выплюнул, попробовал похлебку — тарелка полетела со стола на пол и разбилась. Он рассвирепел:

— Мне дают такую гадость! Это — издевательство! Для меня приготовили такое мерзкое кушанье, какое не будет есть ни один мужик!

Дочь в испуге смотрела на отца, а он ударил кулаком по столу и тоном властелина распорядился:

— Тамара! Сейчас же скажи управляющему, чтобы он немедленно рассчитал главного повара. Это обнаглевший жулик. Он, вероятно, думает, что если я ослеп, то мне можно подсунуть всякую дрянь. Нанять нового повара!

Граф немного подумал и заговорил более спокойно:

— А пока пусть сам управляющий быстро съездит на машине в ресторан Кюба за обедом. Я не знаю, как ты, но я хотел бы из холодных закусок — зернистой икры и страсбургского паштета. А что бы из горячих блюд нам придумать? Я давно не ел стерлядь паровую. Если ее случайно не окажется, то можно заменить форелью гатчинской, соус риш. Ты, наверно, не будешь возражать, если заказать эскалоп дикой козы, соус кумберлан. Из сладких блюд в этом ресторане хорошо готовят парфе маркиз, пти буше. Такое кушанье и тебе понравится. Оно делается из сбитых сливок с ликерами, прибавляются сюда ломтики апельсина и свежая малина.

Дальше дочь не могла слушать отца и, ломая руки, выбежала из комнаты. Для нее тарелка пшенной похлебки была теперь дороже всех этих блюд. А он, ничего не понимая, что происходит кругом, никак не мог отказаться от прежних привычек. Но как, какими средствами объяснить ему, что он теперь уже не граф и не адмирал и что от громадных капиталов у них остались жалкие крохи?

С этого дня положение графа резко стало ухудшаться. Тамара измучилась с ним, извелась. Наступили холо-

да. Соседи научили ее поставить в комнате маленькую железную печку — «буржуйку». Такая печка потребует мало дров. Правда, тепла она немного даст и готовить на ней пищу неудобно, но жить можно — не замерзнешь. Тамара так и поступила. Она запаслась на зиму дровами и, подражая соседям, сложила их у себя в комнате, потому что все обитатели дорожили ими не меньше, чем сахаром. Она бегала на рынок за продуктами. Пока у нее были деньги, она легко справлялась с маленьким хозяйством. Но они скоро вышли, и наступили тяжелые дни. Сначала нужно было что-нибудь продать из своего добра: серебряные ложки, вилки, подстаканники, золотые вещицы, платья, чулки, туфельки. А потом уже на вырученные деньги она приобретала продукты. Иногда Тамара занималась товарообменом, но ее, непрактичную в жизни, часто обманывали: за дорогую вещь она приносила домой полпуда мороженого картофеля.

Временами не было для графа даже простой пшенной каши. Его кормили каким-нибудь жиденьким перловым супом без навара или щами из кислой капусты. По утрам уже не подавали ему кофе мокко с душистыми томлеными сливками, не подавали сливочного масла и нежных слоенок. Все это теперь заменялось морковным чаем с сахарином и неочищенным картофелем. Наголодавшись, он выпивал и съедал все, что попадалось под руки, но не переставал протестовать.

— Я все-таки не могу понять, что случилось? Почему меня держат в холоде и голоде? Тамара! Сейчас же соедини меня по телефону с премьер-министром. Нет, ты лучше сама поговори с ним. Передай ему от моего имени, чтобы он немедленно распорядился расследовать все мои дела. Виновники пойдут под суд.

Граф сидел на диване и ждал, когда его распоряжения будут выполнены. Никто к нему не подходил. Он терял терпение и начинал проклинать всех на свете. Так продолжалось и после гражданской войны.

Мне жалко было его дочь, своими душевными качествами совершенно непохожую на отца. Страдая из-за него, она постепенно увядала, как надломленная ветка. Из прежних ценностей все у нее было продано, все проедено. Оставалась лишь одна золотая брош-

ка с бриллиантом. Тамара берегла ее как память о своей матери. Но затем и с этой брошкой пришлось расстаться.

Чтобы облегчить тяжелую участь Тамары, я задался целью как-нибудь сообщить графу, что в России произошла революция. Пусть он поймет хоть одно это слово. И я изо всей силы произносил его то в одно ухо графу, то в другое. Напрасны были мои старания. Он только откидывал в сторону голову и заявлял:

— Тамара, зачем ты щекочешь в моих ушах?

И вот однажды осенила меня блестящая мысль. Я вспомнил, что граф хорошо знал азбуку Морзе и преподавал ее на броненосце «Святослав» всем сигнальщикам. Это было его единственное достоинство. Если только он не забыл эту азбуку, то при помощи ее можно передать ему что угодно. Я радовался своей догадке, обрадовалась и Тамара, когда узнала об этом от меня. Я разыскал знакомого радиста. Дочь усадила отца на диван и сама села рядом с ним.

— Тамара,— сурово заговорил граф, ощупав ее голову.— Я без тебя все время думал: очевидно, все люди превратились в сплошных подлецов. Почему не исполняются мои приказания?

В это время радист постучал пальцем по голове графа.

— Как, азбука Морзе? — воскликнул он.— Как же это до сих пор никто не догадался применить ее для разговора со мною? Наконец-то передо мною вскроется вся правда. Я слушаю.

Радист начал выстукивать фразы. Граф приоткрыл рот и запрокинул голову. Его безглазое лицо приняло выражение напряженного ожидания. Я и Тамара с волнением следили за ним, а он медленно, словно по складам, произносил слова:

«В России про-изо-шла ре-во-лю-ция».

Он дернулся и задрожал.

— Революция? Не может этого быть! Или я не понял?

И опять произносил слова, выстукиваемые радистом:

«Да, да, ре-во-лю-ция. А те-перь в России уста-новлена со-вет-ская власть. Иму-ще-ства всех ка-пи-та-листов кон-фи-ско-ва-ны».

Граф закрутил головой.

— Позвольте, позвольте! Что за чепуха такая! Какая это может быть советская власть? Да такой власти нигде и в мире нет! И кто ей дал право распоряжаться моими капиталами?

Радист выстукивал, а граф, покрываясь холодной испариной, повторял его слова:

«Со-вет-ской вла-сти это пра-во дал народ, тру-да-ми ко-то-ро-го соз-даны все ка-пи-та-лы».

Граф завизжал, точно ужаленный:

— А где же император?

И сам себе, повторяя передаваемые слова радиста, ответил:

«Им-пе-ра-тор Ни-ко-лай Вто-рой каз-нен».

Граф сжал кулаки и ринулся вперед, словно в атаку. Он закружился по комнате, налетел на стол и, опрокинув его, с грохотом упал на пол. Зазвенели осколки разбившейся посуды. Граф быстро вскочил и остановился среди комнаты. Его безглазое лицо судорожно задергалось. Он вытянул вперед руки, скрючил пальцы, словно намеревался кого-то схватить, и, задыхаясь, кричал:

— Император казнен! Мои капиталы конфискованы!

Его дочь в испуге забилась в угол. Я и радист отошли к двери. Граф бесновался и, словно трагик на сцене, повышал голос. Больше нам нечего было делать здесь. Я сказал его дочери:

— До свидания, Тамара Леопольдовна. Теперь ваш папа узнал все.

В этот день в комнате до вечера был слышен шум. Неожиданной новостью граф настолько был ошарашен, что выкрикивал какие-то несуразные слова, бесновался и кому-то угрожал. К полуночи он замолчал — по-видимому, его уложили спать.

Я сидел у себя в комнате за столом и зубрил уроки. Вся наша многолюдная квартира погрузилась в сон. Часа в два за стеной послышалась возня, потом что-то грохнулось, и два голоса, мужской и женский, смешались в смертельной тревоге.

Все обитатели нашей квартиры поднялись на ноги.

Я первый бросился к соседней комнате. Дверь была заперта. Ударом плеча я вышиб ее и включил электри-

чество. То, что я увидел, обожгло мое сердце. Отец и дочь были в одном белье, и между ними на полу происходила борьба. Обезумевший, он, по-видимому, принял ее за другого человека. Одной рукой он держал Тамару за волосы, а другой — наносил ей удары. Она яростно отбивалась от него. На мгновение я оцепенел от этой отвратительной сцены, но тут же бросился к графу и отшвырнул его в сторону.

При помощи других мужчин я связал графу полотенцами руки и ноги и уложил его на кровать. Пока я это делал, он бормотал, как в бреду:

— Где же высшая справедливость? Дайте мне бога! Я вырву у него седую бороду...

Потом мы еще долго обсуждали, что делать с графом дальше. Для дочери он стал опасным, а нам он всем надоел. На следующий день я принял решительные меры к тому, чтобы отправить его в психиатрическую больницу.

Время, как говорится, излечивает самые глубокие раны. Так случилось и с Тамарой: она оправилась от пережитых ею потрясений и стала хорошей преподавательницей иностранных языков. Жизнь свое берет и выкидывает иногда удивительные неожиданности. Кто мог бы заранее сказать, что Тамара выйдет замуж за того радиста, который при помощи азбуки Морзе разговаривал с ее отцом? Теперь она имеет двух детей, изредка бывает у нас и никогда больше не вспоминает о своем родителе.

VIII

— Следует рассказать тебе еще об одном человеке, с которым я плавал на «Святославе». Это наш судовой священник. Из монахов он, как и на других кораблях. Звали его отец Пахом. С виду — ростом средний, но широкий и какой-то весь сухожильный, все лицо в густой бороде мышиного цвета. Голубые глаза смотрят на всех то грустно, то умилительно-ласково. Голос у него низкий, утробный, но во время церковной службы он подает возгласы почти дискантом. Вероятно, он думает: так проникновеннее у него выйдет и скорее тронет матросские сердца. Но получается смешно: если не смот-

реть на него, то кажется, что это женщина справляет службу.

Насчет грамоты отец Пахом был слабоват. На это мало внимания обращают в монастырях. Лишь бы молитвы знал и кое-как в священном писании разбирался. Но по части отзывчивости не скоро найдешь другого такого священника. Вестовой нашего старшего офицера Яков получил с родины письмо, и загрустил парень. Ходит сам не свой, как потерянный. Выяснилось, что на родине у него сгорел дом и погибла лошадь. Об этом дознался отец Пахом. Попросил у вестового письмо, прочитал его внимательно. И что же ты думаешь? Отвалил ему сорок рублей и наказал, чтобы он немедленно перевел их погорельцам — своим родителям. А ведь у судового священника, кроме жалования, никаких иных доходов нет. Помогал он и другим матросам. Вообще это был настоящий бессребреник.

В кают-компании он питался вместе с офицерами. Но по средам и пятницам заказывал себе отдельное кушанье — постное. Водки не пил совсем, употреблял только кагор, и то очень умеренно.

Как-то днем заглянул я в кают-компанию. Из офицеров никого там не было: кто на занятиях, кто на вахте. Лишь один отец Пахом сидел за столом и скучал. Увидел он меня и подозвал к себе.

— Откуда, чадо, ты родом? — спросил он.

— Из косопузых происхожу,— шуткой ответил я.

— Так, значит, Рязанской губернии. Земляк мой. Очень приятно.

Он заулыбался и начал допрашивать, какого я уезда, какой волости. А когда я назвал свое село, он даже вскочил.

— Чадо ты мое! Да мы с тобой из одних мест! Моя деревня Перепелкино. Две версты от вашего села. Вот радость какая! Ах, боже мой! Да и встретились-то где? В чужих государствах...

Отец Пахом жал мне руку, хлопал по плечу и не знал, как выразить свой восторг.

— Ведь моя покойница жена была из вашего села. Дочка Якова шерстобита, Дарья. Может, слыхал?

— Знаю. Через пять дворов от нас шерстобит этот.

— Дай бог ей царство небесное. А ты не сын будешь Петра Псалтырева?

— Да.

— Знавал я твоего отца. На всю волость прославился — псалтырь хорошо читал над покойниками.

Отец Пахом обрадовался еще больше, точно встретился с родным сыном. Тут же он пригласил меня в свою каюту, угостил кагором и сам выпил. Начались разговоры о знакомых, о деревенской жизни, об урожаях в наших местах. Монашеская ряса не заглушила в нем душу крестьянина, мыслями он тянулся к земле, как жаждущий к ручью.

С этого дня и началась у меня с ним дружба.

Однажды отец Пахом рассказал мне, как и почему он променял крестьянскую жизнь на монастырскую. В миру, до пострижения в монахи, он носил другое имя — Григорий. Был у него закадычный друг — сосед Василий. Оба они увлекались рыбной ловлей. В полую воду захватили они с собой сети и отправились верст за восемь. А там река хоть и небольшая, но заболочена и кругом много озер. Весной она разливается местами версты на две. Всегда оба приятеля промышляли там рыбной ловлей. И своя лодка у них там была,— неважная, можно сказать, душегубка. На этот раз переплыли они на другой берег и очень удачно перехватили там сетями протоку, которая соединяла озеро с рекой. Рыба, как шальная, лезла в сети. Словом, к вечеру второго дня у них добычи было пудов пять. И начался у них тут спор. Василий доказывал, что ночью опасно плыть через реку на такой плохой лодчонке. А тут еще небо заволокло облаками, подул северный ветер, в воздухе запорхали снежинки. Долго ли до беды — дети останутся сиротами. Лучше было бы переночевать у костра, а утром, с рассветом, отправиться в путь. Григорий настаивал на своем; немедленно нужно домой, иначе может рыба испортиться. Поплыли. Ветер все усиливался, тьма густела. Григорий, сидя на корме, управлял лодкой. Через ее борта захлестывали волны. Василий еле успевал вычерпывать воду. Оставалось преодолеть еще какую-нибудь четвертую часть пути, но тут-то и случилась беда. Лодка обо что-то ударилась и опрокинулась. Григорий успел одной рукой ухватиться за днище, а в другой даже удержал вес-

ло. Василий что-то крикнул и сразу исчез в темноте. Больше он не издал ни одного звука, как будто и не было человека. Григорий уселся верхом на днище лодки и веслом стал направлять ее к берегу. Это продолжалось невероятно долго. Без шапки, весь мокрый, с опущенными в ледяную воду ногами, он дрожал, как в лихорадке. Одежда на нем и волосы стали мерзнуть. Но он не обращал на это внимания. Он кричал своему другу, звал его — никакого ответа. Сам он спасся, а Василия нашли через несколько дней далеко от этого места — к берегу труп прибило.

Это происшествие перевернуло всю мужицкую жизнь Григория. Начались мучения. Днем и ночью все ему слышался упрек Василия:

— Говорил я тебе — не послушал. Погубил меня. Осиротил моих деток...

И в народе пошел слух, будто Григорий убил своего друга и бросил в реку. Было следствие. На трупе не нашли никаких следов насилия, а нехороший разговор в деревне не унимался. А тут еще жена умерла от родов первого ребенка. Это совсем доконало Григория. Работа валилась из рук. Совесть жгла его душу, и не стало ему житья от черной тоски.

На этом месте рассказа у батюшки задрожал голос, из глаз, словно сверкающие бусины, покатились слезы. Он вынул из кармана платок, утерся им и продолжал свое повествование:

— Бросил я свою деревню и пошел бродить по монастырям. Много пришлось мне земли измерить, пока я в одном из монастырей не застрял навсегда. Настоятелем был у нас архимандрит Иосиф. Он сам происходил из мужиков и любил, когда крестьяне поступали в послушники. По его совету я и постригся и стал носить имя Пахом. При Иосифе нам жилось хорошо. А когда он умер, к нам прислали из другого монастыря викарного епископа Авдея. Ну, он и показал себя. Монахи так и прозвали его Авдей-Злодей. Келейником он выбрал себе сплетника и ябедника. Через него он все знал про монахов: кто что делает, кто что любит и кто чего боится. Стал он привлекать в монастырь купцов и горожан. Уговорил одного образованного человека постричься в казначеи. А сам Авдей-Злодей, сытый, холеный, ходит в

шелковой рясе, руки душит, волосы завивает. При нем доходы монастыря увеличились. Нравился он купчихам и разным барыням, и они стали здорово жертвовать. Но для монахов жизнь ухудшилась.

Слушал я тогда отца Пахома и удивлялся. Оказывается, и в монастыре не очень свято проходит жизнь. Так же как и на воле, она переплетается и с доносами, и с щегольством, и с разными интригами, и с ненавистью к своему духовному начальству.

— Наш монастырь на берегу озера стоит и обнесен высокой и толстой каменной стеной,— продолжал рассказывать отец Пахом.— На ней устроено много башен, и в каждой башне имеются комнаты. Вот туда-то Авдей-Злодей и начал сажать провинившихся монахов. Покажется ему, что монах в церкви зевнул, ну, значит, иди на целую неделю в башню. Что только не придумывал наш архимандрит! Если иной из нашей братии слабоват насчет спиртного, то он прикажет не давать ему три дня пить, а на четвертые сутки вместо воды пошлет ему бутылку водки. Много разных номеров он выкидывал. Из-за Авдея-Злодея, прости господи душу мою грешную, я и попал на корабль. Про меня он узнал, что я покойников боюсь. Нехорошо это для монаха, а поделать с собой ничего не мог. Страшно мне на них глядеть. Кажется, что мертвец подмигивает мне и дышит. Вот и стал Авдей-Злодей посылать меня по покойникам читать. Умер у нас один монах. Гроб вынесли в летнюю церковь, а мне приказали псалтырь читать всю ночь. Взял я с собой палку и приставил ее к аналою. Оружие не оружие, а все-таки не так боязно. Дверь церкви я распахнул, чтобы меньше мертвецкий запах чувствовался, а летняя ночь прохладой дышит. Почитаю и замолчу, задумаюсь о бренности нашей жизни, потом опять читаю и опять замолчу, на покойника посмотрю. Лицо его прикрыто парчой, по-нашему «воздух» называется. И все мне кажется, что парча шевелится. Вдруг сзади голос раздается: «Проснись, негодяй!» Я от страха даже подпрыгнул, как мяч, и рассудок мой помутился, словно от затмения. Но все-таки палку я схватил, обернулся и трахнул ею по темной фигуре. Фигура сначала упала, потом вскочила и бегом через дверь скрылась. Оказалось, что это приходил Авдей-Злодей посмотреть, хорошо ли я читаю и не

ушел ли из церкви. Утром он позвал меня к себе. Не хотелось ему срамить себя, и боялся он, что я расскажу про это событие монахам. Нужно было ему от меня отделаться. Начал он такими словами: «Посылаю я тебя, согласно запросу нашего архиепископа Ярославского, для обуздания страха твоего, недостойного монаха, в плавание на корабли царского флота. Иди и свято выполняй свой долг. Учи матросов вере святой, как отец духовный и пастырь чад христианских». И я поехал в далекие края. Ведь, кроме Ростова Великого, я ничего не видел. А тут я побывал и в Москве белокаменной, и в столичном городе Петербурге, и в крепости Кронштадт, и повстречался с знаменитым отцом Иоанном Кронштадтским. Теперь не страшен мне Авдей-Злодей, потому что я подчиняюсь протопресвитеру военного и морского духовенства. Я очень доволен своей судьбой.

Пахом замолчал.

Для него путешествие было большой радостью. Он увидел свет, жизнь больших городов, корабли, моря, иностранные порты.

Мы довольно часто беседовали с отцом Пахомом. Меня интересовала монастырская жизнь и хотелось досконально познать моего друга: какие мысли у него, чем его душа занята. Я спрашиваю:

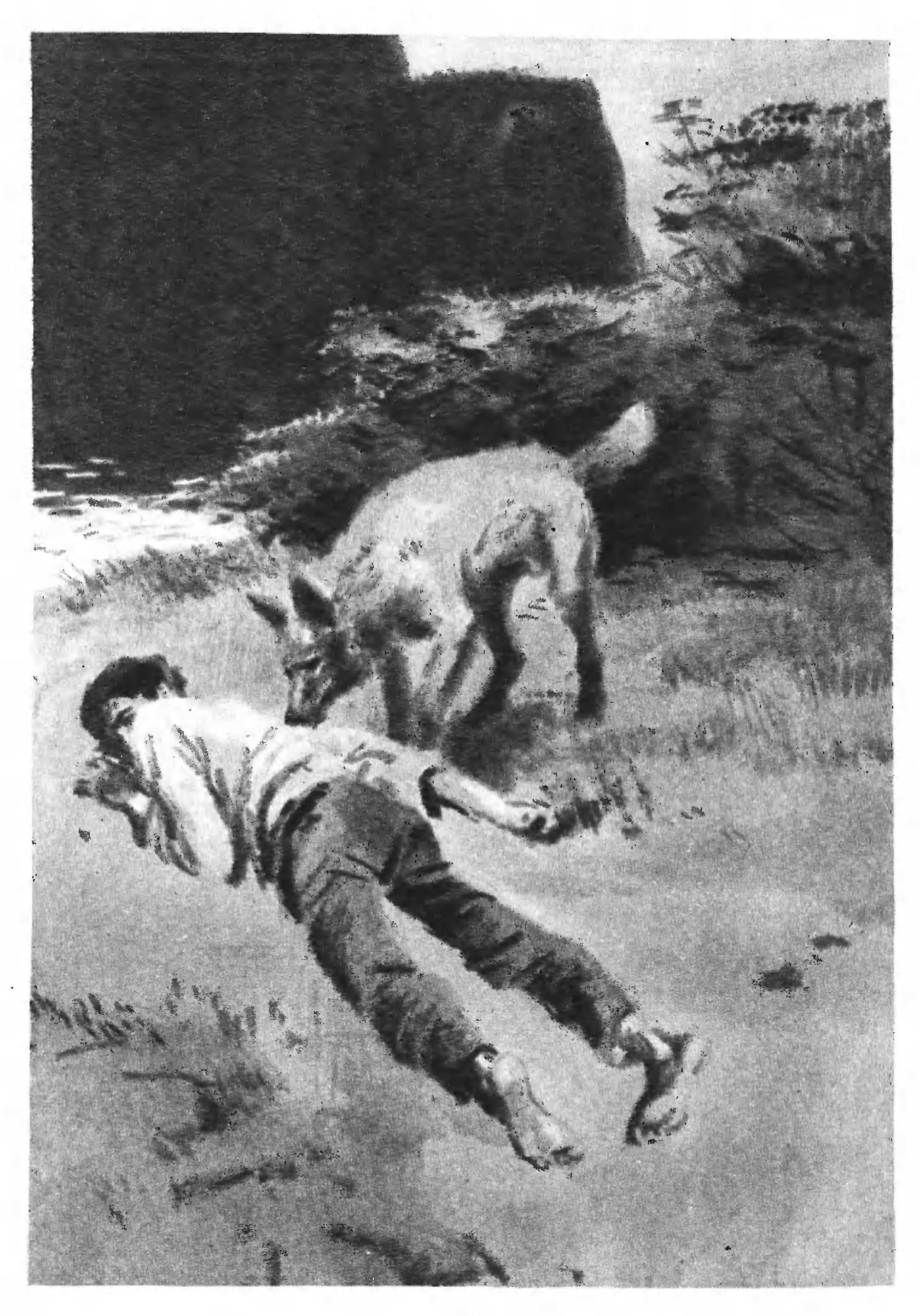
— Ну, как, батюшка, женщины для монахов—большой соблазн?

— Ох, силен дьявол, силен! И многие из нашей братии не выдерживают борьбы с ним и впадают в грех. На себе я это испытал. Стоишь иной раз в церкви, а тут какая-нибудь молодуха так взглянет на тебя, точно пламенем всего охватит. В голову горячая кровь ударит,—и все мысли перемешаются. Забудешь все молитвы. А потом ночью ляжешь спать на койку, и тут начинает бес работать. Он тебе разных особ представляет и все в разных видах. И крутишься, переворачиваешься ты, точно не на койке, а на раскаленной плите находишься. Случалось, вцепишься в свою бороду руками и стонешь, как перед смертью. И все-таки ни разу я не поддался дьяволу.

Однажды батюшка совсем разоткровенничался со мною:



«ДВА ДРУГА».



«ДВА ДРУГА».

— Одно у меня плохо, Захар,— иногда сомнения мучают насчет, скажем, чудес. Как это можно мертвых воскрешать? И почему раньше это могли делать, а теперь нет? Или вот еще взять пророка Елисея. Мальчики стали называть его лысым. Что же тут особенного? Он и был лысым. А он рассердился, проклял их, напустил на них медведицу, и она растерзала сорок детей. К чему же такая жестокость? А как Христос относился к детям? Он сказал взрослым: «Если вы не будете, как дети, то вы не наследуете царство небесное». Значит, пророк Елисей неправильно поступил, а за неправильные дела что бывает, а?

Я согласился с ним и в свою очередь сказал:

— Не в этом только дело, батюшка. А беда в том, что вся религия наша построена на барышах, на процентах.

— То есть как это понимать тебя? — вскинул брови отец Пахом.

— Очень просто. Купец продает товар и старается как можно больше нажить процентов. А мы для чего угождаем богу, всячески преклоняемся перед ним? Тоже для того, чтобы нажить проценты. Но какие проценты? Мы сорок — пятьдесят лет промучаемся на земле, зато на том свете вечно будем блаженствовать. Барыш явный. Не так ли?

Отец Пахом рассердился на меня:

— Ты это брось. Такие еретические мысли я не хочу даже слушать. Вредные они.

— Но вы тоже высказали свои сомнения.

— Верно. Не отрекаюсь. Но, может быть, через сомнения я приду к настоящей вере, непоколебимой и крепкой, как гранит. Такие случаи бывали.

Он подпер голову руками, задумался. Молчал и я. Но вдруг он заговорил с тоской:

— Да, Захар, часто я думаю о себе. Может быть, зря я променял свою долю мужицкую на монастырскую. Почему бы мне не жениться второй раз? Были бы у меня дети, ворочал бы я с ними землю и пожинал бы плоды от трудов своих. Иногда смотрю, как в поле мужики и бабы работают, и становится завидно мне. Знаю, грех завидовать, а вот не могу иначе. Силы во мне много.

— А вы, батюшка, бросили бы монастырь и вернулись к земле.

— Да ты что, чадо, ошалел? Я посвятил себя служению богу и вдруг нарушу обет. Какая цена такому человеку?

Кроме меня, отец Пахом крепко сдружился с лейтенантом Подперечицыным. Этот лейтенант, как только увидел батюшку в кают-компании, сейчас же подошел к нему под благословение и облобызал его руку. И каждый день он так поступал при встрече с ним. В кают-компании, как принято вообще, все офицеры называют священника на «ты». Подперечицын же обращается к нему на «вы». В свободное время они всегда сидят вместе и разговаривают о церкви, постах, о святых мучениках. Подперечицын часто заходит к батюшке в его каюту.

Отец Пахом с умилением отзывается о нем:

— Благочестивый офицер. В таких ожиревших телесах, а какая возвышенная душа! Вот образец настоящего христианина. От него, вероятно, никто не слышал ни одного скверного слова. И веру православную блюдет, и священное писание знает, и церковь чтит лучше многих монахов.

Я в душе смеюсь над похвалами батюшки, но не хочется подрывать его доверие к этому лейтенанту. Думаю, что дальше будет? А дальше получилось что-то непонятное. Приносит Подперечицын книгу корпусного священника «Моряк-христианин» и давай отца Пахома уговаривать проповеди произносить. Для команды это будет большая польза. Но тот начал возражать:

— Да что вы... Я еще никогда не говорил проповеди. Боюсь запутаться в мыслях.

— А вы заранее напишите то, что хотите сказать. Я проверю, где не ладно, поправлю.

Такое предложение отец Пахом отверг.

— Не могу читать по бумажке. Я уж лучше как-нибудь скажу от души, как вдохновит меня господь.

Выбрали из книги «Моряк-христианин» рассказ о том, как один монах напился и что из этого вышло. Распалился он от вина и начал преследовать одну женщину. За нее вступился ее спутник. Монах пришел в ярость и

убил этого спутника. За это попал в тюрьму. Для моряков такая проповедь должна быть самой поучительной: «Не опивайтесь вином, ибо в нем есть блуд».

Целую неделю отец Пахом готовился к этой проповеди и в ближайшее воскресенье разразился. Оказалось, то, что он вычитал из книги, он переделал по-своему и сразу ошарашил свою паству. Матросы ухмылялись, а офицеры выбегали из церкви, чтобы на свободе похохотать. Старший офицер растерянно смотрел то на батюшку, то на командира. Лезвин хмурил брови. Только Подпе并чицын держался иначе: он весь подался вперед и с таким молитвенным выражением на лице смотрел на батюшку, точно слушал откровение самого бога. Отец Пахом разошелся, вдохновился, воображение разыгралось у него. Он старался как можно ярче показать зазорное поведение пьяного монаха и гремел:

— И видит он: идет женщина, хорошо и богато одетая. Под руку ее ведет мужчина. Он — тоже приличный господин. Но спьяну монах ничего не разобрал и подумал грешно об этой честной женщине. А ведь дьявол не дремлет и пользуется тем, что пьяному человеку легче внушить поганые мысли. Посмотри, мол, какая на ней шляпка, какое чудесное лицо под вуалью, от ее тела пахнет дорогими духами. А какие красивые ножки в туфельках...

Командир мигнул старшему офицеру и, когда тот подошел, что-то шепнул ему. Старший офицер на минуту задумался, а потом быстро вышел на верхнюю палубу.

— И взъярился на эту честную женщину пьяный монах,— продолжал батюшка.

Но в это время послышались звуки боевой тревоги. Все бросились бежать по боевому расписанию. И тут же разошлись по сигналу «отбой».

Командир был не в духе. Приказал мне позвать отца Пахома. А когда тот явился, он резко сказал:

— Никаких больше проповедей! Прошу прекратить эти выступления.

Отец Пахом потом жаловался мне:

— Я только что вошел во вкус, а он прекратил. Ну, прямо как Авдей-Злодей.

Пробовал я утешить его, но он только отмахивался рукой.

Подперечицын снова подкатился к нему.

— Командиру не понравилась ваша проповедь, но матросы остались очень довольны. И вот, я думаю, не лучше ли вам заняться с командой духовными беседами. Знаете, для желающих, в вечернее время, по субботам.

Он так горячо начал убеждать отца Пахома, точно от таких духовных бесед зависело счастье самого Подперечицына. И батюшка согласился с ним.

Обсудили и выбрали текст «Несть власти, аще бо не от бога». Доложили старшему офицеру. Тема ему понравилась.

В субботу, в назначенный для беседы час, носовой кубрик оказался битком набит матросами. Пришли и офицеры. Временами заглядывал туда и старший офицер.

Отец Пахом сидел в раздумье и поглаживал свою густую бороду. Потом он встал, дернул себя за наперстный крест и сказал:

— Во имя отца и сына и святого духа, приступим, братия.

Он заговорил о повиновении начальству и о том, что всякое начальство поставлено волей небесной. Выходило это у него вяло и скучно. Матросы начали позевывать. Но старший офицер, который на минуту спустился в кубрик, посмотрел на отца Пахома одобрительно и ушел. Подперечицын обрадовался.

Пахом понемногу начал увлекаться. Чем дальше, тем сильнее гремел его басистый голос:

— Что сказал Христос в нагорной проповеди? Он сказал: любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, а отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку.

У Пахома ощетинились усы и борода, загорелись глаза. Он встряхивал гривой густых волос и продолжал, словно грозный библейский пророк:

— Про кого же это говорил Христос? Кого он имел в виду? Кого вы в душе считаете врагами? Кто ненавидит и проклинает вас? Кто может ударить вас по щеке и не попасть за это к мировому судье? Спрашиваю я — кто? Конечно, начальство ваше...

Матросы радовались таким словам, возбужденно подталкивали друг друга,— правильно, мол, говорит. Подперечицын смотрел на батюшку и в знак согласия кивал ему головой. Остальные офицеры покашливали.

Тут раздался властный голос старшего офицера:

— Время для беседы вышло. Команде разойтись!

Матросы весело расходились, довольные беседой.

Ну, как понять в этом деле Подперечицына? Сам он не признавал ни бога, ни черта. В этом я был убежден. Для чего же тогда притворяться верующим и петь только церковные песнопения? Для чего подводить отца Пахома, этого честного и совестливого человека? У меня создалось такое впечатление, как будто все это проделывал не лейтенант, а озорной бес.

Старший офицер сказал Подперечицыну:

— Зайдите ко мне в каюту.

Ну, говорят, и распек он лейтенанта и приказал ему прекратить дружбу с Пахомом. Батюшка был удручен. Только со мной он иногда отводил душу. По утрам и вечерам он выходил на верхнюю палубу и читал перед обеими вахтами судовой команды положенные молитвы. Он благословлял матросов, по-монашески кланялся им и уходил в свою каюту, где погружался в чтение пяти томов «Добротолюбия».

Еще один произошел случай. После него все думали: отцу Пахому конец, отплавал, мол, на кораблях. В воскресенье командир распорядился начать обедню, а сам каким-то судовым распорядком надолго задержался на верхней палубе. Покончил он со своими делами и вместе с боцманом начал спускаться по трапу. А этот трап у нас расположен недалеко от иконостаса сборной церкви. Командир, очевидно, был очень расстроен. На боцмана ли он рассердился, или еще на кого, но только в церкви многие явственно услышали его ужасные ругательские слова. А главное, он как бы отвечал на возгласы священника. Старший офицер беспокойно задергал плечами. Офицеры заулыбались, матросы начали сморкаться, а Подперечицын просиял весь, точно получил богатое наследство.

Отец Пахом побледнел и сверкнул глазами. Вдруг он высоко поднял крест, сделал только два шага и остановился. И все услышали его громогласный выкрик:

— Замолчи, нечестивец!

Офицеры и матросы были поражены смелостью отца Пахома.

Наступил самый напряженный момент. Лица у всех стали серьезные. Все смотрели на командира и ждали, как ждут после сильной молнии удара грома. Но Лезвин прошел вперед и стал на свое место, впереди офицеров, как будто ничего не случилось.

— Продолжайте дальше богослужение.

Отец Пахом точно опомнился от кошмарного сна. Из его уст, как это обычно у него выходило, полились заунывные возгласы.

Вечером, за выпивкой, я осторожно начал хвалить отца Пахома. Командир прервал меня:

— Зря стараешься, Захар. Если бы наш поп и не такой был хороший, как ты говоришь, я все равно не стал бы его преследовать. Сам я виноват. Лучше налейка мне перцовки. Эта водка благоприятно действует на пищеварение.

Вот как все дело обернулось,— потому что умный и справедливый был командир.

Я плохо спал эту ночь, взволнованный рассказами своего старого друга Псалтырева. Воспоминания о прошлом охватили меня. Я лежал с закрытыми глазами, и передо мной одна за другой возникали картины пережитого. Вспоминались даже незначительные случаи из той далекой жизни. Но ярче всего видел я коренастую и сильную фигуру самого Захара Псалтырева. В полудреме я слышал его голос, рассказывающий различные случаи из своей жизни. Этот человек, вышедший из гущи народа, благодаря своему природному уму, любознательности, труду и упорству достиг той цели, которая в дни его юности и самому ему казалась недостижимой. Революция помогла ему выявить свои врожденные таланты, она открыла ему широкую дорогу, идя по которой вестовой Захар Псалтырев превратился в капитана 1-го ранга Захара Петровича Куликова. Я думал и о том, сколько в нашем флоте новых людей, занимающих высокие командные посты, людей, вышедших из рабочих семей, из далеких глухих сел и деревень. Я с нетерпением ждал следующего дня, чтобы услышать рассказы Кули-

кова об его участии в гражданской войне. Мне очень хотелось знать, за что он получил ордена, где и при каких обстоятельствах был ранен. Зная его смелость и твердый характер, я не сомневался в том, что немало подвигов совершил он в то далекое кипучее время, ставшее теперь уже историей.

Летняя ночь неслышно плыла над морем, на смену ей уже приходило утро. Я уснул, когда стекло иллюминатора начало светлеть от нарождающейся зари.

Но следующий день опрокинул все мои ожидания. Я получил телеграмму: неожиданные и срочные дела вызывали меня в Москву. Когда я сообщил об этом Куликову, он разочарованно развел руками:

— Ну вот... А я думал, что ты поживешь... Столько лет не видались и так скоро расстаемся.

Он был искренне опечален. Я поспешил утешить его:

— Мы расстаемся ненадолго, и теперь мы уже не потеряем друг друга.

Мы вместе позавтракали в салоне. Я подарил ему несколько своих книг, сделав на них дружеские надписи. Мне приятно было видеть, что этот скромный подарок растрогал Захара Петровича. Крепко пожимая мне руку, он благодарил меня и говорил:

— А чем я могу отдарить тебя?.. Хотя... Подожди!..

Куликов ушел в каюту и спустя несколько минут вернулся с тоненькой и потрепанной книжечкой в руках. Он заложил руки за спину, как бы пряча от меня книжку, и сказал:

— Я хочу подарить тебе то, что очень дорого мне, что напоминает мне мою юность, любовь и первые годы нашей дружбы.

И он протянул мне книжку. Это была грамматика.

— Эту грамматику мне принесла Валя, когда я был еще вестовым, и помогала изучать ее. Помнишь, когда-то я рассказывал тебе, как ночами я сидел на кухне и зубрил грамматические правила. Иногда Валя диктовала мне, а я писал. Эта грамматика помогла мне объясниться в любви с будущей моей женой. Когда я впервые поцеловал ее, то от счастья у меня слезы навернулись на глазах. Я так растерялся, что не мог сказать ни одного ласкового слова и только выпалил невпопад: «А грам-

матику я обязательно одолею!..» Как видишь, я сдержал свое слово. А книжку эту сохранила Валя, как воспоминание о тех далеких днях.

Меня растрогал этот подарок не меньше, чем мои книги растрогали командира. Я бегло перелистал потрепанные страницы с помеченными и подчеркнутыми карандашом строками — этой первой ступени лестницы, по которой упорно и настойчиво поднимался Захар Псалтырев. Я сказал взволнованно:

— Лучшего подарка ты не мог мне сделать!

Катер увозил меня от линкора. Обернувшись, я смотрел на стальную громаду и видел там, на мостике, крепкую фигуру капитана 1-го ранга Куликова. Он махал мне руками...

Вокруг расстилалось море, играющее золотыми всплесками под лучами солнца, море, которое так же близко мне, как и земля родины, которое всегда волнует меня и пробуждает во мне самые лучшие чувства,— море, которое я никогда не перестану любить...[1]

---

[1] На этом обрывается вторая часть романа, оставшегося незаконченным.

Два друга



РАДОСТНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ

Недалеко от города, ярко пестреющего в июльском зное зеленью деревьев, золотом церквей, железными и тесовыми крышами домов, вдоль отлогого берега реки одиноко шел человек. В его походке чувствовалась твердость двадцатипятилетнего мужчины. Под ногами шуршала галька. Левой рукой он поддерживал связку удилищ на плече, а в правой нес ведерко из-под наживки и рыбу; нанизанная на шпагат, она сверкала чешуей, как длинные и гибкие слитки серебра. Парусиновые штаны и такая же толстовка с широкими карманами не стесняли его движений. Встречный ветерок на миг отгонял зной и ерошил на обнаженной голове вьющиеся волосы, черные, с синеватым отливом, как весеннее перо тетерева-косача. Смуглое, с крупными чертами лицо выражало здоровье и силу.

Это был художник Степан Романович Басыгин. Весною он кончил Академию художественных наук и, вернувшись на родину, в Сибирь, дни и ночи проводил среди дикой природы. Сейчас он с рыбной ловли возвращался домой и чувствовал себя отлично. Его узкие и цепкие глаза не отрывались от реки: изумительна была игра вод, позолоченных полуденным солнцем. Где-то на юге, за тысячи верст, родилась она мелкой и узкогрудой речушкой. Другие вливавшиеся воды постепенно расширяли и углубляли ее, возле этого города река была широка и быстроходна. У художника, смотревшего на нее, складывался в мозгу образ: голубая и ослепительно сияющая змея пробирается через огромнейшие сибирские

просторы. Извиваясь, она перерезала степи и долины, вторгалась в тайгу, раздвигала каменные утесы и мчалась дальше, к Ледовитому океану.

Проходя мимо затона, художник завернул к плотам. Зачем? Об этом он не думал. Поздоровавшись с плотовщиками, он подсел к ним на бревна. Закурили и понемногу разговорились. Степан Романович внимательно всматривался в загорелые лица собеседников. У него уже создавалась привычка по внешним чертам изучать характер человека. Плотовщики недоверчиво косились на этого странного человека. Вдруг послышались скулящие звуки. Художник, оглядываясь, спросил:

— Собачонка, что ли?

— Щенок наш, Буек,— ответили ему.

Художник, страстный охотник и любитель собак, заинтересовался щенком и обшарил взглядом плоты. Ничего не заметив, он спросил:

— Да где же он?

Оглянулись и плотовщики. Один из них, постарше, лысый, желтобородый, сказал:

— А и вправду нет его. Визжит, а самого не видно.

Все бросились на звуки щенка. Кто-то заметил просунутую между разъединившимися бревнами мордашку. Щенок жалобно скулил, как бы прося помощи. Оказалось: играя, он свалился в воду и попал под бревна. Как вытащить Буйка? Голова его не проходила между бревен. Один из плотовщиков сквозь щели поддерживал попавшего в западню щенка. Остальные загалдели, горячо обсуждая, как его спасти. Художник молча стал раздеваться. Все посмотрели на него с недоумением, как на юродивого. А желтобородый старик, пугливо мигая глазами, предупредил:

— Осторожнее, парень. Тут глубоко. Придется под плоты нырять сажени на две. Долго ли до греха? А тогда отвечай за тебя! Давай-ка лучше обвяжем тебя, милчеловек, концом веревки. Оно надежнее будет.

Художник бросил в ответ:

— Ерунда! Я плаваю хорошо. И ныряю неплохо.

Он смело погрузился в прохладную воду и, еще раз взглянув на человека, поддерживающего щенка, скрылся под плотами. С детства у него сохранилась привычка нырять с открытыми глазами. Под плотами было темно.

Только кое-где просвечивали узкие солнечные полоски. Левой рукой он перебирал, словно считая, бревна над головою, а правой выгребал, работая при этом и ногами. Изумрудно-золотистая полоса света засияла сильнее. В ней обозначилась шевелящаяся тень. Это болтал ногами щенок. Художник схватил его одной рукой и, погрузившись глубже, чтобы не удариться головою о бревна, нырнул в обратный путь.

Плотовщики испуганно ждали, разинув рты и затаив дыхание. Странный человек с черными длинными волосами исчез и не показывался. Прошло, может быть, не больше минуты, но у людей, внимание которых напряжено, создается преувеличенное представление о времени. У каждого из них мелькала мысль об ответственности. Не утонул ли он? Поэтому все очень обрадовались, когда художник, держа в руке Буйка, показался на поверхности реки. Подплывая к плотам, он тяжело дышал. Плотовщики прониклись к нему таким уважением, что помогли ему забраться на бревна. Он начал одеваться, а они, обступив его, качали головами и говорили:

— Ну, брат, ты и чудила. Разве можно так рисковать?

— Я бы за пятерку не полез.

— Хоть бы щенок был дельный. А то так себе — рвань какая-то. Черт с ним совсем — пусть тонет.

— Да и надоел он нам. По всей ночи скулит. Спать не дает...

Художник осмотрел Буйка: действительно, он был какой-то нескладный и очень худой. Под мокрой прилипшей шерстью проступали ребра. Дрожь током пробегала по всему его хилому телу. Он ошалело крутился, отряхиваясь, фыркая и не переставая скулить. Спаситель его, проникаясь к нему еще большей жалостью, обратился к плотовщикам:

— Отдайте мне щенка.

Желтобородый старик ответил нехотя:

— Отдать можно. Только вон как ребята.

Остальные сразу замолчали, опустили головы.

— Вы все равно не стали бы спасать своего Буйка.

— Да ведь это неизвестно,— сказал один из плотовщиков и посмотрел вдоль реки, туда, где через нее ажур-

ными переплетами перекинулся железнодорожный мост.

Художник настаивал:

— Сами же вы сказали, что щенок никуда не годится.

— Да это кто-то сдуру ляпнул. А по правде — из него должен выйти хороший кобель. Захудал он у нас без молочка.

— Ну как тут вас понять? — рассердился художник.— Только что я слышал от вас: щенок надоел нам, не дает по ночам спать своим скуленьем.

— Привыкнет — перестанет скулить,— равнодушно ответил кто-то.

Желтобородый старик заискивающе посмотрел на художника, посоветовал:

— Ты вот что, мил-человек, дай-ка ребятам на табачок целковый и забирай Буйка. Каяться не будешь. Щенок, видать, из породистых собак. Не иначе, как от лайки происходит.

Басыгин заплатил назначенную сумму. Плотовщики повеселели и на его расспросы рассказали ему, откуда и при каких обстоятельствах они достали щенка. А когда он, захватив Буйка, сходил с плотов, на него все посмотрели, как на чудака, не знающего цену деньгам.

На горячей гальке художник задержался, пока щенок не обсох. Согревшись, он начал ласкаться к своему спасителю. На плотах Буйка, очевидно, не баловали: он опаршивел. Но что-то благородное было в выражении его коричневых глаз. Художник погладил его по костлявой спине и сказал:

— Ого! В твоих глазах много огня. Это хороший признак, дружище. Поэтому отныне ты будешь носить другое имя: Задор. Оно больше к тебе подходит.

И Басыгин с новым другом пошел домой.

В РАЗЛУКЕ

Комната художника Басыгина была просторная, в два окна, из которых одно выходило на восток, другое — на полдень. Вся мебель состояла из одного простого стола, трех венских стульев и одной старой железной кровати. На полках, прикрепленных к задней стене, были расставлены сотни две потрепанных книг. В переднем углу стоял ящик с красками, палитрой и набором всевозможных кистей. Над кроватью висели двуствольное центральное ружье, патронташ и брезентовая охотничья сумка. Самого художника не было дома.

У двери, на разостланном мешке, положив голову на передние лапы, лежал серый щенок, купленный случайно на плотах. Он был чисто вымыт зеленым мылом. Новый хозяин кормил его теперь аккуратно, давая ему через каждые три-четыре часа порцию молока с примесью небольшого количества хлеба. Несколько дней прошло, как его вселили в эту комнату, а он все еще никак не может привыкнуть к новой обстановке. Широкий его лоб с белой звездочкой то и дело морщился от мрачных раздумий, а коричневые, чуть прищуренные глаза наливались тоской. За короткое время такие крутые перемены произошли в его молодой, начинающейся жизни. Труднее всего было примириться с отсутствием матери.

Недавно еще, каких-нибудь три недели назад, он жил вместе с братьями и сестрами верст за триста от города, на кордоне, во дворе, под крыльцом, в пахучей постели из сена. Кто был у него отец? Ему и в голову не приходили такие мысли. Но мать, Лыску,— эту красави-

цу в серой атласной шерсти, остроухую, с белым пятнышком на лбу, с добрыми карими глазами,— разве можно когда-нибудь забыть? Она так заботливо относилась к своим детям и первое время почти не разлучалась с ними. Когда стояли еще холода, приятно было прижаться к ее теплому телу. Один только запах, исходивший от нее, обнадеживал его и радовал. А стоило, бывало, прильнуть к сосцу, как в него начинала вливаться теплая, чуть-чуть сладковатая, необыкновенно вкусная струя молока, немного опьяняя голову.

До двенадцати дней он был слеп. Но и тогда уже ему хотелось скорее познать мир, погруженный во мрак, познать хотя бы одним только чутьем. Он чаще, чем его братья и сестры, уползал из гнезда. Но вдруг, опомнившись от увлечения, он начинал понимать свое одиночество. Куда его занесло? Холод покалывал тело, страх сжимал сердце. Щенок, дрожа, жалобно скулил. Но мать всегда в такие моменты откликалась нежным повизгиванием, призывая заблудившегося сына к себе. И случалось, что в волнении он не мог разобрать, откуда, с какой стороны исходил знакомый голос, и уползал от гнезда дальше. Тогда мать сама подходила к нему, бережно брала его в пасть и относила к братьям и сестрам.

Из пяти щенят только один был с белой звездочкой на лбу. На это обстоятельство сразу обратил внимание старый лесник, хозяин Лыски. Каждый день в свободное время он вместе со своим внуком, подростком Илюшей, наблюдал за молодым собачьим потомством. О чем говорили эти люди, щенята не понимали, но их удивляли человеческие голоса, странные и загадочные, совершенно не похожие на собачий лай.

— Можно всех распродать, а этого, с белой звездочкой, оставим для себя. Вылитая мать! И такой же будет охотник. Из него выйдет славный пес. Заблудиться мне, Павлу Родионову, в своем собственном лесном обходе, если только я ошибаюсь. Обрати, внучек, внимание — он самый крупный из всех щенят. Вероятно, первым родился. А заряд-то какой в нем заложен! Всегда он наверху других находится. Мать сосет лучше всех. И резвостью бог не обидел его. Мы назовем его Шустрым. Ты согласен, внучек?

Старый лесник, ухмыляясь в рыжую бороду, добродушно поглядывал на Илюшу, а тот, во всем соглашаясь с ним, восторженно отвечал:

— Согласен, дедушка. Мне он тоже нравится больше всех. Осенью белковать буду с ним.

— У нас дело пойдет. Ты на охоте с одной собакой, я — с другой. Вдвоем мы добудем пушнины пропасть.

Старый лесник, желая показать свое знание перед внуком, брал щенят из гнезда и относил их в сторону. Лыска бросалась к своим детям и первым брала Шустрого, относя его обратно в гнездо. Потом уже проделывала то же самое с остальными.

— Видал? — спрашивал лесник, обращаясь к Илюше.— И у матери Шустрый на первом месте. Верный признак — самый лучший щенок.

Потом не в первый уже раз заглядывал в насильно разжатый рот Шустрого, считая поперечные рубцы на нёбе, стараясь по ним определить охотничьи задатки будущей собаки.

— И тут все ладно. Пес будет на славу.

Проходили дни, недели. Щенята подрастали, крепли. Можно было уже не ползать, а ходить на своих собственных ногах. Давно открылись глаза, с удивлением рассматривая маленький полумрачный мирок под крыльцом. Но вот наступило время, когда Лыска вывела своих детей на просторный двор, обнесенный высоким забором. В глаза ударило буйным светом весны. Кое-где была еще прохладная грязь, но сверху обдавало теплом. Шустрый, подняв мордашку, впервые заглянул в голубую высь и на мгновение замер — там нечто так блестело, что трудно было смотреть. Однако его чуткие ноздри ничего не улавливали с неба, а между тем земля была полна всевозможных запахов, и это привлекало его больше всего. Нужно было во всем разобраться. Он вместе с братьями и сестрами вопросительно обнюхивал каждый предмет.

С каждым днем становилось все теплее. Грязь наружe подсыхала. Лыска со своими детьми с раннего утра и до позднего вечера находилась теперь на дворе. О, это было самое блаженное время! Можно было порезвиться вдоволь. И сама мать принимала участие в играх детей, вырабатывая в них ловкость. Она отбегала от них

на некоторое расстояние и внезапно ложилась на землю. Щенята гурьбой бросались за ней, возглавляемые всегда Шустрым. И в тот момент, когда уже можно было в шутку схватить ее зубами, она вдруг отпрыгивала в сторону. Щенята проносились мимо. Иногда Лыска, уносясь от них, припадала к земле перед самым их носом, поперек их пути, а они, не рассчитав своего бега, кубарем катились через нее, сталкиваясь друг с другом. Тогда между ними начиналась возня, пускались в дело зубы, слышались угрожающие рычания. Но от этого никому не было больно — укусы были несерьезные, и, кроме того, пушистая шерсть предохраняла каждого щенка от нанесения ран. Другое было дело, если схватят за губу или за ногу. У потерпевшего невольно вырывался плаксивый визг. Но сейчас же подбегала мать и отбрасывала в сторону того, кто нарушал правила собачьей игры.

Наигравшись, щенята вместе с матерью ложились на солнцепеке и дремали в том блаженном состоянии, которое всегда бывает после усталости. Лень было даже поднять голову на крики журавлей, проносившихся низко над кордоном. Хотелось спать. И только неимоверная любознательность заставляла молодняк открыть глаза и следить за полетом пернатых вестников весны.

Первое время, попадая в руки человека, Шустрый немного беспокоился. Но тут же находилась его мать, с любовью поглядывая и на него и на своих хозяев. Кроме того, эти люди ласкали его, поглаживая по шерстистой спинке или почесывая за ухом. А это было настолько приятно, что невольно жмурились глаза. Постепенно он привык к человеческим лицам и каждый раз при встрече с людьми испытывал необычайную радость.

Мир, как оказалось, не оканчивался только одним двором. Лыска вывела своих детей за пределы забора. Был сумрачный и ветреный день. Глухо шумела тайга и угрожающе качала вершинами деревьев. Получалось впечатление, что лес наступает на кордон. Это настолько было ново, что Шустрый сразу лишился обычного своего мужества. Он принизился и, шевеля висячими ушами, хрящи которых не успели еще затвердеть, пугливо поджал хвост между ног. Не вернуться ли ему на двор? Но мать находилась здесь же, не проявляя ни-

какой тревоги. Значит, бояться было нечего. А через неделю-другую его неудержимо тянуло в тайгу, в ее таинственные и загадочные дебри. Где кончаются ее пределы? Все здесь возбуждало интерес. Стучали дятлы, ворковали тетерева, пели на разные голоса маленькие пичужки, прославляя приход весны. А главное, как освоиться в таком разнообразии запахов? Каждый цветок, каждая травка, каждое дерево, каждый след, будь то заячий, беличий или лисий, имел свой особенный запах.

Саженях в пятидесяти от кордона протекала широкая река. Впечатление от нее было не менее потрясающее, чем от леса. Она так заманчиво сверкала, что Шустрому хотелось побегать по ней, поиграть, покувыркаться со своими братьями и сестрами, но в то же время вода пугала его. Он приближался к берегу осторожной и вкрадчивой походкой и, потягивая чуткими ноздрями воздух, собирал на лбу морщины. Недалеко, направо, ниже по реке, работали люди, скатывая бревна в воду и связывая их в плоты. Конечно, ему не были понятны ни действия этих рабочих, ни их выкрики, но все явления жизни он старался отметить в своей молодой голове. Слева послышался странный стук, который с каждой секундой приближался и усиливался, рассыпаясь по тайге шумливым эхом. И вдруг из-за мыса, поросшего ельником, показалось здание, похожее на кордон, в котором живут его хозяева. Оно дымило огромной трубой и, вращая колесами, быстро неслось по течению. Шустрый был поражен таким зрелищем. Острая мордашка его, вдруг повернувшись, оглянулась назад — не уплывает ли вот так же и его кордон? Нет, все оставалось на месте.

С этих пор Шустрого постоянно тянуло к реке. Иногда, не выдержав, он один выбегал на берег. Нужно же было посмотреть, как чайки, ничего не боясь, садятся на поверхность воды, как на отмелях в прозрачных струях табунками плавают рыбешки, как люди переправляются на лодках на противоположную сторону суши. Все здесь вызывало восторг в собачьем уме...

По мере того как подрастали щенята, материнского молока им стало не хватать. Зато их подкармливали остатками с хозяйского стола. Это было не так плохо.

А сама Лыска, истощенная, теперь чаще, чем раньше, отгоняла их от своих чрезмерно оттянутых сосцов. Но забота о детях у нее не исчезла. Она убегала далеко в лес и, рыская в глухих зарослях, промышляла охотой. Дети ждали ее с большим нетерпением, ибо не раз она возвращалась домой с зайчонком в пасти. Тогда для них наступало настоящее торжество. Щенята с жадностью набрасывались на зайчонка, сладостно вонзали острые, как шило, зубы в молоденькое, не успевшее еще остынуть мясо и с глухим рычанием, захлебываясь и ощетиниваясь, рвали его на части.

Да, веселое было время. Шустрый каждый день встречал, находясь в самом восторженном настроении. Но он и не подозревал, какие каверзы ожидали его в жизни. Однажды, сгорая от любознательности, он вышел к реке один. Потом ему захотелось приблизиться к плотовщикам, чтобы лучше рассмотреть, чем занимаются эти люди. Это случилось после обеда, как раз в то время, когда рабочие, вооружившись длинными шестами, начали отталкивать плоты от берега на середину реки. Щенок, как всегда, смотрел на них изумленными глазами. Несколько раз он даже тявкнул, но не от злобы, а так себе — для приличия. Один молодой парень заметил его, сейчас же спрыгнул на сушу и ласково поманил к себе. Инстинкт предосторожности подсказал Шустрому, что надо на всякий случай отступить от приближающегося парня, но тот в этот момент зачмокал губами. А эти звуки всегда связывались у щенка с приятным сосанием матери. Он доверчиво завилял хвостом, подпуская к себе человека. Не было особой тревоги и тогда, когда он очутился в чужих руках — привык к этому. Но вдруг он заметил, что между берегом и плотами образовалось водное пространство, и с каждой секундой оно увеличивалось. Мало того, кордон вместе с огородами и окружающим лесом начал удаляться. Смутное беспокойство охватило щенка. Он рванулся, но человеческие руки стиснули его крепче. Пришлось заскулить, чтобы разжалобить двуногое существо. А плоты тем временем, спускаясь вниз по течению реки, постепенно, наискосок, приближались к середине ее, на стрежень. На берегу показалась серая собака с острыми стоячими ушами. Шустрый сразу узнал в ней свою мать и громко заплакал,

призывая ее на помощь. Она сейчас же откликнулась ему голосом, полным горя и отчаяния, и в безумстве заметалась по суше. Вслед за этим произошло то, что заставило его сразу замолчать и в ужасе раскрыть глаза. Раньше он не раз наблюдал, как чайки садились на реку и плавали по ней. Но то были птицы. Они и по воздуху могут плавать, размахивая большими крыльями. Но как могла решиться его мать на то, чтобы броситься в воду! Высунув под поверхностью только голову и подвывая, она быстро удалялась от берега. Расстояние между плотами и ею все сокращалось. Это радовало щенка, и в то же время нельзя было избавиться от надвигающегося предчувствия чего-то страшного. Предчувствие это скоро оправдалось. На плотах вдруг поднялся галдеж:

— Она перекусает нас всех!

— Не давай ей вылезать на плоты!

— Бей ее, стерву!

Щенок не понимал, что эти выкрики относились к его матери. Он только видел, как человек, находящийся на заднем плоту, поднял длинный шест. Лыска, несмотря на угрозу, упорно гналась за сыном. Оставалось преодолеть каких-нибудь полторы сажени, и она была бы на плотах. Но в это время шест обрушился на ее голову. На момент она погрузилась в воду, захлебываясь, но тут же снова показалась на поверхности и, оглушенная, закружилась на одном месте. Потом направилась к берегу, оглашая реку воплями нестерпимой боли.

Шустрый понял, что разлука с матерью совершилась. Он сам завизжал благим матом и, вырываясь, начал кусать своего противника. Но рука перехватила его пасть и сжала так, что нельзя стало дышать. Перед глазами, помутившимися от слез, померк весь белый свет.

ОПРОКИНУТОЕ ДЕТСТВО

Художник родился в сорока верстах от города, в одинокой заимке, на берегу небольшой речушки Завитухи. Там прошли и первые годы его детства. Тогда мальчика звали сокращенно: Степа. Отец его, помимо хозяйства, промышлял охотой и рыбной ловлей. Это был коренастый и плотный мужчина, светлобородый, с неторопливой походкой вразвалку. Мать, дородная и круглолицая женщина, заботливо справляла домашние работы. Была еще сестра Феня, белокурая, с васильковыми глазами девочка, на полтора года моложе Степы. Жили хорошо — водились лошади, коровы, свиньи, овцы.

За пять лет Степа сроднился со своей заимкой. Зимой здесь не было жизни. Реки и озера сковывались толстым слоем льда, засыпались снегами. Лишь одна тайга, возвышаясь темно-синей стеной, несколько оживляла унылую картину зимнего однообразия. В трескучие морозы щипало уши и, словно ногтями, царапало щеки. Временами по нескольку суток подряд свирепствовала пурга, завывая в трубе. Тогда ничего нельзя было разглядеть в крутящейся снежной мгле. На заимке жарче топили печку. Мальчик играл с сестрой Феней. Из древесной коры он делал лодки или мастерил из лучины ружья и, подражая отцу, представлял собою лесного охотника. Сестренка звонким смехом одобряла выдумки брата.

Поздней осенью и в продолжение почти всей зимы отец часто уходил в тайгу. Две черные лайки всегда сопровождали его на охоте. Редко он возвращался домой без дичи. Степа с интересом рассматривал мягкие пу-

шистые шубки белок и колонков. В руках у него побывали норки, хорьки, куницы. Иногда отец приносил убитого глухаря. Мальчик особенно восторгался этой тяжелой птицей, в темном оперении, с сизым отливом на груди, с мохнатыми ногами, с желтым загнутым клювом. Величиной она казалась больше сестренки. Привозились из тайги и сохатые с величественными рогами. Однажды отец пропадал на охоте три дня и вернулся домой с победоносным видом. Сейчас же была запряжена лошадь в сани. Мать тоже собралась ехать с ним. Дети оставались дома одни. Отец, хлопая по плечу мальчика, сказал:

— Ну, Степа, оставайся за хозяина. Мы ненадолго. Гостинец я тебе привезу.

Мать свое говорила:

— Не дурите. Да Феню не забудь накормить. Убоина в столе. Слышишь, вертун? Да из посторонних никого в дом не пускай. Запри двери на задвижку. Засветло будем.

Мальчику казалось, что от такого поручения он стал выше ростом.

— Ладно.

В его голосе прозвучала уверенность.

Обратно родители вернулись к вечеру. Степа, наскоро одевшись, выскочил на двор. То, что он увидел, поразило его детский ум. В санях лежал медведь, огромный, черно-бурый, клыкастый, с чудовищными лапами. Не верилось, что отец мог свалить такого лесного великана. Мальчик запрыгал, завизжал от радости.

— Хорош гостинец, а? — спросил отец, посмеиваясь.

Степа задавал один вопрос за другим:

— Тятя, а где медведь живет? А какой у него дом? А как ты его убил?

Рассказывать на морозе было некогда. При помощи веревки и рычага закоченевшего медведя едва втащили в избу. Потом отец, ловко работая ножом, снимал с оттаявшего медведя шкуру. А когда оголенная туша была разрублена на части, то в ней нашли две пули: одна оказалась в черепе, другая, пройдя через грудь, застряла в хребте. Пули были расплющены, но отец бережно завернул их в тряпки и положил в сундук.

— Перелью — будут круглые. Счастливые.

В этот же вечер мать состряпала на тагане из медвежатины и кислой капусты вкусную солянку. Ели ее до отвала. Все стали потными.

После ужина отец рассказывал об охоте. Он все знал о зверях и птицах, о жизни их и повадках. Зайцев он ловил проволочными петлями, лис — капканами, белых куропаток — сетями на привадах. Слушать его было хорошо. Степа все больше вникал в подробности охоты. В этот незабываемый вечер он особенно был возбужден. Речь шла о только что добытом медведе. Сука Цыганка первая нашла косолапого в берлоге и громко залаяла. Кобель Лихой сразу понял, что его подруга разыскала не белку или куницу, а более крупного зверя, и помчался на лай. Лес зазвенел от собачьих голосов. Медведю, видно, не хотелось выходить из своего зимнего жилья — он сердито зарычал. Но разве отстанут лайки? Входя в азарт, они становились все смелее и, казалось, готовы были ворваться в берлогу.

— Не выдержал косолапый их назойливости и выкатился из берлоги, как из-под земли. И увидел я: будто и не зверь, а черный мохнатый шар. Взяли его тут наши собаки в оборот. Хотел он удрать, а Цыганка хвать его за штаны зубами — стой, миляга! Он бросился на нее, а она, как молния, метнулась в сторону. Сию же секунду Лихой вонзил ему зубы в ляжку — подожди малость, дружок, куда торопиться. Пошла потеха. Я стою за деревом, ружье держу наготове. Выстрелить никак нельзя — собаку можно застрелить. Туда, сюда метался медведь — нет ему ходу. Прижался спиною к толстому кедру, встал на задние лапы и как заревет! Кажись, вся тайга застонала. Я ему в этот момент пулю — прямо в грудь. Он кувырк. И пополз на задних лапах. А собаки, как пиявки, вцепились в его зад. Я забежал сбоку и еще разок саданул пулей в череп. Словно пришил к земле. Больше не будет рвать нашу скотину...

Степа слушал отца с жадностью. Его черные глаза, загораясь, блестели юным задором, охотничьей страстью. Отец казался ему необыкновенным человеком: он все может сделать и ничего не боится. И мальчику хотелось поскорее быть взрослым. Так же вот, захватив с собою ружье и собак, он будет ходить по таежным лесам.

Степа встречал пятую весну своей жизни. Это время года больше всего ему нравилось. Земля, освободившись от снегов, начинала покрываться молодой зеленью. По целым дням можно было бегать и резвиться вне дома, на просторе, под солнцем. Озера, кустарники, тайга и вся окрестность оживали от пьяного гомона поющих прилетных птиц. Вокруг заимки много было озер. Одно из них — Гусиный Притон — особенно славилось водоплавающей дичью. Площадью оно было не меньше двух квадратных верст. Озеро имело несколько небольших островков, местами поросло кустарниками и камышами, от краев его расходились излучины и протоки с непролазной топью. Здесь водились не только гуси, но и лебеди, а уток разных пород было несметное количество. Поражало мальчика и обилие всевозможных рыб. В эту весну он изредка бывал на Гусином Притоне с отцом. Усевшись в лодку, они на утренней заре плыли по зардевшейся поверхности озера. Отец убивал дичь из шалаша, выкинув на воду для приманки домашнюю круговую утку. Иногда приходилось стрелять и с подхода и влет. После каждого удачного выстрела мальчик возбужденно вскрикивал. Добыча складывалась в лодку: кряквы, шилохвость, широконоски, крохали, чернеть, чирки. А когда солнце поднималось над горизонтом, плыли к сетям, поставленным на ночь около камышей. Степа с любознательностью следил, как выбирались в лодку сети и как, запутавшись в тонкие нитяные ячейки, трепыхались золотистые караси, красноперые окуни, серебристые язи и другие рыбы. Возвращались домой счастливые.

Не плохо еще было спуститься вниз по берегу Завитухи. Через полверсты она впадала в широкую и могучую реку. По этой реке, стуча колесами, иногда шли пароходы. Всякий раз мальчик жадными глазами провожал их, пока они не скрывались за изгибом берега. Детскому воображению рисовались тогда сказочные страны, манящие своей таинственностью.

Так жил Степа в глуши лесов, беспечный и сияющий, как мотылек, перепархивающий с одного цветка на другой. С каждым днем обогащался ум новым впечатлением. Никогда и в голову не приходило, что в его жи-

зни произойдет перемена, неожиданная, как обвал подмытого берега.

Помимо родной семьи, Степа еще любил сестру матери — тетю Варю. Она проживала далеко в городе. Заимку она навещала раз в два-три месяца. Это была молодая женщина, одетая по-городскому, невысокого роста, тонкая, с миловидным лицом. Большие синие глаза ее часто были грустны. Но при встрече со Степой она порывисто бросалась к нему и, обнимая его, горячо целуя, радовалась, как девочка.

— Мой славный Степочка! Ты жив, здоров? Черноглазый мой карапузик. Я давно собиралась к тебе. Как я рада! А ты?

— И я все дожидался тебя, тетя Варя.

Она крепче прижимала его к своей груди, целовала. От ее лица хорошо пахло мылом, как от цветов. Обласканный, мальчик счастливо улыбался. А главное, он всегда получал от нее какой-нибудь подарок: конфеты, пряники, штанишки или цветистую рубашку. Поэтому каждая встреча с тетей Варей превращалась для него в праздник. Но его удивляло, о чем это она таинственно шепталась с матерью и порой так горестно плакала. Иногда до его слуха доходили отрывки их шепота:

— Перестань, Варя, убиваться. Свет не клином сошелся. Если что — ты еще молода. Твое счастье впереди.

— Ох, Настенька! Нет больше моей моченьки ждать его. Дорогая сестрица моя! Если бы только знать, что он скоро вернется...

— Ведь сама же ты говорила — он клятву дал.

— Да, а когда это будет?

— Обязательно будет, коли крепко занозила его сердце...

В эту пятую весну, в конце мая, гуляя однажды с тетей Варей на берегу большой реки, мальчик неожиданно спросил:

— У тебя муж есть?

Тетя Варя строго сдвинула брови:

— Есть, Степочка, есть. Только далеко живет — в Москве. Маляр он. Дома красит.

— А детей сколько?

— Один только мальчик... Хорошенький, черноглазый, на тебя похож...

— Когда привезешь его с собою?

— Когда-нибудь... покажу его тебе. Непременно. Вот увидишь...

Голос ее вдруг оборвался. От слез, словно озерки под тенью облаков, потемнели синие глаза. Она платком закрыла лицо и передернула плечами. Степа слишком был мал, чтобы понять свою любимую тетю, но чувствовал — какое-то горе скрутило ее сердце. Он задумчиво смотрел на ее согнутую фигурку.

Кое-что смутно выяснилось для него в августе, когда на обширных лугах, словно избы, выросли стога сена. Ведреный день, казалось, выше приподнял голубое небо. Степа с матерью только что вернулись из тайги с душистой малиной. Он первый увидал подъезжающую к заимке подводу, в которой сидели двое. Он стремглав бросился к матери и воскликнул:

— Смотри, тетя Варя и какой-то дядя к нам едут!

От матери мальчик побежал к озеру за отцом, который собирал там просохнувшие рыболовные сети. Пока отец и сын возвращались домой, лошадь уже была распряжена. Мать, тетя Варя и бритый черноусый дядя стояли около подводы, весело посмеивались. У мальчика радостно заискрились черные глаза. Тетя была неузнаваема: в новом платье, с голубым платком на голове, лицо как-то необыкновенно сияло. Она бросилась целовать его. Чужой дядя с улыбкой спросил:

— Так этот самый Степан и есть?

И, подхватив его на руки, высоко подбросил в воздух и закружился с ним, как ошалелый. Степан охмелел от бурных ласк. Почему это сегодня все особенно стали добрыми? Чужой дядя, который и на гостинцы оказался щедрым, сразу понравился ему.

Заимка оживилась, все забегали, заспешили. Отец и мать оделись по-праздничному. Тетя Варя на скорую руку вымыла Степу и нарядила его в казинетовые штанишки и новую рубашку цвета яичного желтка. Сестренка щеголяла в подаренном бордовом платье.

Гости привезли с собою несколько бутылок водки и вина и закуски: копченой колбасы, соленой рыбы, консервов, сушек, пряников. Все это было выставлено на стол, застланный чистой скатертью. Дети получили подарки: Феня — куклу, которая сама закрывала и от-

крывала глаза. Степа — раскрашенную вертушку и жестяной рожок. Началось торжество. За столом мальчик сидел между тетей и дядей, наслаждаясь закусками в то же время зорко наблюдая за всеми. По мере того, как убавлялась в бутылках водка, в избе становилось все шумнее.

— За твое здоровье, Степан! — провозгласил черноусый дядя.

— Да, да, за счастье Степы! — живо подхватили другие.

Дали и ему немного красного вина. Мальчик не понимал, почему это сегодня все смотрят на него так ласково и внимательно, как будто за столом он является главным лицом. Возбужденный, он скалил сверкающие белизной зубы и время от времени вставлял в разговор свои детские замечания, вызывая хохот взрослых. Было необыкновенно весело.

Наконец черноусый дядя, обращаясь к отцу и матери мальчика, деловито заговорил:

— Вижу, парнишка был в руках совестливых людей. Крепышом растет. Спасибо вам, Петр Петрович и Настасья Васильевна, за воспитание Степана.

Родители ответили на это:

— Не взыщите, Роман Николаевич. Чем могли, тем и рады были помочь чужому горю. Да и то нужно сказать: за своего он у нас был, за родного.

Петр Петрович обратился к Степе:

— Ну, парень, вот что я теперь тебе скажу. Как бы это только объяснить тебе. Слушай хорошенько...

Он закусил нижнюю губу, поскреб корявыми пальцами русую бородку и, прежде чем снова заговорить, крякнул. Что-то как будто мучило его. Он показал рукою на Романа Николаевича и Варю:

— Настоящие твои родители-то, кровные, вот кто. А я только твой дядя. Понимаешь? А прежняя мать — тетя Настасья. Понимаешь? Теперь с новым тятей и с новой мамой поедешь в город...

В избе сразу стало тихо.

Степа ничего не понимал и лишь испуганно смотрел на прежних своих родителей, которые почему-то вдруг перестали быть для него отцом и матерью. Он принял бы все это за шутку, если бы то, что ему удалось

услышать, не было сказано так серьезно, с душевным волнением. В тревоге забилось сердце.

Но как можно было объяснить мальчику, что случилось около пяти лет назад? Тогда в последнем периоде своей беременности Варя явилась на заимку, чтобы здесь скрыть свой девичий грех. Два месяца она прогостила у сестры, кормя грудью новорожденного Степу, и рассталась с ним, обливаясь жгучими слезами материнской тоски. А жених ее, Роман Николаевич, заподозренный полицейскими в сношениях с политическими ссыльными, вынужден был скрываться в Москве. Все это выяснил Степа уже после, когда стал юношей. А теперь он надулся, засопел носом и, кривя губы, протянул:

— А я не хочу... Не надо мне нового тятю и новую маму.

Его уговаривали, рассказывали, как в городе хорошо. Сколько разных игрушек! Какие большие дома! Есть и карусели, на которых можно будет покататься. Все это было очень соблазнительно. Он только слышал о городе, но ни разу не бывал в нем. С другой стороны, нельзя было без боли расстаться и с чудесными озерами, и с загадочной тайгой, где всегда немножко жутко, но где растут вкусные ягоды, и с милой сестренкой Феней, щебечущей, как ласточка, и с такими забавными щенятами, родившимися от Цыганки. Ему обещали, что через неделю-другую его привезут погостить на заимку. Он почти согласился на поездку. Но в это время Роман Николаевич вытащил из кармана пачку денег и, отсчитав несколько бумажек, передал их Петру Петровичу.

— Вот вам за все расходы, что потратили на парнишку.

Степа вспомнил, как однажды толстый бородатый купец купил у них корову и повел ее в город. Отец получил за нее много денег. Значит, и его также продали? Он умоляюще посмотрел на прежних своих родителей. Лица их показались ему суровыми. Охваченный ужасом, он задрожал весь и, бросившись ничком на кровать, горько заплакал. Мать и отец, которых он беззаветно любил, отказались от него. Что теперь с ним будет? Кто возьмет его под защиту? А сам он был только ребенком и самому себе казался маленьким, таким беспомощным, как дрожащая на ветке росинка, готовая сорваться на землю.

У НОВОГО ХОЗЯИНА

Через месяц все кости Задора обросли тугим мясом, а кожа покрылась густой серой шерстью. Он стал проявлять необыкновенную игривость и все больше привязывался к хозяину. Началась домашняя дрессировка. Щенок быстро усваивал житейские правила: спать он должен только на определенном указанном месте, нельзя гадить в комнате, без разрешения хозяина нельзя дотрагиваться до пищи. Дальше внушалось ему, чтобы он никого не признавал из посторонних лиц. Достигалось это очень просто: по просьбе художника кто-нибудь из соседей или из знакомых художника подманывал Задора к себе, а когда он приближался к чужому человеку, ласково виляя хвостом, тот хватал его за ухо и давал ему трепку или стегал прутом. Щенок опрометью бросался к хозяину и, жалуясь на обиду, плакал, как ребенок. Художник гладил его по лоснящейся спине и мягко приговаривал:

— Ах, Задор, какой ты глупый! Разве можно доверяться чужим людям?

Однажды утром сосед схватил его и посадил в кадушку, которую плотно накрыл дерюгой. Получился непроглядный мрак. Щенку, вероятно, показалось, что померк весь мир и ему никогда уже больше не видать белого света. Он жалобно заскулил, а потом в течение

целых суток, голодный и объятый ужасом, не переставал завывать. На второй день, когда хозяин выручил его из мрачной неволи, он невероятно обрадовался. С этой поры ни один человек не мог подманить его к себе. Дальше оставалось внушить ему, чтобы он от чужих людей не брал пищу. Художник брал недоваренную кость, закладывал перочинным ножом под слой мяса большую дозу самой крепкой горчицы или уксусной эссенции. Такая кость доставалась Задору через чужого человека. Он набрасывался на нее и глодал ее с большим увлечением. Но какой ужас охватывал его, когда вместе с мясом попадала на язык горчица или эссенция. У щенка, вероятно, было такое ощущение, что его пасть наполнилась огнем, а чуткие собачьи ноздри разрываются на части. И еще хуже становилось, если он вдыхал струю свежего воздуха. Задор начинал метаться, как безумный, фыркая, чихая, мотал головой и нестерпимо взвизгивал, а из его коричневых глаз градом катились слезы. Ему в это время, очевидно, казалось, что наступает смертный час. У художника в таких случаях всегда заранее была приготовлена вода. Он брал щенка на руки, промывал ему пасть и, давая ему пить, журил покровительственным тоном:

— Ах, дуралей! Опять ты нарвался на неприятность.

Успокаиваясь, Задор в знак благодарности лизал хозяину руки.

После нескольких таких уроков он хорошо усвоил, что во всем мире нет у него другого более надежного друга, кроме хозяина. Этот человек делал для него только хорошее — и обласкает, и накормит, и выручит из беды, и облегчит страдания. Поэтому нельзя было не проникнуться беспредельной любовью к хозяину. Время шло. Задор рос, становился умнее. Он знал, что можно было гонять со двора чужих кошек, но со своим черным котом ему полагалось жить в мире, в добрососедских отношениях. И еще одно правило он усвоил: по утрам, пока хозяин не проснулся, нужно вести себя тихо.

Молодой пес неподвижно лежал на полу, положив морду на передние лапы. Но стоило хозяину только открыть глаза, как он, не вставая, начинал бить пушистым хвостом по полу. Художник приветствовал его:

— С добрым утром, Задор!

Задор моментально вскакивал, поднимал передние лапы на кровать и, радостно повизгивая, целовал хозяина. Художник ласково трепал его по спине, а потом говорил:

— Ну, Задор, начнем одеваться. Подавай вещи.

Художник нарочно разбрасывал вещи по разным углам. Задор и в этом деле проявлял большую сообразительность: сначала подавал брюки, а потом — носки и ботинки.

Самое большое удовольствие он переживал, когда хозяин брал его с собою на рыбную ловлю. Хорошо было порезвиться по цветущим лугам, а еще лучше обследовать болота и озера. В них всегда найдется какая-нибудь водоплавающая дичь, к которой тянул его прирожденный инстинкт. Задор уже не боялся воды и свободно плавал. Иногда близко вырывалась из травы утка и, отлетев немного, падала. Он опрометью бросался за ней. Она опять еле поднималась и опять падала. Казалось, что ничего не стоит ее поймать. Но Задор не понимал, что утка обманывает его: своим кряканьем она предупреждает детей об опасности, а его отводит подальше от них. Потом она высоко взвивалась и исчезала вдали, оставляя его в дураках. Задор по своему характеру был смел и решителен, но по молодости он еще многого не знал в жизни. Однажды ему пришлось наткнуться на журавлиху. При ней были маленькие дети. Защищая их, она поднялась во весь рост, замахала огромными крыльями и с каким-то шипящим верещанием смело двинулась на щенка. Для него это было неожиданным чудовищем, угрожающим его жизни. Он взвизгнул и, подняв хвост, в ужасе метнулся к ногам хозяина. Художник погладил щенка и промолвил:

— Эх, трусишка! Птицы испугался.

Но Задор еще долго не мог успокоиться и все лаял в ту сторону, куда улетела журавлиха.

Наступил охотничий сезон. Басыгин забросил свои удочки и ходил только с ружьем. Задор, несмотря на свою молодость, уже помогал своему хозяину в охоте. Обладая хорошим чутьем, он разыскивал дичь, а убитую вытаскивал из воды и подавал своему благодетелю. Глубокой осенью началась охота за пушниной. Задор не разлучался со своим хозяином, часто оглашал лес лаем. Это означало, что он нашел какого-то зверька. По интонации собачьего голоса художник мог определить, в кого ему предстоит сделать выстрел — в белку, колонка или куницу. Иногда особым лаем Задор извещал хозяина, что попался глухарь. Охотник осторожно приближался на лай, а огромнейшая и очень осторожная птица, занятая собакой, не замечала, что к ней, держа ружье наготове, крадется человек. Раздавался выстрел, и она, ломая сучки, падала на землю. Для Задора было большой радостью схватить ее зубами и потрепать, пока она не перестанет биться, а потом поваляться на ней спиной, проявляя свое торжество.

Когда выпал снег, Басыгин начал своего питомца запрягать в санки. Постепенно, по мере его возмужалости, ему увеличивали тяжесть груза. К концу зимы он и это искусство постиг в совершенстве. У него хорошо развилась грудная клетка, ноги окрепли. Закончилось это тем, что на следующий год, к удивлению всех людей, художник начал кататься на нем по городу.

Из Задора получился здоровенный пес. Он был красив в своей атласной дымчатой шерсти с желтоватыми подпалинами на животе, с белой звездочкой на лбу, с карими веселыми глазами. Трудно было определить, к какой породе он принадлежал. Что-то волчье было в его корпусе, в сильной клыкастой пасти, в лобастой голове с острыми торчащими ушами. Но в то же время его весьма подвижный и пушистый хвост, а также необыкновенная любознательность ко всему указывали на то, что он несомненно имел родство с сибирскими лайками. Нрав

у него был мирный, но вместе с тем, если его задевали, он проявлял мужественную воинственность. У него не было привычки отступать перед врагом. Случалось, что, подняв шерсть на спине, он храбро врывался в кучу нападавших на него собак, сшибая их с ног своей могучей грудью, и горе было тем, которые не успели увернуться от его страшных челюстей. По обыкновению его противники, охваченные паникой, с визгом разбегались по дворам, поджав хвосты и обагряясь кровью. Наконец все городские собаки узнали, что нельзя безнаказанно нападать на Задора, и ограничивали свою ненависть к нему только яростным лаем из-под ворот. А он шел вместе со своим хозяином, не обращая на них никакого внимания.

Задор оказался незаменимым стражем в доме. Ни один грабитель не мог бы ни отравить его, ни обмануть его бдительность. Слух у него был невероятно чуткий. Когда пес находился на дворе, можно было спокойно спать, не боясь ограбления.

У Задора проявилась еще одна черта его характера — это гордость. Однажды весной художник пошел на гусиную охоту с жестяными силуэтами. На такой охоте собака была бы только помехой, и Задора оставили дома. Но версты за три от города он догнал хозяина, бросился к его ногам с радостным лаем и заюлил всем своим гибким туловищем. Художник сказал ему:

— Задор, иди домой!

Пес остановился, с недоумением глядя на хозяина, и перестал махать хвостом. По-видимому, он был обескуражен таким неожиданным поворотом дела. В его лобастой голове должен был возникнуть вопрос: почему на этот раз отвергается его помощь на охоте?

Художник повернулся и еще раз приказал, крикнув уже грозно:

— Марш домой!

Задор отпрянул от него сажени на две и, сев на задние лапы, заскулил. Художник пошел дальше, не оглядываясь. И только через четверть часа он осторожно

повернул голову назад. Пес продолжал сидеть на том же месте в горестном раздумье, не решаясь двинуться за хозяином.

На следующий день художник вернулся домой. Пес лежал на крыльце. При виде хозяина он не только не вскочил, но даже не пошевелился. Вид у него был подавленный и угрюмый, словно он заболел. Очевидно, он считал себя несправедливо обиженным, тем более что у хозяина за плечами висели три гуся.

— Задор, что с тобой?

Это было сказано ласково, но Задор даже не взглянул на своего любимого повелителя. Он встал, сошел с крыльца и, повесив хвост и голову, медленно пошел через двор. Двое суток не могли его выманить из-под амбара. Он лежал в полумраке, в одиночестве, без пищи. И только на третий день у него от сердца отлегло — он вышел из-под амбара. Хозяин позвал своего питомца:

— Задор, иди ко мне!

Пес подошел к нему нехотя, но сейчас же, когда тот обнял его и сказал несколько дружеских слов, он приветливо завилял хвостом. Карие умные глаза сразу просияли.

НА ГНЕЗДЕ

Художник Басыгин ловил на озере рыбу.

Только что прошел, рассыпавшись блестящим жемчугом, мелкий дождь. Остатки жидких облаков разбрелись по небу, не заслоняя собою вечернего солнца. Зелень трав, ивняковых кустарников и редких ольховых деревьев посвежела и разноцветно заискрилась каплями росы. Широко расстилались поймистые луга. Пахло особенным запахом болотных растений: бывалый человек может определить его с завязанными глазами. Майский воздух был чист и прозрачен, и все в природе как будто обновилось.

Вдоль берега у художника были расставлены жерлицы с насаженными на них живцами. Каждое удилище с прикрепленным к нему маленьким колокольчиком было основательно воткнуто в землю. Примостившись на пеньке, Басыгин курил папиросу и ждал приятно волнующего звонка. Справа, оставляя темно-зеленые следы на матовой от росы траве, одиноко паслась гнедая лошадь. Она четко выделялась на фоне голубого неба. Из широкого кармана парусиновой блузы художник по привычке достал блокнот с карандашом и начал ее рисовать.

«Пригодится для будущих работ,— подумал Басыгин.— Хорошо бы еще посадить на лошадь крестьянского мальчика. Это — первое его испытание. Он сидит верхом неуверенно. Рядом стоят родители и с любовью смотрят на сына. На их лицах тревога и радость».

Раздавшийся звонок прервал мысли художника. Он

бросился к тому удилищу, какое сильно качалось. Попалась небольшая щука. Выхваченная на берег, она буйно заколотилась, раскрыв хищный, с острыми зубами рот. Через минуту она уже плескалась в воде на проволоке, продетой через жабры в рот.

Художник уселся на прежнее место и опять занялся своей работой. Лошадь спокойно кормилась. На возвышении, ощипывая траву около небольших кустиков, она вдруг так порывисто и высоко вздыбилась, что потеряла равновесие и опрокинулась на спину. В следующий момент она вскочила и галопом понеслась по лугам насколько хватало сил. Художник следил за нею, пока она не скрылась за кустами. Что-то непонятное произошло с нею. Выходило, как будто лошадь, поняв, что ее рисуют, была охвачена страшной паникой. Словом, модель исчезла. Художник посмотрел на свой незаконченный рисунок, засунул блокнот в карман и задумался. Что же, однако, случилось? Может быть, пчела или оса ужалила лошадь?

Он встал и направился к тем кустикам, от которых так шарахнулась лошадь. Кустики, молодые побеги ольхи, мешаясь с травою, лишь на четверть метра возвышались над нею. Он долго всматривался в них и ничего особенного не увидал. Но ему хотелось разгадать тайну. Он нагнулся, чтобы осторожно раздвинуть ветки руками, и в ужасе отпрянул назад. Из кустиков, шипя, выбросилась к нему змеиная голова. Это было так неожиданно, что он едва удержался на ногах, и так же, как и лошадь, понесся по лугам. Ему казалось, что змея гонится за ним по пятам. Только через минуту он сообразил, что бежит напрасно, и остановился. Ему было стыдно перед самим собой.

— Убью эту проклятую змею! — охваченный гневом, произнес вслух Басыгин.

Вооружившись крепкой палкой, он пошел обратно по своим следам. От волнения ощущалась сухость во рту, дрожали руки. Приблизившись к кустикам, он осторожно разглядывал то место, где, по его предположению, скрывалась змея. Весь корпус его изогнулся, подался вперед: пусть только хоть чуть шевельнется она, и вскинутая палка обрушится вниз. Прошли секунды, и перед глазами внезапно открылось то, что повергло его в край-

нее удивление: на земле обозначилась голова затаившейся птицы с длинным широким носом, а потом обрисовалась и вся она в сером оперении. Это сидела в гнезде на яйцах дикая утка. Черный ее глаз, косясь, следил за движениями человека, как будто она снова хотела стремительно выбросить свою длинную шею, принятую им за змею.

Художник умиленно улыбнулся, медленно опустил палку и осторожно отошел от гнезда.

При закате подул ветер, зарябил поверхность озера. Рыба на удочку шла плохо. К пойманной щуке прибавилось лишь несколько красноперок и плотвы.

На следующее утро Басыгин опять пришел на это же озеро. По привычке охотника он из-за кустов осторожно оглядел блестевшую на солнце гладь воды. На противоположной стороне, рядом с камышовыми зарослями, плавала утка кряква. Вокруг нее быстро, как мыши, шныряли в разные стороны утята, похожие на грязно-коричневые пушистые шарики. Счастливая мать семейства зорко посматривала по сторонам. Заметив человека, она издала едва слышный гнусавый звук и сразу исчезла с выводком в камышах.

Первым долгом Басыгин пошел проверить знакомые кустики. Но утки там уже не было. Вместо нее осталась лишь зеленоватая скорлупа от яиц. Стало понятным, почему птица не улетела ни от лошади, ни от человека. Яйца уже наклевывались, и мать в заботах о своих будущих птенцах с такой храбростью, рискуя своей жизнью, защищала гнездо.

ПТИЧЬЯ МАТЬ

У художника Басыгина заболела собака. Это случилось перед самым открытием сезона летней охоты. Пришлось, подавляя в себе досаду, идти на охоту одному — без верного своего помощника.

Рассвет застал художника далеко за городом, среди озер и болот. Гасли последние звезды, постепенно бледнело небо, а на востоке широким пламенем разгоралась заря. Вода, неподвижная в это утро, была похожа на расплавленный металл. Охотник, разыскивая дичь, с трудом пробирался сквозь чащу прибрежных растений, перепрыгивал с кочки на кочку, иногда срывался с них и увязал в липкой грязи. В воздухе со свистом проносились утки. Кругом гулко раздавались одиночные и дуплетные выстрелы, вызывая досаду у художника. Казалось, что другим охотникам везет больше, чем ему. От такой ревнивой мысли он нервничал, излишне горячился. Из обычного равновесия выводило еще и то, что он отвык ходить на охоту без собаки. Ему было не по себе, как будто у него отняли правую руку. Он тоже подбрасывал к плечу бескурковку Зауера, грохотом оглашая окрестность, но дичь только взвивалась выше и ускоряла свой полет. Эхо долго звучало в ушах упреком. Изредка та или другая птица падала, но трудно было найти ее в камышовых зарослях. За все утро добыча оказалась незначительной: у пояса висели два чирка, одна кряква и одна шилохвость. Это было все, что ему досталось ценой сильной усталости. Будь при нем собака, он

не промок бы до самых плеч и мог бы удесятерить свои трофеи.

Басыгин возвращался домой лесом. Знакомые поляны и березовые рощи — приют тетеревиных выводков — находились в стороне, но нельзя было обойти их мимо. Деревья, залитые высоко поднявшимся солнцем, зачарованно замерли. Золотые лучи, пронизывая голубые тени, узорчато ложились на землю. На открытых местах, в зелени нескошенных трав, как разбрызганные капли крови, сочно рдела земляника. Художник с жадностью набрасывался на душистые, необыкновенно вкусные ягоды. Захотелось отдохнуть. Он упал прямо на траву, подставляя горячему небу лицо и расстегнутую грудь. От обилия солнечного света жмурились глаза. Кругом не было слышно ни одного звука. Вспомнилось оживление весны на этом же самом месте. Тогда здесь бормотали и чуфыкали токующие тетерева, ворковали дикие голуби, пели дрозды и рассыпали свои голоса, перекликаясь на разные лады, многие другие птицы. Цвела птичья любовь, кипела жизнь. А теперь лишь осталась забота о новом молодом потомстве. И вся дичь спряталась, затаилась в густой зелени растений, словно утонула в пучине моря.

Охотник встал и направился дальше. Поляны и березовые перелески по-прежнему молчали. Тем приятнее было, переходя через овраг, услышать журчание лесного ручья. Холодная, как лед, родниковая вода в нем, где-то вырвавшись из-под мрачного подземелья, так весело звенела, как будто пела песни ясному небу и солнцу.

На окраине одной из полян Басыгин вздрогнул: совсем близко, из кустарника крушины, с треском выпорхнул выводок тетеревов. Их было не меньше восьми штук. На вскидку, не целясь, охотник быстро послал им вдогонку сквозь ветви деревьев два выстрела. Одна птица свалилась. Это он ясно видел и бросился на то место. Но оно было пусто. Долго он кружился, обшаривая кусты и приминая ногами и руками траву. Птица исчезла бесследно. Потный и взлохмаченный, он ожесточился от неудачи до того, что готов был перестрелять все живое.

— Надо попробовать другой подход к дичи,— сказал он вслух, словно давал совет постороннему человеку.

Басыгин отошел по направлению полета поднятого выводка, выбрал почище место и замаскировался в кустах. Закурил папиросу, успокоился. В сумке, в особом кармане, с ним всегда находился полный набор манков для чирков, рябчиков и тетеревов. Пропищал несколько раз в манок под голос молодого тетерева. Спустя минуту раздался такой же звук справа. Еще один тетеревенок откликнулся слева. Голоса были приглушенные и робкие. Но почему же молчит старка, мать семейства? Не она ли свалилась от выстрела? Два года назад Басыгин нечаянно убил старку. Дети у нее оказались настолько малыми, что не хотелось в них стрелять. На том же месте осенью он взял двух из выводка. Но они, рано лишившиеся матери, были в жалком оперении, худые и не превышали величиной голубя. Басыгин теперь вспомнил об этом с болью в душе. И тут же, к великой его радости, послышалось позади квохтанье старки. Она осталась жива. Он повернулся в ее сторону. Она звала к себе детей тихо и осторожно, словно боясь, как бы снова не обрушилось страшное бедствие на ее семью. Голоса сближались. Охотник, держа ружье наготове, пищал в манок и ждал. В прогалине между кустов на секунду мелькнула птичья голова и скрылась в траве. Старка шла прямо на охотника. На ее нежные призывы со всех сторон откликались дети. Он решил про себя, что не будет торопиться и дождется, когда тетерева сойдутся вместе. Двумя выстрелами можно будет взять из выводка сразу несколько штук. Только бы не задеть старку.

Внезапно она вышла на чистое место и на виду остановилась. Оперение ее кирпично-коричневого цвета с черными поперечными полосками было едва заметно среди вянувших трав и прошлогодней листвы. Около нее находились два тетеревенка. Ростом они были меньше матери. Она прислушалась и медленно пошла на манок. Только теперь охотник разглядел следы своего преступления: один глаз у нее был выбит дробиной, сломанное и окровавленное крыло тащилось по земле. К ней подбежал еще один тетеревенок. Понимали ли дети страдания их матери? Казалось, обеспокоенная за участь своего потомства, она не квохтала, а в отчаянии плакала. Охотник уронил изо рта манок, опустил ру-

жье, побледнел. Самоотверженность матери, ее безграничная любовь к детям жгли его совесть. Он вспомнил о своей собственной матери. У нее не было таких физических ран, но как она нравственно мучилась, когда с ним случалось какое-нибудь несчастье! Около старой тетерки теперь было уже пять цыплят. Остановившись, она смотрела на них единственным уцелевшим глазом, словно делая им подсчет, и опять тихо заковыляла. В десяти шагах от охотника лежали прошлогодние хворостины. Зацепившись костью сломанного крыла за прутья, она сначала задергалась, а потом беспомощно свалилась на бок. Тетеревята кучно прильнули к ней и насторожились. Что им делать? Может быть, пора разбежаться врозь и затаиться в зарослях? Они как будто колебались и ждали знакомого сигнала тревоги. Где-то, затерявшись в траве, пищали еще другие отставшие птенцы. Мать, опрокинутая, уже обреченная на гибель, изнывая от ран, с усилием подняла голову и призывно заквохтала. Это прозвучало, как стон.

Сердце охотника не выдержало. Стиснув зубы, он вскинул ружье и выстрелил. Только небо видело то, что сделал дробовой заряд. Басыгин вскочил, как безумный, и, не оглядываясь, быстро пошагал домой.

ЗАДОР ПОМОГАЕТ В ЛЮБВИ

На следующую зиму, будучи в гостях у городского головы, Басыгин познакомился с одной девушкой. Звали ее Екатерина Васильевна. Она кончила Строгановскую школу живописи, жила в Москве и приехала на время погостить у своих родственников. У него сейчас же завязался с нею разговор о художниках кисти. Они даже немного поспорили, но это нисколько не помешало им почувствовать некоторую близость друг к другу. После этого вечера он часто начал бывать у нее. Она была молода и недурна собою: правильно очерченный профиль, щеки в проступающем румянце, лукаво-игривый разрез синих глаз, на голове — венок из русой заплетенной косы. Кроме того, отличалась бойким и живым умом. Смех ее искрился, как ручей под солнцем. Все эти качества делали ее привлекательной девушкой. А он в то время как раз переживал тот возраст, когда чувство одиночества становилось ему в тягость. Через месяц Басыгин сказал себе: «Вот та самая, которую я смутно предчувствовал еще с детских лет».

Ему тогда казалось: что может быть лучше, если и его подруга будет иметь ту же устремленность в жизни, какую имеет он. В работе они будут помогать друг другу. Общность интересов приведет их к идеальной жизни.

Сердце его опьянело. Он стал усиленно ухаживать за Екатериной Васильевной. Пес помогал ему в этом: до-

верчиво терся у ее ног, ласкался, словно хотел, чтобы она скорее сблизилась с его хозяином. С каждым днем расположение ее к Басыгину возрастало. Но в то же время чего-то еще не хватало, чтобы она согласилась переплести свою жизнь с его судьбой. Беседуя с ним, она всегда держалась настороженно и смотрела на него, как птица на приближающегося охотника.

Был хороший зимний день. В неподвижном воздухе стояла звонкая тишина. Свежий снег обновил улицы города и крыши домов. Всюду, куда ни глянь, разливалась ароматная белизна. Под низким солнцем она сияла синеватыми блестками, словно была посыпана алмазной пылью. Ощущая в себе внутреннюю напряженность, Басыгин чувствовал себя молодо и весело, и казалось, весь мир принадлежит только ему. И вдруг одна его приятельница сообщила ему убийственную для него новость: через два дня Екатерина Васильевна уезжает обратно в Москву. Душа перевернулась от боли. Сопровождаемый Задором, он пошел к себе в комнату. Невыносимая тоска ослабила его волю. Скорчившись, он долго сидел на кровати, подавленный мрачным раздумьем. Почему она ни разу не заикнулась о своем отъезде? Зачем ей понадобилась эта завлекающая игра с ним?

Пес, улегшись на полу, внимательно смотрел на хозяина из угла, стараясь понять причину его горя.

Вставая, художник сказал:

— Едем, Задор, к Екатерине Васильевне.

Пес взметнулся, тявкнул на хозяина несколько раз и с разбега передними лапами распахнул дверь.

Басыгин запряг его в маленькие разукрашенные санки и направился к художнице. Когда подъехал к ее дому, она сидела на крыльце, словно нарочно поджидала его. Он сразу заметил радостное изумление на ее лице. Она сошла с крыльца и, поздоровавшись с ним, заговорила:

— Я давно хотела видеть, как вы катаетесь на собаке. Это очень оригинально.

Она ласково гладила Задора, а на Басыгина смотрела разгоревшимися глазами. Потом, немного смущаясь, спросила:

— А мне можно будет прокатиться?

— Пожалуйста, хоть сейчас,— ответил он и жестом руки показал на санки.

Она села в санки.

— Править не нужно. Задор сам знает, куда нужно вас отвезти.

Он показал ему заборную книжку, по которой покупал товары в долг в магазине купца Стрекозова, а затем крикнул:

— Пошел, Задор!

За санками взметнулась снежная пыль.

Через четверть часа Задор примчал Екатерину Васильевну обратно.

Она находилась в состоянии какого-то опьянения. Задор окончательно очаровал ее. Часть своих восторгов она перенесла и на хозяина такой славной собаки. А это и послужило последним толчком к тому, что их нежно звучавшая любовь закончилась заключительным аккордом.

Вскоре после свадьбы жена сама призналась мужу:

— Если бы ты не появился в тот день с Задором, жила бы я теперь в Москве. И, вероятно, никогда бы с тобой больше не встретилась.

Супружеская жизнь Басыгина в действительности оказалась не такой идеальной, какой рисовалась до этого в его воображении. Любовь остыла, превратилась в скучную прозу повседневности.

Задору не нравилось это: или он неподвижно лежал на полу, мрачно скосив на своих хозяев глаза, или же, когда особенно начинали горячиться, не выдерживал их раздора и с тоской уходил прочь на двор. Совсем по-другому он вел себя, если у них наступало перемирие: муж с женой целовались, а он одобрительно бил пушистым хвостом по полу, словно цепом.

Года через полтора у Басыгина родилась дочь — Тася. Это была хорошенькая полнокровная девочка. Для Екатерины Васильевны наступил период величайшей радости и в то же время глубокой трагедии.

Жили супруги довольно скудно. Он вынужден был поступить в местную гимназию преподавателем рисования. Небольшое жалованье было у него единственным источ-

ником дохода. Однако это давало ему возможность заниматься своим любимым делом, и он, не торопясь, создавал одну картину за другой. Когда накопилось их около трех десятков, он вздумал открыть в своем городе выставку. Напрасно он рассчитывал таким образом подсобрать деньжонок. Публика в этом городе не интересовалась художественными произведениями. Посещали выставку мало, а о продаже картин нечего было и думать. За целую неделю Басыгин выручил не больше тридцати рублей. Напоследок неожиданно к нему забрел местный богатый купец Кривоглотов. Это был тучный человек, лупоглазый, с густой пепельной бородой, с могучей бычачьей шеей, перевисающей через воротник пиджака красной колбасой. Голос у него был шумный и хриплый, царапающий слух.

— А рисунки-то ведь, Степан Романович, ничего, подходящие. Не ожидал я от вас такого ремесла, не ожидал. Думал, раз человек на собаке катается, то какой из него может выйти толк? А тут вот что. Издали посмотришь — очень даже натурально. Каждая вещь в естестве своем. Вот ежели бы и вблизи еще так было. А то придвинешься вплотную — наляпано, ничего не разберешь.

Ему понравилась одна картина с изображением лошади.

— Сколько стоит? — показывая на нее пальцем, спросил Кривоглотов.

— Пятьдесят рублей.

— Что-о?

Художник повторил цену.

Купец откровенно расхохотался.

— Я вижу, вы шутить изволите, Степан Романович.

— Нисколько.

— Да за такую цену можно две живых лошади купить, а тут только рисунок. Чудак человек!

Он назначил пятерку и потом торговался целый час, понемногу прибавляя. Художнику хотелось выгнать его с выставки, но ему нужны были деньги. Он сдерживал себя и, в свою очередь, сбавлял цену. Сошлись они на двадцати рублях.

Получив свернутую в трубку картину, Кривоглотов проворчал:

— Ни за что не купил бы, ежели бы не сын. Единственный он у меня. Восьмой годок миновал. Любимец. А завтра он именинник. Дай, думаю, утешу его подарком. Пусть позабавится малец. Может, и сам научится рисовать.

Купец направился к выходу, но сейчас же вернулся.

— Просьба к вам, Степан Романович, никому не говорите, что я за картину заплатил двадцать рублей. Засмеют меня в городе.

От этой выставки у художника остался в душе мутный осадок. Но он не унывал и продолжал творить, возлагая все надежды на Москву. Когда у него будет около сотни картин, там его встретят и оценят по-другому.

КЛОК ШЕРСТИ

В заболоченном озере, окруженном зыбуче-топкими берегами, в зарослях ивняка и камыша, шумно захлопали крылья. Порывисто взлетели три утки и штопором взмыли на фоне вечерней зари. Раздался гулкий раскат ружейного дуплета. От птиц, как осенние листья от дерева, оторвались перья и медленно закружились в воздухе. Две кряквы остановили свой полет и начали падать: одна камнем, другая завертелась через голову. Обе птицы шлепнулись в заросли. Третья утка, набирая высоту, как самолет, понеслась в зарево заката. Встревоженная выстрелами, в стороне поднялась стая чирков и долго по спирали носилась, удаляясь и налетая, как бы дразня охотника.

От озера доносилось частое шлепанье лап по воде. Вскоре из травы показалась собачья голова с двумя острыми треугольниками стоячих ушей. Пес держал в зубах убитую утку. На мгновение он остановился, не видя своего хозяина. Из-за куста послышался знакомый голос:

— Сюда, Задор!

Задор приблизился к хозяину, радостно посмотрел на его смуглое, с крупными чертами лицо и завилял хвостом. Охотник принял дичь и приказал:

— Ищи вторую утку!

На этот раз поиск затянулся. Для охотника ясно было: если подбитая птица закувыркалась в воздухе через голову, то, значит, она только ранена в крыло и может далеко уйти. Но он терпеливо ждал, уверенный, что число убитой им дичи увеличится еще на одну голову.

Степан Романович Басыгин в поисках впечатлений и натуры с утра до вечера утопал в ярких красках зорь, в увядающей августовской зелени лесов и лугов. На вольном воздухе окрепли его мускулы, здоровьем и силой налилось все тело.

Художник одернул на себе парусиновую блузу, взмахом руки смахнул вьющиеся волосы с высокого и прямого лба и, взойдя на пригорок, залюбовался ширью низменной поймы вдоль большой реки. Луга представлялись ему гигантской шахматной доской, установленной, как пешками, стогами сена. Между ними кое-где уже стлалась сизая шаль тумана. В вечернем сумраке зеркала озер и протоков отсвечивали багряным отблеском заката, угасавшего, как тлеющие угли в камине. Над поймой проносились с шумом утки, но художник не отвлекался, а зачарованным взором ловил краски природы. Он очнулся, когда к нему подошел пес, держа в зубах еще живую утку с изгибающейся, как змея, длинной шеей.

— Молодец, Задор! Подаешь дичь, как на серебряном блюде.

Охотник погладил пса по голове и, взяв птицу, добавил:

— Хватит с нас! А теперь пойдем на ночевку.

И зашагал по направлению к реке. Задор следовал за ним, высунув длинный язык, разгоряченно и часто дыша.

Когда они подошли к реке, где Басыгин оставил утром лодку, уже смеркалось. Оба чувствовали себя усталыми. Хотелось скорее добраться до базы, где устроен шалаш, оставлены рыболовные сети, провизия.

Против них, ближе к тому берегу, чуть виднелся небольшой островок. Там они и раньше часто ночевали. Чтобы попасть туда, нужно было пройти на лодке между двух отвесных камней. Отстоя друг от друга метров на сто, они высовывались из-под воды на самом глубоком и быстроходном месте, как два кита. Путь этой переправы хорошо был знаком художнику.

Здесь берег лежал отлого, усыпанный мелкой галькой. А по ту сторону реки черным облаком поднялся крутояр, и с него, придвинувшись вплотную, смотрелась в быстрые воды тайга, дикая и жуткая в этот ночной час.

Тихий и теплый сумрак окутал землю. С безоблачного неба ласково струились звезды.

Басыгин, обращаясь к Задору, сказал:

— Плывем, друг, на остров!

Задор, хорошо понимая хозяина, радостно взвизгнул, потерся у его ног и первым прыгнул в лодку. Вслед за ним вошел и хозяин. Он бережно уложил в носу лодки ружье, дичь, патронташ, а потом, чтобы легче грести, снял с себя блузу и, кстати, сапоги, намявшие ноги. Оставшись в одной рубашке, он оттолкнулся веслом и начал забирать вдоль берега вверх по реке, чтобы потом, когда лодка попадет на стремнину, ее не отнесло ниже намеченного острова. Показалось, что он прошел достаточное расстояние. Басыгин повернул лодку поперек реки. Чем дальше уходила лодка от берега, тем быстрее становилось течение. Он сильнее начал наваливаться на весла, но его сносило вниз по реке. В проходе между двух камней вода буйно разбивалась о гранитный выступ. Внезапно сознание Басыгина озарилось страшной мыслью: на этом стремительном течении трудно обойти второй камень. Лодку понесло с головокружительной быстротой. И два живых существа полетели в пенистую пасть смерти, а она рычала, захлебываясь, ликующая и неумолимая. Басыгин крикнул насколько хватало голоса:

— Держись, Задор!

Лодка разлетелась в щепки. Куда-то полетели, сорвавшись с неба, яркие звезды. Могучий поток, вздуваясь и дробясь на перевале, ударил человека о гранит, смял его и с ревом швырнул в глубину. Это произошло с такой быстротой, что некогда было опомниться. Перевертываясь и крутясь, человек опускался гирей в бездонную яму реки. Мир превратился для него в слепой, шумно бурлящий водопад. Казалось, не будет конца его падению. А когда бурлящие потоки перестали швырять Басыгина, он смутно понял, что его отнесло от ямы. Он начал выгребать руками, чувствуя, как его выносит на поверхность реки. Он открыл глаза. Сквозь слой воды чернело небо, опустившееся необыкновенно низко, и на нем, дрожа, засверкали огромные капли крови. В тот же миг сразу все изменилось: темно-синяя высь мерцала далекими звездами,— он мог уже свободно дышать.

Художник, придя в себя, огляделся и не поверил своим глазам: рядом с ним, отфыркиваясь и жалобно повизгивая, плыл Задор.

Нужно было плыть к левому берегу, более отлогому. Басыгин работал руками и ногами неторопливо, зная, что не скоро доберется до суши. К тому же левое плечо, расшибленное о камень, отзывалось при движении болью. Это еще больше затрудняло его тяжелое положение. Он часто отдыхал, перевернувшись на спину, а его вместе с собакой несло течением, несло куда-то в неведомое. Ночь была тиха, и в эту дремотную тишину врывался голос, полный отчаяния:

— Спасите... Погибаю!..

Тайга, подступившая стеной к правому берегу, насмешливо повторяла те же слова, словно кто-то перекликался с человеком. Кто мог помочь утопающему в ночную пору в двадцати километрах от города?

Отдохнув, он опять плыл к левому берегу. Но с каждой минутой запас сопротивления истощался. Тело стало зябнуть. Ушибленная рука отказывалась работать. Вдали чуть-чуть мерещилась отлогая земля, к которой он подвигался невероятно медленно. У него не было опоры, а так хотелось почувствовать под собою что-нибудь твердое! Чтобы не проваливаться в податливую массу воды, он все чаще перевертывался на спину, освобождая грудь от тяжести: так легче дышать. Смотрел в глубину неба, в безмолвную ночь, развесившую над ним мерцающий покров, и спрашивал самого себя:

— Неужели так нелепо кончится жизнь?

В нем поднимался ярый протест. Он опять двигал руками и ногами, закоченевшими от стужи. Вода засасывала его, сдавливала грудную клетку. Тревожно стучало сердце. Он уже предчувствовал, что через несколько минут оно вовсе перестанет биться, как маятник, исчерпавший энергию заведенных гирь.

Агония застигла пловца уже на виду желанного берега, до которого оставалось не более тридцати метров. Тело потеряло гибкость, отяжелело, словно налилось ртутью. Захлебываясь и давясь водою, Басыгин успел только прохрипеть:

— Погибаю, Задор!

Пес, поняв тревогу в его голосе, торопливо прибли-

зился вплотную к хозяину и заскулил, а тот, утопая, бессознательно взмахнул рукой и коснулся мокрой шерсти. Качнулось небо, закружились сверкающим роем звезды. В мозгу тонувшего художника творилось что-то нелепое. На мгновение представилось, как во время родов жены он вбегал в аптеку и, возвращаясь, растерял половину лекарств — до слез ему было обидно. Вихри этих беспорядочных мыслей сразу, как нити, оборвались — взревел давно убитый им медведь. Тут же навалилось тяжестью что-то грузное: не то зверь, не то разбойник, сидя на нем верхом, душил, стискивал горло и масляными красками с его же палитры забивал художнику рот и ноздри. Задыхаясь, он отчаянно изворачивался. И еще что-то было, пока не погрузился в мрак, в мертвую тишину...

Из тайги осторожно выбрался маленький и кривой осколок лунного диска. Слабый свет упал на землю, на широкую поверхность реки. От стогов, деревьев и пригорков бесшумно протянулись тени и застыли, словно прислушиваясь к молчанию звездной ночи.

Басыгин открыл глаза. Он лежал неподвижно на чем-то твердом, вытянувшись во весь рост, и не ощущал ни холода, ни боли, словно все тело его одеревенело. Он забыл все, что с ним произошло. Его голова жила отдельной жизнью, каким-то смутным сознанием, маленькой частицей не успевшего застынуть мозга. Над землей мерцали звезды. Они были все в том же строгом распорядке, в каком он застал их, придя в этот мир. Отяжелели веки, хотелось снова закрыть глаза, но звезды почему-то беспокоили его, вносили в сознание тревогу. Кругом все было знакомо. Все это он недавно видел, но где? Всякая связь с прошлым оборвалась. Он стал усиленно думать, но прошло довольно много времени, прежде чем ему удалось добраться до истины. Как это было? При таких же звездах он плыл по реке, ныряя и захлебываясь. Мысль, возбуждаясь, постепенно восстанавливала картину крушения в обратном порядке, начиная с пробуждения на берегу и кончая треском разбившейся о камень лодки. К нему начали возвращаться физические ощущения. Он почувствовал, что живот его необыкновенно раздут, дышать было тяжело, в легких что-то кло-

котало. А где-то рядом слышались тихие всплески воды. Несомненно было, что он находится на самом краю берега. Но как он попал сюда?

Что-то нужно было предпринять, но с ним случилось нечто странное и необычное: он не знал, как нужно было повернуться, как пошевелить рукой или ногой. Неужели пришла смерть? Звезды уходили в глубь неба, тускнели. Он застонал. И вдруг над ним наклонилась черная тень, и что-то горячее коснулось его лица, как будто по щеке погладили рукой. Он вздрогнул и застонал еще сильнее. А черная тень, качаясь, ласково заскулила. Тогда он понял, что его лижет Задор. С большим усилием Басыгин перевернулся на живот. Изо рта хлынула вода. И по мере того, как он освобождался от нее, усиливалась головная боль, настолько мучительная, как будто в мозг вонзалась колючая проволока.

Им овладело единственное желание — сохранить жизнь. Он начал дергать одним плечом, потом другим. Окоченевшие мускулы его постепенно отходили, дыхание становилось глубже и свободнее. Наконец он задвигал руками и ногами, отползая по отлогому берегу прочь от реки. Задор, радостно повизгивая, продолжал лизать горячим языком лицо хозяина, а тому казалось, что от собачьих ласк вливается в тело благодатное тепло. И хотя все его движения были слабы и медлительны, все же он мог ползти на четвереньках. Пес теперь сопровождал его молча. Вдруг Задор бросил взгляд на хозяина и насторожился. Очевидно, ему показалось, что художник к кому-то крадется, как это случалось на охоте. На берегу было пустынно. В тишине ночи похрустывала галька. Легкий ветер нагонял с полей струю теплого сухого воздуха. На востоке, разорвав черные облака, пламенела красным золотом узкая горизонтальная трещина. Казалось, там, вдали, треснули горы и сейчас из них польется огненно-жидкая лава. Художник ползал долго, прежде чем решился встать. Ноги его, широко расставленные, дрожали и подгибались, как у ребенка, впервые поднявшегося без посторонней помощи. И, однако, он крикнул от радости:

— Задор, теперь будем живы!

Пес, проявляя свой восторг, бросился к хозяину на грудь. Тот полетел кувырком, ударившись с размаху о

землю. Загудело в голове, но падение вызвало прилив новых сил. Он слабо упрекал своего друга, поднимаясь с трудом на ноги:

— Что ты делаешь, Задор?

Задор, не спуская глаз с хозяина, помахивал хвостом.

Через некоторое время Басыгин настолько окреп, что зашагал вдоль берега. Разгоралась заря, развешивая по небосклону огненные полотенца. Река, зардевшись, по-прежнему катила могучие потоки к угрюмому северу. Четко обрисовался противоположный берег, упиравшийся в голубеющее небо зубцами пихт и елей. Озера на лугах закурились молочным туманом. Звонко перекликались перепела, со свистом проносились эскадрильи утиных стай. Пес мало обращал на них внимания. Возвращение хозяина к жизни возбудило в нем бурную радость. Он отбегал в сторону, возвращался, кружился, опрокидывался, как бы заигрывая, на спину, заливался неистовым лаем.

Только теперь Басыгин увидел в зажатом правом кулаке клок серой шерсти. Как она попала к нему? Он остановился, посмотрел на Задора, и ему стало все понятно. Очевидно, в момент потери сознания он инстинктивно потянулся к собаке, и его пальцы, коснувшись шерсти, судорожно сжались. Задор, как на буксире, поволок хозяина к берегу; по воде легко было это сделать. Но на суше буксир не выдержал тяжелого груза и оборвался.

Басыгин подозвал к себе Задора и ласково положил руку на его лобастую голову.

С вершины горы, ослепляя, ударили в лицо первые лучи восходящего солнца.

ТРАГЕДИЯ ХУДОЖНИКА И ЗАДОРА

Проходили годы.

Басыгин продолжал заниматься своим любимым делом, увлекаясь живописью. Даже империалистическая война не могла остановить его, убить в нем творческую страсть. Он создавал одну картину за другой, вкладывая в них через краски всю свою душу, все лучшие чувства. Таким образом у него накопилось до сотни картин — результат десятилетней работы.

Жена его, занявшись дочерью, окончательно забросила живопись. Хуже всего было то, что она стала ворчливой, к произведениям мужа относилась критически и плохо верила в его успех. А это невольно подрывало полет его фантазии. Как охотник, он хорошо знал природу. Разве не любовью вызвана разнообразная окраска цветов с пахучим нектаром, наполняющим их чашечки? Разве во время золотистых зорь не ради самок, распустив крылья, бьются косачи? Все красочное, все яркое, все, что восхищает наш глаз, что ласкает наш слух, что вызывает в нас самые лучшие эмоции, рождалось только через любовь. Не раз вспоминался бессмертный Леонардо да Винчи с его бесконечной любовью к Монне Лизе или гениальный Данте, на всю жизнь пораженный Беатриче.

А для кого он, Басыгин, создает свою симфонию из красок? Временами он чувствовал себя страшно одиноким. В обоих столицах он, как художник, совсем не был известен, а в своем городе его не понимали. И все-таки он не унимался творить. Его не покидала надежда сде-

лать выставку в Москве. Последняя скажет свое веское слово о его произведениях. Он был уверен в успехе. А тогда и подруга изменит к нему свое отношение.

Такова была мечта, сверкающая и манящая, как ясный утренний час перед восходом солнца, а жизнь повернулась к нему мрачной стороной. Прежде всего война затянулась. России, обливающейся слезами и кровью, было не до его картин. Выставка откладывалась на неопределенное время. Художник падал духом.

А в шестнадцатом году, летом, в одну из ветреных ночей, через два дома от Басыгина, вспыхнул пожар. Степан Романович и жена его успели только выскочить на улицу в одном нижнем белье да спасти свою дочь. Все их добро, сколоченное с таким трудом, а главное — все картины погибли в огне. Остался он сам-четверт, включая сюда и Задора, наг и бос, без копейки денег, с ограбленной душой. Все, чем жил он, окрыляясь надеждами на лучшее будущее, вдруг разом рухнуло. Художник отлично сознавал, что не может уже больше повторить тех произведений, которые когда-то возникали в извилинах его мозга: другие будут настроения. Значит, надежда на Москву для него провалилась. Гудел набат, гремели пожарные повозки, с криками и воплями шарахались по улицам люди. Весь город находился в страшном смятении. Даже Задор, находившийся у ног своего хозяина, почуяв грозную силу огня, протяжно завыл. А сам художник стоял неподвижно, глазами безумца смотрел на бушующие взмахи пламени, рыжими лохматыми лапами раздирающие его дом. Наконец здание с треском рухнуло, разбрызгалось золотыми искрами. И художнику казалось, что не картины, а душа его корчится в пожаре, превращаясь в пепел. Все это было настолько неожиданно, как будто ему предательски всадили нож между плеч. Он закружился раненым зверем, бессвязно выкрикивая:

— Нет больше художника Басыгина! Осталась только чепуха! — Ноги его подкосились. Он уселся на землю и, опустив голову, безнадежно застонал.

Через несколько дней, при помощи знакомых, Басыгин попал в Москву, но не с художественными полотнами, а с изувеченной душой. Около месяца ему пришлось пролежать в психиатрической больнице. А когда

вернулся в свой родной город, его трудно было узнать — осунулся, поблек.

У него был родной дядя по отцовской линии — Трифон Лаврентьевич Басыгин, проживающий в другом городе. Он имел собственную пимокатную фабрику, приносившую ему хорошие доходы. Был скуп и расчетлив, с патриархальными взглядами на жизнь. Но, несмотря на это, материально он помогал Степану Романовичу, когда тот находился в учении. Дядя чрезвычайно гордился, что племянник его попал в Художественную академию. И каждый раз, делая перевод на небольшую сумму, строго наказывал в письме: «Учись изо всей мочи, чтобы деньги не пропадали даром. А потом нарисуешь мой портрет».

Кончив академию, Степан Романович отправился прямо к дяде и выполнил его желание. Трифон Лаврентьевич был изображен на полотне во весь рост. Широкие, массивные плечи, толстые руки, усеянные веснушками, большая голова на короткой шее, резкие и хищные черты лица, которые отчасти смягчает золотисто-рыжая борода, похожая на молодую луну; маленькие, серые со стальным отливом глаза в заплывших жиром складках — глаза, рассматривающие жизнь с точки зрения прибыли,— получилось полное сходство. Дядя остался очень доволен таким портретом. Он вставил его в золотую раму и повесил у себя в зале. Как впоследствии узнал художник, дядя не без гордости показывал свой портрет гостям, говоря при этом:

— Вот полюбуйтесь. Это племянник меня увековечил. Человек несерьезный, часто занимается пустыми делами: на собаках по городу катается, увлекается охотой. А между тем от господа бога имеет все пять талантов.

Степан Романович, вернувшись из больницы, решил обратиться к дяде с просьбой о помощи. Фабрикант к тому времени, заделавшись поставщиком валенок на армию, сильно разбогател. В длинном письме племянник подробно сообщил о своем бедствии. Дядя немедленно выслал ему двести рублей.

Это дало возможность художнику немного оправиться. На окраине города он заарендовал домик с тремя комнатами. При нем находился небольшой огород, которым тоже можно было пользоваться.

Художник опять зажил по-семейному. Но лицо его перестало улыбаться, а черные брови слишком часто сходились у переносицы. Жена стала побаиваться его. Живопись он забросил: доктора запретили. Вместе с Задором ходил на охоту, и только там, среди природы, чувствовал, как понемногу выпрямляется душа.

Осенью, когда земля покрылась снегом, у Задора, в свою очередь, произошла трагедия. Был ясный день, блестевший белизной свежей пороши. Художник шел по улице своего города. Вдруг пес его, сопровождавший своего хозяина, остановился и, потянув чуткими ноздрями воздух, взволнованно поднял морду. В этот момент из-за угла одного дома показалась свора собак. Вздрогнув, Задор напряженной рысцой направился к ним.

— Назад, Задор!

Но он уже не слышал повелительного окрика хозяина. То, что он уловил ноздрями, обожгло его сердце, хмелем ударило в голову. Зов крови с непреоборимой силой увлекал его вперед, туда, где можно было посоперничать с другими кобелями за радость жизни.

Обычно собачьи самки млели перед ним, глядя на его гордую осанку, на пушистую серую с голубоватым отливом шерсть. Он был силен, обладал бесшабашной храбростью. Соперники при его появлении на собачьей свадьбе трусливо настораживались, а иногда, дрожа, поджимали хвосты. Он смело утверждал себя в жизни. А на этот раз против него выступил Полкан. Это был сын Задора, весь вылитый в отца, с таким же крепким корпусом, с таким же отважным характером. Имея четыре года от роду, он находился в расцвете сил. А десятилетний Задор в это время приближался к старости. Однако, все еще уверенный в своей неотразимости, он смело подошел к рыжей самке, остромордой, похожей на лису. Ему преградил путь молодой соперник, Полкан. Оба кобеля враждебно посмотрели друг на друга, сверкая огненными глазами, и гневно зарычали, вздыбив шерсть и оскалив клыки,— у одного белые и острые, а у другого притупившиеся, начинающие желтеть, но достаточно еще крепкие. Рычали долго с такой яростью, как будто у них сотрясались внутренности, и угрожающе ляз-

гали зубами, словно не решаясь начать смертного боя. Зажмурились и другие собаки, обступив на почтительном расстоянии главных соперников. Рыжая самка, присев в сторонке на задние лапы, смотрела на своих ухажеров с подзадоривающей кокетливостью.

— Нельзя, Задор! Поди ко мне! — кричал художник, подбегая к собакам.

Но было уже поздно. Задор, охваченный гневом, первым бросился в драку, но Полкан не струсил. С захлебывающимся лаем они поднимались на дыбы, опрокидывались, катались клубком. От них клочьями летела шерсть. Задор, бывавший много раз в боях, наносил удары ловчее, чаще сбивал противника с ног и разорвал ему ухо. Но на нем отразились годы, начавшие разрушать организм,— он скорее устал. Полкан наседал на него. Наконец повалил своего отца и впился зубами в горло. Это была мертвая хватка. У Задора пучились глаза, наливаясь ужасом. Предстояла верная и позорная смерть на глазах любимой огненно-рыжей красавицы, если бы не было здесь его хозяина. При помощи других мужчин художнику едва удалось отбить своего пса от разъяренного Полкана.

Задор впервые возвращался домой побежденным. Голова его была низко опущена, словно отяжелела от безнадежного отчаяния. Задыхаясь, он шел вихляющейся походкой, изувеченный и обливающийся кровью.

Целую неделю он не выходил из-под амбара, словно стыдился перед хозяином своего позора. Его гордости было нанесено незабываемое оскорбление. А когда показался на дворе, хозяин старался подкормить своего пса, давая ему мяса и молока, и говорил ему самым дружеским тоном, поглаживая остроухую голову:

— Ничего, Задор, пройдет. И у меня бывали трагедии. Одно только плохо: к закату мы скатываемся.

Задор, ласково виляя хвостом, целовал руку хозяина, но уже без прежнего порыва. Ничего больше не радовало его. С этих пор у него пропала обычная веселость. Он стал смотреть на мир угрюмо, словно понял, что наступает период увядания сил, приближение к мрачной старости.

РЕЧНАЯ КЛЕОПАТРА

На этот раз охота происходила верст за десять от города.

Крестьянские поля, образуя к югу пологий скат, заканчивались лугами, глубоко вторгавшимися в казенный лес. Луга пересекла небольшая речушка, вышедшая в эти апрельские дни из берегов и бурлившая мутными потоками. Под прямым углом она впадала в более сильную реку, разлившуюся вширь верст на пять,— в ту самую, на берегу которой стоит родной город. С юго-востока, загибаясь дугой, тянулась высокая и плотная стена леса, смешанного из хвойных и лиственных пород. К западу поднялась другая стена — крупный и корявый ольшаник, местами пересыпанный кустарниками ивняка. Здесь было много озер, непроходимых болот, зыбучих топей, камышовых зарослей. Но теперь все это залили мутные воды. Для охоты на селезней трудно было найти более удобное место.

Солнце давно миновало зенит. Весеннее небо распростерлось над землей греющей синью. Неподвижный воздух звенел трелями жаворонков, перекликами чибисов, куликов и других болотных птиц. Пахло оттаявшей прелью и снеговой водой.

На краю ольхового леса художник Басыгин устраивал скрадок. Для этого он выбрал маленький, в два аршина в поперечнике, островок, который образовался из корней деревьев, обступивших его со всех сторон, а также из мусора, застрявшего и перегнившего между ними. Между деревьями художник укрепил срезанные кусты

ивняка, переплел их еловым лапником. Для стрельбы он оставил небольшие окошечки, обращенные в сторону лугов. И когда все уже было готово, он осыпал мусором наружную часть скрадка, чтобы сделать его менее заметным. С тыловой стороны к нему примыкала разросшаяся кучка тальника.

— Довольно,— произнес художник вслух, бросая свою работу.

Чтобы посмотреть на свой скрадок издали, он отошел от него саженей на десять, утопая в охотничьих сапогах по колено в воде. Здесь, на открытом месте, у него будет плавать круговая утка. Немного в стороне он пустит деревянное чучело, раскрашенное под цвет чирковой самки. Художник, оглянувшись назад, подумал: «Скрадок замаскирован здорово. Ни один селезень не заметит засады».

Вдоль ольхового леса тянулась узкая полоса воды — разлив от большой реки. Вода здесь казалась неподвижной, и над ее поверхностью кое-где торчали кочки, похожие на волосатые бородавки. А дальше, саженей за тридцать, выступали луга, успевшие позеленеть за несколько солнечных дней.

Басыгин возвратился к скрадку. Больше ему нечего было делать. Он откроет стрельбу здесь на утренней заре, а вечером можно будет поохотиться на вальдшнепов. Забрав топор, сумку и ружье, он ушел в лес.

Свободного времени оставалось еще много. Художник развел костер и приладил над ним маленький чайник. Над лесом распростерлась голубая высь. Сквозь голые деревья разливались косые лучи уходящего солнца. Чувствовалось, как под животворящим теплом пробуждается земля, покрываясь нежно-молодыми побегами травы. Кое-где расцвели подснежники и фиалки — первые радостные дары весны. Когда от закипевшей воды дробно застучала крышка чайника, художник снял его и подбросил в огонь целую охапку сухих сучьев. Костер вздыбился красным пламенем, разбрызгивая вокруг золотые искры, и над ним, как живой, закачался волнисто-распущенный хвост сизого дыма. Охотник, греясь у огня, аппетитно закусывал и пил морковный чай, казавшийся необыкновенно душистым и вкусным. Хорошо было думать под гомон птичьих песен.

А через полтора часа он уже стоял на просеке. С одной стороны была вырубка, успевшая обрасти десятилетним кустарником, а с другой — возвышался крупный, нетронутый лес. Солнце уже скрылось, и лишь на вершинах деревьев догорали его последние лучи. Под вечерним небом рыхлые и серые низины закурились легким беловатым туманом. Недалеко поблескивало болото, постепенно окрашиваясь в медно-рыжий цвет.

Охотник, прислушиваясь к дремлющей тишине, долго томился ожиданием. И вдруг его ухо уловило хриплый голос вальдшнепа. Держа ружье наготове, он закрутил головою, вопрошающе оглядывая высь. Вальдшнеп, пролетая мимо, где-то среди крупных деревьев, остался незамеченным. Но через несколько минут снова раздалась знакомая песня. На этот раз долгоносый обитатель леса тянул вдоль просеки прямо на человека. Он только хоркал и циркал, но эти простые звуки, словно искрами, осыпали тело охотника. Басыгин, следя за направлением его полета, с дрожью отсчитывал мгновения. Вальдшнеп немного свернул в сторону и, плавно рея над кустарником, обрисовывался уже близко темным бархатистым пятном. Выстрел перевернул его в воздухе.

Сейчас же на фоне меркнущего неба, мелькая черной живой вязью, показались два силуэта — два ревнивых соперника, с яростью наносивших друг другу удары длинными клювами. В их голосах звучали нотки раздражения. Охотник вскинул ружье, и эхо дважды отозвалось на выстрелы. Один вальдшнеп, качнувшись, закувыркался вниз, а другой, более счастливый, понесся дальше, усилив полет, будто гонимый ветром.

Басыгин ночевал на пасеке у своего давнишнего приятеля. Утренняя заря еще не занималась, а он уже встал и при свете ночника начал собираться на охоту. Хозяин пасеки, смуглый, чернобородый крестьянин Кузьма Косов принес в избу кошель с уткой и, поставив его на пол, сказал:

— Я уже накормил ее, когда вы спали.

— Спасибо,— ответил художник.

Косов был высок ростом, сух и жилист. Борода его

свернулась в сторону, а волосы на голове путано всклокочились. Закинув руку назад, он почесывал спину и наказывал:

— Смотрите, Степан Романович, не застрелите утку. Коровы за нее не возьму. Вон у меня еще есть пять штук. Да что толку в них? Кровь, что ли, у них холодная—нет настоящего азарта. С ленцой орут. А эта, можно сказать, мировая крикуша. Только бы увидеть ей селезня — ваш будет. Даже парный подсядет.

— А если с яйцом окажется? — спросил Басыгин.

— Не влияет. И хоть сто раз подпускай к ней селезня — все равно не перестанет кричать. Неуемная. Три года охочусь с ней — знаю ее нрав.

Усмехнувшись в черную бороду, Косов продолжал:

— Скажите, пожалуйста, отчего это и свой домашний селезень любит ее больше других? Так и льнет к ней. Вы теперь вот уйдете, а он все утро будет беспокоиться о ней. И с сердцов начнет рвать других своих уток. Ежели по-человечески рассудить, она самая распутная жена у него. Как вы на этот счет думаете, а?

— После поговорим об этом. Надо торопиться.

— Ну, ни пера, ни пуху вам.

Художник поблагодарил пасечника и вышел за дверь.

Предутренник был свежий, с легким морозцем. Охотник шел прямо по лугам под звездным покровом ночи. В тишине далеко раздавался хруст его шагов. На северо-востоке небо едва заметно светлело. Придя на место, он пока пустил только чирковое чучело, а кошель с уткой взял с собою в скрадок. В темноте еще нельзя было стрелять. Художник снял с себя кошель, охотничью сумку, ружье, уселся поудобнее и, закурив папиросу, стал ждать рассвета.

Через луга послышались первые голоса воркующих тетеревов. Постепенно число их увеличивалось, игра становилась громче, страстнее. В ольшанике просыпалась болотная дичь: клинкали красноголовые чирки, скрипели, разыскивая самок, стрекуны и где-то быком мычала выпь, эта мрачная и одинокая птица. Бледнеющая высь зазвенела песнями жаворонков. С какого-то далекого озера, скрывающегося в таежной глуши, чистыми и высокими нотами донеслись крики журавлей. Медленно ширилась и зарумянивалась заря, а вместе с нею на огром-

нейшем пространстве вокруг как будто невидимые музыканты начали разыгрывать концерт в честь расцветающей весны, вливая в него все новые и новые звуки.

На молочно-матовой поверхности воды уже можно было различить чирковое чучело. Значит, наступила пора открыть охоту. Художник достал из кошеля круговую утку и проверил, хорошо ли привязана к ее ноге полуторасаженная бечева с железным грузом на другом конце. В это время где-то, версты за две, раздался гулкий выстрел. У Басыгина невольно вырвался завистливый возглас:

— Ах, черт возьми!

Он торопливо пустил утку на воду и, вернувшись в скрадок, с нетерпением начал следить за «мировой» крикушей. Она приподнялась над водою, как бы становясь на дыбы, и помахала онемевшими крыльями, производя гремящий шум. Художник хорошо знал, какие должны последовать дальнейшие действия: ей нужно утолить жажду и покупаться, а потом клювом пригладить перья. Проделав все это, она несколько секунд прислушивалась, словно желая разобраться в хаосе звуков, и крякнула вполголоса. Затем раздалось два выкрика подряд — громче. Призывы становились энергичнее. В голосе слышались тоскливые нотки одиночества. И вдруг радость — утка закрякала, повышая звуки, учащенно, в осадку. Охотник вздрогнул, словно пронизанный горячей струей. На воде послышался всплеск. Утка сразу замолчала. Жадными глазами прильнул охотник к окошечку скрадка: скрипит, дергая головою, белобровый стрекунок. Вырвавшееся из дула красное пламя взорвало тишину раннего утра. Лес отозвался грохочущим хохотом. А когда рассеялся дым над водою, нельзя было не порадоваться удачному результату первого выстрела.

Утка снова начала бросать призыв в воздух. Голос у нее был звонкий и нежный. По временам она прислушивалась, стараясь различить в гомоне птичьих песен знакомые шипящие звуки селезня.

В стороне, налево, саженей за сто, откликалась другая утка. Дикая или домашняя? Художник не мог решить этого вопроса до тех пор, пока не громыхнул там выстрел. Такое близкое соседство неизвестного охотника ему не понравилось.

Утка, подняв голову вверх, заорала в осадку. Донеслось шиканье селезня. От этих звуков до сладостной боли напряглись нервы. Басыгин взвел курки. И в тот момент, когда селезень опускался на воду, он успел просунуть стволы ружья в окошечко скрадка. Высоко подняв голову, селезень сидел без движения, молча и настороженно, не подозревая, что уже взят на прицел. От выстрела зазвенело в ушах охотника. В одной сажени от утки, беспомощно хлопая крыльями, заворочался селезень.

— Великолепно!

Самка отплыла от него, насколько позволяла бечева, и, косясь одним глазом, с полминуты смотрела на своего умирающего поклонника. Казалось, что она немножко всплакнула, издавая пискливые, едва слышные звуки. Но вокруг была такая необъятная ширь и такие волнующие звуки и запахи плыли со всех сторон, что она снова начала звать селезней.

Лес, луга, болота, небо — все звенело от разноголосых песен. Все птицы были охвачены весенним сладострастием. Над ольшаником, гогоча, пролетали стаи диких гусей. В озаренном воздухе, бросаясь вниз, блеяли молодыми барашками бекасы. Рядом со скрадком, в кустах тальника, вздувая подбородок, весело распевала камышовка, маленькая — с наперсток. Над лугами, перевертываясь на лету, играли чибисы с выкриками: «Кувырк, кувырк, перекувы-ы-ырк». Два речных кулика недалеко подсели на кочку, и один из них, самец, более нарядный, подняв голову, голосисто протянул: «Грицко, грицко, вижу, вижу, вижу». Потом начал топтаться вокруг своей подруги, грозно топорща перья.

У охотника, что находился в соседстве с Басыгиным, после нескольких выстрелов утка перестала кричать. Тогда он сам начал подкрякивать в кулак, но делал это не совсем умело. На такой призыв может подсесть только глупый селезень. А художнику то и дело приходилось заряжать свое ружье. Он убил шесть штук кряковых селезней, одного шилохвостого и несколько чирков. А его утка все сильнее входила в азарт и, не переставая, кричала. Басыгин, сравнивая ее с женщиной, дал ей новое прозвище — Речная Клеопатра. В своей страстности она доходила до самозабвения и в то же время была безжалостна к своим поклонникам.

Разгоралась заря, заливая восток огненно-пунцовыми красками. Исчезали на небе звезды, и высь становилась прозрачнее, глубже. Вода казалась жидким золотом. На блестящей ее поверхности, среди убитых самцов, плавала Речная Клеопатра, оглядывая воздушный простор. Она была в скромном сером опереньe, но сила ее заключалась в другом — в голосе, переливающем чудесными интонациями от самых бурных до нежно-призывных, в неистощимости сердечных чувств, в пламенном темпераменте,— страшная притягательная сила, опьяняющая головы селезней.

Подсел парный селезень. Между двумя соперницами возникла непримиримая ревность: каждая манила его к себе. Клеопатра победила — он направился к ней. А его постоянная подруга начала кружить около него, преграждая ему путь. Она находилась к нему так близко, что нельзя было выстрелить, чтобы не задеть ее. Наконец, потеряв надежду остановить безумца, она прибегла к последнему средству: с отчаянным криком вспорхнула, как бы намереваясь улететь и навсегда оставить своего супруга-изменника. Но и это не помогло, и она опять опустилась на воду. Воспользовавшись моментом, Басыгин выстрелом подбил селезню одно крыло. Селезень начал уплывать. Еще один заряд был пущен ему вдогонку. Он опрокинулся и снова, поправившись, старался спастись. Басыгин выскочил из скрадка и, не давая уйти селезню в ольшаник, погнал его на луга. А в это время дикая утка низко кружилась над ним, и ее крики походили на рыдания. Минуты через три селезень, еще живой, находился в руках охотника. Басыгин с отвращением разбил голову птицы о ложе ружья. А потом, подобрав кстати еще двух птиц, опрокинутых вверх брюшками, спрятался в скрадок. Дикая утка, вдова, еще долго не улетала и все носилась поблизости, с плачем призывая своего избранника.

Басыгин задумался. Навязчивые мысли раздражали нервы: в сущности, какая это подлая вещь — охота. Сам он сидел в засаде и при помощи утки обманывал самца. Позади у селезня остался далекий путь, полный опасности,— путь, который он с трудом преодолел на своих мускулистых крыльях. Не раз препятствовали ему буйные ветры, не раз ускользал он от страшных когтей хищных

птиц, стремясь на север, куда увлекал его древний закон земли. Басыгин в своих рассуждениях доходил до того, что готов был прекратить это мерзкое убийство неповинных птиц.

Но лишь стоило Клеопатре закричать в осадку, как сразу все изменилось. Жалости больше не было. Охотничий слух напрягся. Из воздушного простора, пронизанного отблеском зари, торжественно падали шикающие отклики. Басыгин, поставив поудобнее колено, ожидающе замер, охваченный хищным инстинктом. Селезень, вероятно, заметил его движение, а может быть, ему приходилось попадать под обстрел: он улетал и возвращался, боясь опуститься на воду. Наконец он не выдержал и подсел саженей за тридцать от утки. С полминуты он находился без движения, вытянув вертикально длинную шею и зорко всматриваясь в сторону скрадка. А самка, возбужденная близостью самца, повернулась к нему и звала его уже исступленным криком. Он подплывал к ней медленно, чувствуя, что здесь скрыта какая-то опасность. Часто останавливаясь и как бы намереваясь повернуть обратно, он, в свою очередь, манил ее к себе. В его шипящем голосе звучала тревога. Почему же она остается на месте? И Басыгин увидел, как утка прибегла к хитрости, окуная щелкающий клюв в чистую воду и делая вид, что давится от обилия пищи. При этом у нее прорывались выкрики, захлебывающиеся и звучащие совершенно по-иному. Басыгин мысленно перевел их на человеческий язык:

«Милый! Я не могу к тебе. Здесь столько всякого вкусного добра. А опасности ровно никакой нет».

Потом она начала купаться, плескаясь в воде, кокетничая и пленительно виляя распущенным хвостом. Разве можно было устоять перед таким соблазном? И самец сдался. Он, необыкновенно красивый в своем брачном наряде, осторожно плыл по золотой поверхности озера. Казалось, каждое перо на нем горит и переливает самоцветом. Он не мог не видеть других селезней, поплатившихся за свою смелость, но желание овладеть этой удивительной невестой было сильнее страха, сильнее смерти. Счастье было так близко, а могучий инстинкт отуманил рассудок, пробудил отвагу. Поколебавшись в последний раз, он решительно направился к сам-

ке, ослепленный любовью к ней, презирающий опасность. Но в этот момент убийственный свинцовый дождь взъерошил его весенний наряд.

Басыгин спросил самого себя:

— Какой это по счету? Кажется, восьмой.

В нем осталось что-то от древних предков, когда люди добывали себе пищу исключительно охотой. Его радовала большая добыча. Он был крайне возбужден и, несмотря на свежесть утра, чувствовал жар во всем теле.

Рядом с ним что-то закопошилось. Он оглянулся. Это ожил селезень, за которым он гонялся на лугах. Селезень устало приподнял разбитую голову и, слепой, беспомощный, тихо закачал ею, словно упрекая охотника в преступлении. Басыгин, охваченный жутью, раздраженно произнес:

— А, ты опять хочешь удрать от меня!

Он схватил селезня за ноги и начал бить его о дерево. Птичья голова превратилась в хрустящий мешочек с кроваво просачивающимся мозгом. Брошенный на землю, селезень задрожал в последних судорогах, а потом, умирая, напряженно вытянул, точно после сна, изжелта-красные ноги с перепончатыми пальцами.

Басыгин почувствовал себя разбойником, вносящим смерть в брачный пир уток,— туда, где должно было бы произойти зачатие новой жизни. Это его взволновало, и, чтобы успокоиться, он начал возражать самому себе:

— Ничего не поделаешь — так устроена жизнь. Иначе и не может быть. И волк, и ястреб, и акула, и всякая другая хищная тварь должны же как-нибудь кормиться, раз появились на свете.

Подумав немного, он продолжал:

— Есть вещи похуже, чем охота. Взять, например, хорошего хозяина, земледельца. Как он заботится о своей скотине! Кормит, чистит, гладит, ласкает ее, беспокоится о ней. С точки зрения скотины — что такое хозяин? Любимое и любящее божество. Послушайте, когда баба манит кур, произнося слова нараспев: «цы-ыпа, цы-ыпа». Сколько трогательной нежности в ее голосе! Или хозяин начнет ласкать свинью. Он почесывает ей живот, проявляет к ней внимания больше, чем к своей жене. Она ложится на бок и с такой благодарностью хрюкает ему в ответ. Умилительная картина! А потом, когда придет

осень, то же божество скажет своей скотине: «довольно». Куры, утки, гуси — подставляй голову под топор. Коровы, быки, овцы, свиньи — становись под нож хозяина. И все это проделывается без всякой жалости, с холодным расчетом о прибыли. Вот где настоящее предательство...

Возражения, сделанные самому себе, казались вполне убедительными, и Басыгин мысленно засмеялся над прежней своей жалостью к убитой дичи.

Над крестьянскими полями показалось одним краем солнце. Оно погасило зарю, а само, поднимаясь и накаляясь, становилось все ярче. Небо голубело.

Мимо скрадка со свистом пронеслась стая турухтанов. Встрепенувшись, Басыгин вскинул к плечу ружье, а потом ругал самого себя, что не успел сделать выстрела. Над головой раздался грозный клекот. Это кричал, направляясь к лесу, ястреб. Быть может, он только звал свою самку, но все птицы поблизости сразу притихли, как будто их и не было здесь. Замолкла и Клеопатра и притворилась мертвой: шея ее вытянута по воде, голова свернута набок, и лишь один глаз следит за полетом врага. Ни одно перо не шевельнулось на ней. Но после миновавшей опасности она закрякала громче.

Подсел селезень в ольшанике, за скрадком. Басыгин сжался, затаил дыхание, чувствуя, как тот разглядывает его спину. Убедившись, что ничто ему не угрожает, селезень через несколько минут поплыл мимо скрадка, направляясь к манящей его утке. Стрелять в него нельзя было — можно убить свою крикушу. А в это время Клеопатра окунала голову и плескала на себя воду, сверкающую раздробленным хрусталем. Она вся была в безудержном экстазе и трепетала, бессильно распуская крылья. Она не могла уже больше кричать, а только тихо и томно стонала, изнемогая от чувственности. Опьянел и селезень весенним хмелем. Приближаясь к самке, он не спускал с нее черных блестящих глаз и, напряженно изогнув шею, шикал учащенно, с придушенной хрипотой, словно ему зажали горло. В этот момент он был неотразим для нее в своем роскошном брачном наряде: голова его с широким янтарным клювом — в жарком темно-изумрудном переливе, на шее — белоснежный воротничок, зоб — золотисто-бурый, на каждом кры-

ле — лазоревая полоска в белой оторочке, хвост — бархатно-черный и на нем два кудряво завернутых пера. Все крапинки, все темные и стальные разводы сочетались в цветистые узоры, а краски были так свежи и ярки, словно он только что вышел из мастерской величайшего художника. В лучах поднявшегося солнца, в золотых вспышках расходящихся по воде кругов, он даже с человеческой точки зрения казался изумительным красавцем. Басыгину не хотелось его убивать. Притаившись в своем скрадке, он предоставил ему полную свободу. Селезень потоптал утку, яростно ухватив ее клювом за шею, а потом, сразу вскрылив, спиралью поднялся в голубую высь.

Удовлетворенная Клеопатра, купаясь, закричала высокой и радостной нотой, словно посылала благодарность улетевшему другу.

В ольшанике раздались всплески воды. Басыгин повернул голову. К его скрадку приближался человек, стоя на корме длинной долбленки и работая одним веслом. Это оказался знакомый охотник, Митрофан Гордеев, с худым и скуластым лицом в клочьях желтоватой бороды. Он еще издали закричал:

— А я по соседству тут находился. Кто это, думаю, тут бухает? Утка, кажись, Косова, а выстрелы будто не его. А тут, оказывается, вон кто. Давно из города?

— Только вчера.

Гордеев протолкал лодку носом в тальник, к скрадку, с тыловой стороны его. Потом, поздоровавшись, уселся на носу своей долбленки. На дне ее были два селезня и три чирка. Пожаловался:

— Утка моя ни к черту не годится. Как убил второго селезня, так и замолчала. Вот окаянная!

С восходом солнца прилет селезней уменьшился. Клеопатра дошла до хрипоты, но все еще продолжала голосить. Это была какая-то неукротимая нимфоманка.

— Вот это утка! — глядя на нее, удивленно покачал головой Гордеев.— Такой во всей округе больше не найти. Да с нею любой дурак набьет селезней. У этого черномазого цыгана, у Косова-то, сроду хорошие утки водятся.

Художник посмотрел на Гордеево ружье — старая шомпольная двустволка, так называемая «подожди-погоди». Спросил:

— Ну, как твое ружье?

— Здорово бьет. Не дальше, как в прошлом году, оно у меня со стенки сорвалось. Как трахнет стволами по горшкам. Пять штук вдребезги, и все с молоком. Баба моя потом целую неделю грызла меня, как собака кость.

Село, в котором проживали Косов и Гордеев, было расположено на берегу реки, верст за шесть отсюда. Там зазвонили в большой колокол, призывая мирян к заутрене вербного воскресенья. По разливу воды далеко разносился октавно-низкий гул меди, вызывая в лесу отклики. Птицы с меньшим задором пели свои истомные песни. Для них наступала пора отдыха от любовных увлечений.

Двое охотников, покуривая, разговаривали об охоте, пригретые солнцем.

Вдруг подсел широконосый селезень. Он находился на таком большом расстоянии, что убить его было трудно. Но он в редких случаях может подплыть к кряковой утке. Художник выстрелил в него и, когда селезень стремительно сорвался с воды, послал ему влет второй заряд.

Гордеев засмеялся, щуря глаза:

— Перья сбил, а говядина улетела.

— Хватит с меня. Пора кончать охоту.

Басыгин начал собирать убитую дичь.

Через несколько минут, простившись с Гордеевым, он направился на пасеку своего приятеля Косова. Ружье, кошель с уткой, вязанка добытой дичи давили ему плечи. Но он бодро шагал по лугам, сверкающим многочисленными лужами.

КОНСПЕКТ ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ

Давнишняя мечта Басыгина наконец осуществилась: он попал в Москву. Но это еще не значило, что можно проникнуть со своими картинами на выставку. Он столкнулся с жюри, которое отнеслось к нему более чем сурово: не хотело совсем предоставить ему место. В особенности вызвала горячие споры его картина с изображением собаки. Кому такая картина теперь нужна была? Басыгину пришлось много хлопотать, бегать по влиятельным лицам, включительно до наркома просвещения, прежде чем добился права на выставку своих полотен. Ему, как провинциальному художнику, отвели самую последнюю комнату, где он и разместился со своими произведениями. Но что из этого получилось? При входе в его комнату первым делом бросался в глаза портрет Задора, написанный во весь его рост. Обозреватели останавливались в дверях с удивленными возгласами, а некоторые даже с испугом, словно перед ними был живой пес. Нравились публике и другие его картины, но не так, как эта.

Таким образом, будучи покойником, Задор еще раз сыграл в жизни Басыгина крупную роль. Его изображение оказалось гвоздем всей выставки. Москва признала художника. Его причислили к лучшим мастерам кисти.

Очерки и статьи

МОЙ ПУТЬ

Родился я 12 марта (по ст. ст.) 1877 года в селе Матвеевском, Спасского уезда, Тамбовской губернии. Отец мой был из кантонистов николаевского времени. Прослужил на военной службе двадцать пять лет. За отказ от производства в офицерский чин получил небольшую пенсию. В родное село он вернулся с женою,— привез с собою плохо говорившую по-русски польку, чем удивил своих односельчан. Отец был широк костью, физически силен, весь от земли. Жил долго и крепко, не поддаваясь разрушениям времени. Смерть встретила его, когда он перевалил на девятый десяток. Мать, будучи значительно моложе его, не отличалась таким здоровьем, а непривычный крестьянский труд состарил ее раньше времени. Она была мечтательна, увлекалась сказочным миром, в мыслях устремлялась к небу.

Село наше глухое, отсталое, окруженное стеной дикого леса. Школы не было. Грамоте начал учить меня отец. Старинную азбуку я выучил шутя, но когда дошел до складов, дело затормозилось. Мне настолько опротивела грамота, что потом никакими мерами не могли заставить меня учиться. Отдали к дьячку. Это был крупный человек, в лохматом седом волосе, всегда угрюмый. Внешностью своей он напоминал библейского Саваофа, и это очень пугало меня. Но и с ним я нисколько не подвинулся вперед в грамоте.

— Какой ты супротивный, Алексей! — сурово говорил дьячок и ломал о мою голову линейку.

Потом молодой священник составил из мальчиков группу человек в двадцать и начал нас учить в церковной сторожке. Он всегда теребил свою русую бородку, красиво обрамлявшую нижнюю часть лица. Маленькие серые глаза смотрели подстерегающе. Тихим голосом он выкликал:

— А ну-ка ты, непокорная тварь, выходи!

Я знал, что это ко мне относится, и ниже нагибался над партой. Тогда священник подходил ко мне, брал меня за подбородок и закидывал мне голову назад. Под его пытливым взглядом, остро упирающимся в мои глаза, я окончательно обалдевал. В мозгу не оставалось ни одной мысли, точно голова моя превращалась в пустой горшок.

— Врешь! Я вышибу из тебя дьявола!

Каждый день я возвращался домой с красными ушами. Меня удивляло, что небольшие пухлые руки священника могут причинить такую боль.

После этого я попал в школу соседнего села. Напрасно учительница злилась и старалась наказаниями заставить меня учиться. Мое сопротивление росло, увеличивалось. Я стал мстить ей разными озорными выходками. Наконец сбежал домой. Мать плакала, а отец, сокрушенно качая головою, говорил:

— Эх, Алеша! Несуразный ты уродился у нас... Затрет тебя жизнь...

В продолжение трех лет мучился я над складами. Каждое печатное слово вызывало во мне отвращение. Я проклинал тех, кто выдумал азбуку.

Однако родители мои никак не могли примириться с тем, что я останусь неграмотным. Попробовали еще раз отдать меня в другое село, находившееся от нас километров за десять. Учительница, молодая и скромная девица, с белокурыми локонами, при первой же встрече хорошо улыбнулась мне, по-матерински обняла, приласкала. Я сразу почувствовал, что в груди моей растаял ком накопившейся злобы, и потянулся к ней доверчиво. В две зимы кончил церковно-приходскую школу первым учеником. И тогда-то во мне проснулась сильная жажда к знанию, но дальше учиться не пришлось.

Запрягся в земледельческую работу. И только вместе со старшим братом, постоянным спорщиком с духовенством, я читал тогда все, что попадалось под руку: приложения к журналам, по астрономии, о Джеке-Потрошителе, уголовный кодекс, но больше всего — религиозные книги.

Мать моя, очень религиозная женщина, определенно готовила меня в монахи. Может быть, я и действительно попал бы в монастырь, если бы случайно не встретился

с одним матросом (о котором у меня написан особый рассказ — «Судьба»). Матрос много мне порассказал о флоте. Под влиянием этой встречи с моряком и моя жизнь сложилась совершенно по-иному. В мыслях я после не расставался с морем, с кораблями, воображая себя моряком. Рассказы матроса окончательно оторвали меня от земли: ее не было больше в моих мечтах, неудержимо увлекавших меня от сухопутной действительности в ведущий мир грез. Тогда весь мир представлялся мне одним сплошным безбрежным и бескрайним океаном, и жизнь там только на кораблях — волны и корабли, и больше нет ничего на свете. Деревенская глушь порою отрезвляла меня от мечтаний о морях и кораблях, а порой и усиливала их. Так сложился из меня здоровый от сельской работы деревенский парень, не видавший еще большой воды, но упорно мечтавший о неведомых морях.

На двадцать втором году жизни меня призвали на военную службу. Я сразу назвался охотником во флот. Сверстники мои — новобранцы — горевали от разлуки с родным селом и если веселились, то скорее от отчаянного горя, чем от радости, а я горел от счастья.

Служил я в Балтийском флоте. Здесь я усиленно занялся самообразованием.

Одно время я посещал в Кронштадте воскресную школу. До сих пор я с благодарностью вспоминаю о ее преподавателях. Через них я впервые познакомился с нелегальной литературой, здесь началось мое политическое и социальное пробуждение. Из этой школы, как от прожектора, был направлен в мрак царского флота яркий луч знания. Но мое обучение в этой школе продолжалось недолго. Вскоре школу закрыли, некоторых преподавателей арестовали. Начались аресты и во флоте. Мне хотелось подготовиться к экзамену на аттестат зрелости и поступить в университет, но попал вместе с другими матросами в дом предварительного заключения.

На литературный путь меня натолкнуло знакомство с биографиями таких писателей-самоучек, как М. Горький, А. Кольцов, Суриков, Решетников и другие. Я понял, что можно сделаться писателем, не обучаясь в высшем учебном заведении. Но дело это оказалось чрезвычайно трудным. Теперь имеются высшие литературные школы, доступные для всех. При каждом издательстве

есть для начинающих писателей литконсультации. Тогда ничего подобного не было. Мне не к кому было обратиться за советом. Я был предоставлен самому себе. Приходилось как бы заочные курсы брать, читая по истории литературы и учась по образцам лучших художественных произведений как русских, так и зарубежных классиков. Нужно было исполнять те или иные служебные обязанности и в то же время работать над собою, работать упорно, работать за счет отдыха и развлечений, ибо другого времени у меня не было.

Первая моя статья, в которой я призывал матросов посещать воскресную школу, была напечатана в газете «Кронштадтский вестник». Это меня окрылило. Я стал мечтать о литературной деятельности. С этой целью, когда я плавал с эскадрой адмирала Рожественского на Дальний Восток, я вел дневник.

С 1907 по 1913 год скитался за границей как политический эмигрант: жил в Англии, Франции, Испании, Италии и в Северной Африке. В Англии прошел через «потогонную систему».

Писал мало, лишь в часы отдыха. А во время империалистической войны и в первый период революции совсем забросил литературную работу.

В 1906 году я написал две брошюры о цусимском бое: «Безумцы и бесплодные жертвы» и «За чужие грехи». Но они немедленно были конфискованы. В 1914 году «Книгоиздательством писателей в Москве» была приготовлена к печати моя первая книга — «Морские рассказы». Но грянула война, а по военному времени книга оказалась нецензурной. Пришлось разобрать набор. И только в 1917 году, после свержения царизма, тем же издательством она была выпущена в свет.

В литературе я работаю немного больше тридцати лет. Но из них одну треть нужно выкинуть. За это время, зажимаемый царской цензурой, я с трудом проникал в периодическую печать. А так как кроме двух брошюр у меня не было издано ни одной книги, то я считался как бы незаконнорожденным писателем или, как раньше в деревнях говорили, «зауголышем». И только при советской власти для меня наступила возможность выпускать свои произведения в миллионных тиражах.

1937

КТО НАУЧИЛ МЕНЯ

К 25-летию со дня смерти Станюковича

Перед тем как кончить морской кадетский корпус, К. Станюкович, зараженный тогда либеральными идеями шестидесятых годов, решил бросить морскую карьеру и поступить в университет. Против такого желания восстал его суровый отец, «грозный адмирал». Мало того, последний обратился в морское министерство с просьбой, чтобы сын его был немедленно назначен в дальнее плавание. Просьба адмирала была уважена. Семнадцатилетний юноша не мог не подчиниться своему отцу. За полгода до выпуска в офицеры он на корвете «Калевала» отправился в кругосветное путешествие. Вернулся К. Станюкович в Петербург только через три года, сменив за это время несколько кораблей. Можно безошибочно сказать: если бы в жизни К. Станюковича не произошло такого случая, он не вошел бы в историю русской литературы так крепко и основательно. Три года плавания и в тропических водах и в холодных, посещение иностранных портов, столкновения с разными типами моряков дали ему достаточно материала, чтобы потом, после двадцатилетней литературной деятельности, будучи уже в ссылке в Сибири, выступить в печати с прекрасными морскими произведениями. С тех пор и до конца жизни своей (1903) он не переставал изображать корабельную жизнь и морскую стихию. И все морские рассказы, выходившие из-под его пера, настолько были свежи и сочны, настолько возвышались в художественном отношении над его прежними «сухопутными» тенденциозными романами, что прежний молодой и задорный Станюкович меркнет перед пожилым Станюковичем. Представляется, что

на морские темы он писал с особой любовью, тщательно отделывая каждую свою новую вещь, украшая ее самоцветами своего таланта. Вот почему имя его как мариниста стало так популярно среди читающей публики.

Немало у нас писателей пыталось быть маринистами: Даль, Марлинский, Беломор, А. Черный, лейтенант Свистунов, барон Косинский, П. Елисеев, С. Гарин и другие, но мало кто знает о них. Все они, вместе взятые, представляют собою слабые подголоски при ярком певце морей и океанов. Говоря о море, нельзя не вспомнить Станюковича — настолько имя его вросло в сознание читающей публики.

Впервые я познакомился с морскими произведениями этого писателя, плавая на крейсере «Минин». Один лейтенант, отличавшийся от других офицеров хорошим обращением с матросами, человек весьма культурный, заметил, что я почти не расстаюсь с той или другой книгой, пряча ее во время работы за пазуху просторной форменной рубахи. Это его заинтриговало. Раза два он поговорил со мною, а потом, узнав, что скудная библиотеска, предназначенная для матросов, не удовлетворяет меня, начал снабжать меня книгами из офицерской судовой библиотеки. Вот тогда-то и удалось мне достать полностью морские произведения Станюковича. Сидя на баке или примостившись где-нибудь около пушки, я читал и перечитывал их под всплески волн, под свист капральских дудок, под хлесткую ругань матросов. Вернее, я ничего не слышал. Я находился весь во власти очарования этих изумительных и никогда незабываемых морских рассказов...

Помню, какое неотразимое впечатление произвели на меня такие вещи, как «Грозный адмирал», «В шторм», «Морской волк», «Вестовой Егоров», «Ужасный день», «Мрачный штурман», «Матросский линч».

Если Станюкович со своими морскими рассказами до сих пор дорог для всех, кто любит русскую литературу, то для меня, как для моряка, он дорог вдвойне.

Еще ближе, роднее стал он мне, когда я начал пописывать. Это он научил меня, как нужно пользоваться морским материалом и разговорной речью, это он увлек меня писать на морские темы.

1928

ФЛАГМАН СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В дни ликующей радости трудящихся по поводу опубликования величайшего документа в истории человечества — проекта новой Конституции СССР — нас поразила великая скорбь. Умер классик русской литературы. Умер великий Максим. Особенно осиротели советские писатели, лишившиеся в его лице флагмана советской литературы.

О смерти этого гениального человека и художника скорбят миллионы трудящихся нашей страны и всего мира.

Мое сердце сжимается от невыразимой боли. Ведь Горький в моей жизни сыграл большую роль, ведь он был моим учителем.

Сейчас, в момент всенародного траура, мне приходит на память то далекое прошлое, когда впервые могучий талант М. Горького зажег меня смелой и дерзновенной мечтой об иной и лучшей жизни. Из глухого села Тамбовской губернии, из тьмы и леденящей жути рабства и беспомощности крестьян, я в 1899 году попал на военную службу матросом в Балтийский флот. Я смутно ощущал, что жить нужно как-то иначе и нужно что-то сделать, чтобы изменить эту подлую жизнь всенародной подавленности и бесправия. Был я тогда молод, впечатлителен и настойчив. Но я уже сознавал, что за лучшее будущее можно бороться только тогда, когда ясно от-

даешь себе отчет и когда хорошо разбираешься во всем окружающем.

Я усиленно занялся самообразованием. Это было тогда очень трудно: ни опыта, ни руководства не было. Я с жадностью читал без разбора все, что попадалось под руку. Среди прочитанных в то время книг много было ненужного балласта. Но встречались также и такие книги, которые обжигали сердце. До сих пор незабываемы минуты глубочайшего восторга: первый том рассказов М. Горького произвел на меня потрясающее впечатление. От него повеяло свежим ветром нового восприятия жизни, веры в творческие силы простых людей. С того дня я всегда искал в журналах и сборниках имя так взволновавшего меня писателя. Алексей Максимович стал любимым моим автором. Найдя новое его произведение, я каждый раз торопливо уходил в какое-нибудь укромное отделение корабля, куда не мог заглянуть глаз офицера, и, забыв все на свете, погружался в чтение.

Необычайно велика была забота Алексея Максимовича о молодых авторах. Определенно можно сказать, что во всей истории русской литературы ни один писатель не уделял столько внимания новичкам, как Горький. Наравне со многими другими и мне пришлось обратиться к его поддержке. На самых первых порах моей писательской работы он позаботился обо мне по-отечески, ободрил, утешил и указал мне верный путь литературной работы. Это было в 1911 году. В качестве политического эмигранта я находился тогда в Лондоне. Оттуда в Италию я послал Горькому свой рассказ «По-темному». Не прошло и недели, как я получил от него письмо. Скорый ответ меня удивил и растрогал. Он сообщал мне, что рассказ ему понравился, и обещал напечатать его в толстом журнале «Современник». Вскоре же я получил от него и второе письмо: М. Горький приглашал меня к себе на остров Капри — пожить и поучиться. Это взволновало меня еще больше. Такой предупредительности и чуткости в то суровое время ко мне, безвестному молодому автору, я не ожидал. Мне давно хотелось с ним

повидаться, но как я ни стремился к нему, мне трудно было выехать из Лондона. Жил я тогда в большой нужде, работал в одной английской конторе. Поэтому сразу оторваться от службы мне было нельзя.

Только в мае следующего года я смог наконец воспользоваться любезным приглашением Алексея Максимовича и прибыл к нему. Встретил он меня очень гостеприимно. Прожил я на Капри ровно год. Конечно, это время не пропало для меня даром. Этот год совместной жизни с М. Горьким на острове Капри навсегда запечатлен в моей памяти. Под непосредственным руководством такого великого мастера слова, как Горький, я усиленно занимался литературной работой. Литературная учеба вблизи М. Горького поставила меня, начинающего автора, на ноги.

1936

СЧЕТ ЛИТЕРАТОРАМ

Русская маринистская литература до революции была чрезвычайно бедна. Отдельные крупные писатели случайно останавливали свое внимание на морской тематике. Марлинский, Григорович, Гончаров создали произведения-одиночки, и только Станюкович с его прекрасным знанием материала был единственным классиком — бытописателем моря.

В первые годы после революции не было, казалось, нужды в морской литературе. Другие проблемы волновали тогда писателей. От флота военного и коммерческого осталось ничтожное количество кораблей. Разоренный морской и речной транспорт представлял собою жалкое и ужасное зрелище. Я сам видел, как в госпароходствах речники и моряки по нескольку месяцев ждали вакансий: не на чем было плавать.

Каким далеким кажется теперь этот период! Мощный флот создан и растет с каждым днем. Строятся огромные морские суда. Наши корабли плавают в океанах и морях всего мира, и наши люди по праву гордятся высоким званием советского моряка. Все реки страны также скоро будут заполнены пароходами. Даже наименование «мелкие реки» исчезнет с географических карт: все водные магистрали будут равно необходимы в народном хозяйстве, связанные в единый транспортный узел.

Людей не стало хватать. Нужны новые капитаны, кочегары, матросы — ясные головы и крепкие руки.

Я получаю много писем от моих читателей. Молодые люди хотят быть моряками. Их тянет море, они любят его, но их представления о море часто весьма туманны.

Многие из них черпают свои сведения о моряках и опасных рейсах из старых книг, захватывающих своей романтикой, но далеких от современности. И вот они спрашивают меня: «Что читать о море, о сегодняшней жизни моряка, о наших героях-капитанах, замечательных людях советского флота? Почему писатели наши так мало пишут об этом?»

Этот вопрос я сам хочу задать писателям. Много ли авторов наших пишет о море, о моряках? Их легко пересчитать по пальцам. Это Соболев, Лавренев, Паустовский, Дмитриев (ныне покойный), Кнехт и некоторые другие. Меня радует, что хорошие писатели занялись обработкой морского материала, но ведь все же это только первые «пионеры» новой тематики, а за ними не видно еще других маринистов.

Между тем какое богатство красок, какое обилие сюжетов можно найти на любом морском или речном бассейне, на отдельном судне, даже в отдельном рейсе того или иного судна! Какие интереснейшие люди выросли во флоте — люди, которых любой классик охотно избрал бы героями своих произведений!

Нигде, может быть, так не воспитывается героизм, как в море, где в тяжелых испытаниях проверяются личные качества человека, где часто приходится рисковать своей жизнью, чтобы спасти товарища или предотвратить аварию. «Все за одного, один за всех» — таков старинный неписаный закон моряка. И эта традиционная морская доблесть, наполненная новым, советским содержанием, дает нам примеры большой отваги, великой преданности моряка своему делу, своей Родине.

Нужно ли перечислять факты, о которых знают все? Вспомните отважный экипаж «Советской нефти», спасший людей с «Жоржа Филиппара». Вспомните наших капитанов Воронина, Мелехова, Зюзенко и многих других. Взгляните на страницы газет, где часто появляются сообщения о самоотверженных поступках того или иного моряка. Недавно во время пожара на пароходе «Трансбалт» молодой моряк Рыкин, комсорг судна, героически погиб в борьбе с огнем. Каждый из этих людей мог бы стать центральным лицом интереснейшей книги. Факты из биографий этих людей воспринимались бы ярче и глубже, чем любая искусная выдумка.

Слушать простые рассказы капитанов о штормовых рейсах, далеких портах, о вечном разнообразии моря часто бывает много интереснее, чем читать книги иного морского писателя. Сколько материала, какая богатая борьбой и приключениями жизнь! Вот где настоящий клад, неиссякаемый источник вдохновения для литератора, который серьезно и любовно возьмется за работу.

А серьезность и любовь необходимы. Некоторые писатели, легкомысленно подходя к теме, злоупотребляют в своих произведениях так называемой «морской спецификой» и пересыпают рассказы морской терминологией, сложными и необычайными проклятиями, громоздят образ на образ, сравнение на сравнение, пишут «высоким», то есть малопонятным, языком. А ведь всякая тематика, кажется мне,— и морская тематика в особенности — требует прежде всего простоты. Формальные «штучки» часто только затемняют смысл, затуманивают основное в художественном произведении — показ человека во весь его немалый рост.

«Красивости», плохо понятое искусство стиля, искажают художественную правду. И с другой стороны, как иногда потрясает нас человек, рассказывающий о себе, о своей жизни простым, народным, иногда даже бедным языком.

Жаль, право, что моряки редко пишут книги о себе.

«Красивости» часто служат прикрытием для автора, который не проник дальше поверхности своей темы. Правда жизни только тогда вскрывается в произведении с предельной ясностью и становится художественной правдой, когда автор досконально, до мелочей изучил и понял свой предмет.

Автор должен собрать материал на десять книг, а написать одну — и эта книга будет хороша. Так человек, строящий здание, должен в избытке располагать строительным материалом. Никакими лепными украшениями, никакими завитушками не возместить нехватку кирпича!

Если писатель берется за морскую или речную тему, жизнь судна или порта должна стать на некоторое время его личной жизнью. Каждую деталь не только человеческой души, но и самого производства надо знать

наизусть. Каждый винтик надо ощупать своими руками. И такое знание вознаграждает писателя сторицей.

Мне хочется привести примеры из собственной писательской практики. После революции я несколько раз плавал гостем на судах коммерческого флота: в 1923 году — на «Коммунисте», в 1926-м — на «Каме», через два года — на «Яне Рудзутаке». Огромный материал, полученный мною в результате этих рейсов, вошел в целый ряд произведений. Так появились «Женщина в море», «Коммунист» в походе», «В бухте «Отрада», «Ералашный рейс», частично «Соленая купель». И все же часть материала осталась неиспользованной. Такое обилие фактов дает жизнь моряка писателю.

Это о прозе. А поэзия? Трудно найти более благодарный материал для поэта, чем море с его вечными изменениями окраски и запахов, с его переходами от безмятежного штиля к свирепому шторму, с его живописными приморскими городами. Жизнь и быт моряка, любовь, дружба, героизм — разве не темы это для прекрасных стихов?

Пушкин и Лермонтов оставили нам чудные строки, навеянные морем. Советским поэтам — Маяковскому, Багрицкому и другим — море также не раз давало вдохновение. Пастернак прекрасно писал о реке. Но это — отдельные экскурсы в область водницкой тематики. А если бы написать целую книгу хороших стихов о море, ведь такую книгу читатель встретил бы с огромной радостью. Когда-то, после рейса на «Каме», я говорил об этом поэту Санникову. Он загорелся этой идеей, но, к сожалению, не осуществил ее полностью. В одной из его книг целый ряд стихов посвящен морю, и это лучшие стихи в книге.

Маринистскую литературу нужно создавать. Большая, интереснейшая область социалистического строительства остается пока еще почти не открытой для советского читателя. Капитаны речных и морских судов, пролетариат портов и пристаней, обитатели глухих уголков — бакенщики наших рек, смотрители уединенных маяков — ждут писателя-исследователя. Они вправе предъявить счет литературе. Я уверен, что этот счет будет оплачен.

1936

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ

У Некрасова жена декабриста Трубецкого говорит о себе:

О, если б он меня забыл
Для женщины другой,
В моей душе достало б сил
Не быть его рабой!
Но знаю: к родине любовь
Соперница моя,
И если б нужно было, вновь
Ему простила б я!..

В этих горячих, проникновенных словах отразилась вся душа русской женщины. Любовь к родине, борьбу за ее свободу и счастье она ставит выше властного и ревнивого чувства любви к себе. Она удваивает свою любовь к человеку, мужу, отдавшему всю свою жизнь на борьбу за счастье родины. И всегда русская женщина была верна себе: на протяжении всей нашей многовековой истории, когда отечеству угрожала опасность, она становилась рядом с отцами, мужьями и братьями, как равная, на защиту родного очага. Бесправная и забитая в быту, она в бою вырастала в свободную гражданку и в высоком патриотическом порыве часто превращалась в героиню. Народная память в преданиях и былинных образах сохранила нам немало эпизодов, рисующих подвиги русской женщины.

«Бабий городок» в Москве. Мы все знаем, все слышали о нем. Это где-то на окраине, на берегу Москвы-реки. Что-то обыденно-обывательское слышится в этом названии, но это далеко не так. Народное предание связывает это название с одним из героических эпизодов нашей истории.

В стародавние времена здесь через реку был брод, которым во время набега переправлялись кочевники с востока и юга, чтобы жечь и грабить Москву. Как гласит устное народное предание, это было вскоре после битвы на поле Куликовом, когда русская рать, предводительствуемая Дмитрием Донским, впервые разбила наголову татарскую орду, приведенную Мамаем. Велика была радость русского народа, но еще больше была ярость доселе непобедимых поработителей. Чтобы проучить покоренную Русь, татарский хан направил новую орду, и она подошла к Москве.

Как говорит летописец, после Куликовской битвы «земля русская оскудела мужами», и великий князь срочно уехал из Москвы набирать новое войско. Все способные защищаться мужчины заперлись в Кремле. В посадах и на окраинах Москвы остались одни женщины и дети. Бежать им было некуда. Женщины знали, что от врага им ждать пощады нечего: плен, насилие и вечное рабство или мучительная смерть от опьяненных кровью головорезов. И они решили постоять за себя. Никто не знает, кто из женщин был вождем. Когда татары подступили к Москве-реке, они увидели неожиданное зрелище: перед ними была крепость со рвами, с земляным валом и необычными защитниками. Напрасно предлагали им сдаться,— женщины и слушать не хотели. Смерть в открытом бою они предпочли позору плена. Несколько раз татары пытались взять их открытым штурмом — женщины не сдавались. Тогда, потеряв много людей, разозленные, они подожгли «Бабий городок» и сожгли его вместе с доблестными защитницами...

1812 год. Грозной лавиной катятся к сердцу России доселе непобедимые полчища Наполеона. Хмурые, с болью в сердце, отступают наши армии под предводительством гениального Кутузова. Тревога за судьбу родины сжимает сердца людей. Но народ не дрогнул и не повесил головы: в помощь армии он создал всенародное ополчение и в тыл врага ударил лихими партизанскими отрядами. От этого общего патриотического порыва не отстают и женщины: в рядах армии бьет врага знаменитая «кавалерист-девица» Надежда Дурова, из гущи народной появляется лихая партизанка старостиха Василиса, перебившая и взявшая в плен не одну сотню французов...

Великая Севастопольская осада. В невероятных лишениях, порожденных деспотическим николаевским режимом, но с величайшей любовью к родине и с ненавистью к врагу отражают доблестные защитники бешеный натиск хорошо снаряженных армий союзников. Во имя чести родины и для спасения родного города моряки своими руками топят корабли Черноморского флота, и все люди — от адмирала до матроса — становятся в сухопутный строй. Без страха, с презрением к смерти отстаивают они каждую пядь своей территории. Тысячами смертей покупает противник каждый вершок нашей земли. И наравне с солдатами, матросами, бок о бок с ними — женщины Корабельной стороны: жены, дочери и сестры матросов. Не страшась разрывающихся ядер, свиста пуль, они носят своим мужьям, братьям и отцам пищу, стирают их белье и перевязывают раны. Кто не слыхал о Даше Севастопольской, дочери матроса, проявившей в эти суровые дни чудеса самоотверженности и милосердия? Без писаного устава, в огне и дыму боя, она первая положила начало русским общинам сестер милосердия, обслуживающих простых солдат.

В январе 1905 года русская женщина бесстрашно шла к Зимнему дворцу, подставляя грудь под наведенные на нее ружья. В декабре этого же года она храбро сражалась на московских баррикадах и погибала на «трех горах» Пресни, наравне с мужчинами прокладывая великий путь к Октябрю...

Среди многих тысяч героев гражданской войны видное место принадлежит и женщине. Здесь, в борьбе за свободу, в полной мере выявилась ее титаническая воля, претворенная в неповторимые подвиги.

Фамилии технического секретаря Новороссийского городского комитета партии никто не знал, ее все звали просто — Маруся. Дочь рабочего, она только что окончила городскую школу. На Новороссийск наступала деникинская армия. Через горы на соединение со своими начала отступление Красная Таманская армия. Маруся собрала уже все несложное имущество горкома и собиралась выходить из помещения. Вошли несколько раненых матросов — они пришли из лазарета.

— Ежели в лазарете остаться, то нас белые порубают...

Недолго думая, Маруся сажает раненых на подводу с горкомовским имуществом и велит им немедленно ехать. Едва только матросы скрылись за угол, как перед окнами послышался цокот копыт казачьего разъезда. Мысль, что они сейчас настигнут раненых, просверлила мозг Маруси. Раненых надо было спасти во что бы то ни стало. Распахнув окно, она громко кричит разъезду белых:

— Стойте! Стойте! Здесь комитет партии большевиков!

Отряд осадил коней и спешился. Маруся огляделась: у стены было ружье и несколько пачек патронов.

Первой пулей она сразила появившегося в дверях офицера, второй уложила грубо ругавшегося урядника. Отряд был задержан... Когда кончились все патроны, Маруся лежала раненая, без сознания. Ее вытащили на улицу и бросили у стены дома. Нестройный залп «победителей» навсегда прервал жизнь беззаветной героини...

Учительница Татьяна Саломаха, зверски растерзанная за отказ выдать товарищей; чеченка Фатима, сорвавшая с руки краснокрестную повязку и сто дней боровшаяся в рядах красноармейцев, защищая город Грозный; пулеметчица Феклуша Литвинова — все они, боровшиеся за Родину и свободу, навсегда останутся ярким светочем и образцом выполнения долга перед народом.

Предательское нападение германских фашистов на нашу родину, как никогда, всколыхнуло наш народ. От Памира до Баренцова моря, от Владивостока до Бреста покатилась волна негодования, неукротимым пожаром загорелась ненависть, и, как один, «стальной щетиною сверкая», встал русский народ на защиту своей Родины. С величайшим мужеством, доблестью и геройством уничтожает он вторгшиеся полчища немецких оккупантов, проявляя чудеса храбрости и самоотверженности. За землю, за волю, за созданную счастливую трудовую жизнь борется он. Нет меры, нет числа его подвигам! И в этих подвигах, в этой борьбе он не одинок: ему помогает, его вдохновляет на борьбу все она же, наша родная русская женщина! Провожая на фронт мужа, сына, брата, она неизменно дает ему один наказ: бить, уничтожать до конца вражеские силы — и стойко благословляет на смерть, если это будет необходимо. Оставаясь дома, здесь, в тылу, она в патриотическом порыве про-

является чудеса трудового героизма, заменяя на производстве ушедших мужчин. В тысячах томов не перечислить того, что порождается трудовым героизмом женщин на необъятном пространстве нашей Родины!..

Священная обязанность ухода за ранеными бойцами стала делом женских рук. И наши женщины выполняют эти обязанности с честью. С подвижнической строгостью, не жалея себя, работают они в госпиталях и на поле боя, спасая жизнь защитников Родины.

Медицинская сестра Мария Ивановна Соболева под жестоким артиллерийским обстрелом вынесла из боя на своих плечах семьдесят два раненых бойца и тут же многим из них сделала перевязку. Медицинская сестра Л. Жаворонкова сопровождала поезд со ста тридцатью ранеными. В пути поезд подвергся вражеской бомбардировке. Раненых пришлось перенести в соседний лес. Отважная патриотка не растерялась: связавшись с ближайшими колхозами, она организовала питание раненых и, узнав, что в двадцати пяти километрах есть госпиталь, пошла с дружинницами в разведку искать этот госпиталь. Встретив на шоссе свои машины, она задержала их и перевезла всех раненых...

Тяжело раненному бойцу делается сложная операция. Оперирует решительный и умелый хирург. Но в ходе операции боец неожиданно теряет много крови. Все слабее и слабее бьется пульс, жизни защитника Родины угрожает опасность. Чтобы спасти его, нужно немедленно переливание крови. Но под руками нет нужного препарата. Тогда участвующая в операции молодой врач товарищ Музюкина тут же дает свою кровь. Перелитая почти из вены в вену, кровь патриотки спасает жизнь бойца...

Благородный поступок врача товарища Музюкиной, отдавшей свою кровь во время операции,— явление не единичное. Многие тысячи раненых бойцов нашей доблестной Красной Армии спасает кровь наших женщин. Так, например, знатная ткачиха Тамара Кириллова состоит донором с финской войны. За два года она отдала для защитников Родины более восьми литров крови! Юная фельдшерица Надя Кочеткова не только сама донорствует два года, но за это время своей активной агитацией мобилизовала десятки женщин, которые теперь также отдают свою кровь. Недаром благодарные бойцы

называют патриоток «спасителями». Вот что пишет красноармеец Воеводин донору товарищу Лукьяновой:

«Товарищ Лукьянова! Вчера мне была влита ваша кровь. Теперь я чувствую себя бодро, хорошо. Сердечно благодарю вас. Мы не знаем друг друга, но нас объединяет одно чувство — чувство великой ненависти к коварному и злобному врагу. Надеюсь в скором времени выздороветь. Обещаю вам, что, возвратившись на фронт, я с еще большей энергией и силой буду драться с фашистскими варварами».

И таких писем тысячи.

Великая Отечественная война выковала из русской женщины бойца, какого еще не знала история. Не беспомощными, пассивными жертвами встречают они врага, а активными патриотками, горящими ненавистью к врагу и несущими ему беспощадную смерть. Плечом к плечу с сыновьями, мужьями и братьями они грудью встречают наскоки врага, проявляя чудеса бесстрашия и отваги.

В селе З. гитлеровцы убили председателя колхоза, делопроизводителя и бригадира. Казалось, колхозу пришел конец. Оставшиеся женщины собрались и не знали, что делать.

«Как же будем жить, бабы?» — спросила их Евдокия Семеновна Миронова. Женщины в один голос решили жить, как и жили,— колхозом. Оккупанты начали придираться. Колхозница Наталия Соболева ударила поленом пристававшего к ней гитлеровского ефрейтора. Ее повесили. Мстя за свою Наташу, возмущенные женщины сняли вражеских часовых, топорами и вилами уничтожили немецкий штаб и ушли в лес. После долгих мытарств и стычек с врагом они наконец прорвались к своим...

Такие подвиги наших женщин не единичны: в городах и селах, в лесах и на полях, временно захваченных врагом, они борются за свое право быть свободными.

Женщина — сердце и душа нашего великого народа, борющегося за свое счастье... И народ, вскормленный такими матерями, имеющий таких гордых и свободолюбивых подруг и неустрашимых девушек-сестер, непобедим!

Враг будет уничтожен!

1941

МОРЯКИ В БОЯХ

В боях Великой Отечественной войны наши моряки, защищая свою Родину, занимают не последнее место. На Балтике, на Черном море и в холодных водах Баренцова моря они бьют и топят вражеские корабли, не допуская их к своей земле, к своему родному очагу, к своей свободе. Гордо развевается на корме советских кораблей родной боевой флаг — символ силы и непобедимости нашего народа. Как самую дорогую святыню охраняют его наши моряки, не жалея жизни и презирая смерть...

Когда краснофлотца Ефремова провожали в морскую пехоту, товарищи вручили ему небольшой, аккуратно сложенный сверток.

— Это наш военно-морской флаг,— сказали они ему.— Неси его так же высоко на суше, как мы будем нести его на море.

Вскоре подразделению морской пехоты, в котором находился и краснофлотец Ефремов, было дано задание: очистить от врагов рощу. Незаметно подошли моряки к роще. По сигналу командира они поднялись и с винтовками наперевес, с гранатами в руках бросились в атаку. Минами, пулеметами, автоматами пытались преградить враги путь морякам. На ходу Ефремов выхватил из сумки подарок товарищей, подхватил с земли шест и высоко поднял над головами краснофлотцев родной им флаг. Подхваченный осенним ветром флаг развернулся и затрепетал. Ярким знаком победы алели на нем звезда, молот и серп. И ничто не могло остановить

моряков. Ураганом они ворвались в рощу, забросали гранатами вражеские окопы и взорвали батарею. Лихими ударами штыков выковыривали храбрые краснофлотцы вражеских солдат, пытавшихся укрыться в кустах. Над землей, на высокой березе прикрепил отважный краснофлотец свой родной флаг, как живую идею непобедимости наших моряков...

Комсомолец Сивков — боец морского отряда Северного флота — попал в окружение. Винтовкой и гранатой он уничтожил около двадцати врагов. Но фашисты наседали. На предложение сдаться и обещание сохранить жизнь герой крикнул:

— Моряки в плен не сдаются! — и последней гранатой взорвал себя вместе с фашистами.

Наши моряки скромны и застенчивы. Но в минуты схваток, когда они видят перед собою врага, эти скромные и застенчивые люди преображаются во львов и бьют врага, не думая ни о славе, ни о геройстве. Как истинные герои, они не видят опасности в момент самой опасности, а с легкой иронией осознают ее уже после, когда она миновала, если счастье боя сохранит им жизнь. В ряду прославленных героев их имен подчас нет, но их подвиги живут и остаются для последующих поколений символом бесстрашия и горячей любви к родине...

Батарея, расположенная у судоходной гавани, получила приказание перейти на новый рубеж. Она должна была поддержать товарищей, подвергшихся нападению вражеских бомбардировщиков. К батарее присоединился отряд моряков. Вооруженные гранатами и винтовками, они быстрым шагом двинулись по дороге. Батарея замкнула колонну, оберегая ее от хищников, которые могли напасть с воздуха. Неожиданно из-за леса и зеленых обочин ударили фашистские пулеметы, а прямо перед первым орудием взметнулась земля от вражеских пуль. Мичман, фамилию которого не все знали, принял на себя командование отрядом. Он повел моряков в атаку и первый с гранатой в руке бросился на обочину вправо, где тройной цепью засел фашистский батальон. Увлеченные мичманом, моряки кинулись в штыковой бой и опрокинули вражескую цепь. Краснофлотская батарея ударила навесом, с расчетом на поражение превосходящего силой врага. В этой безудержной атаке каждый

краснофлотец бил гранатами десятерых врагов. Обочина у дороги покрылась трупами фашистов. Но когда последние ряды гитлеровцев были прижаты к самому лесу, с обеих сторон ударили подоспевшие вражеские минометы. Моряки отошли, чтобы собраться с силами, затем снова бросились вперед. Краснофлотская батарея перенесла свой огонь, и фашистские минометы взметнулись в воздух. Шесть раз водил в атаку отважный мичман свой сформированный в походе отряд и опрокидывал врага, до тех пор, пока остатки разгромленных фашистов не бросились бежать. Сотни вражеских трупов устилали поле сражения.

Кто знает этого мичмана? Где он? Как дух, как сердце своего народа, он везде. Он там, где фашисты силятся артиллерией, минометами, громадой танков и бронемашин задержать несокрушимые волны нашего наступления. Он зорко несет вахту на кораблях Краснознаменной Балтики, на неприступных фортах Кронштадта и на подступах к славному городу Ленина. У ворот нашей южной жемчужины — Крыма он ведет в атаки наших бесстрашных моряков. С неудержимой яростью, сбросив бушлаты, в одних полосатых тельняшках, во весь рост идут они, не склоняя головы. Их натиск подобен шторму — гранатой они открывают путь, штыком закрепляют победу!..

Мы все помним отважного героя севастопольской обороны матроса Петра Кошку. О его смелости, бдительности и находчивости слышал каждый. В нем, как в зеркале, отразилась вся широкая натура русского человека: храброго в бою, находчивого в опасности и умеющего, когда нужно, помножить эти ценные качества на хитрую русскую смекалку. Дух богатырской храбрости этого славного матроса жив в наших краснофлотцах. Боевая цель наших моряков — беззаветное служение народу, выполнение поставленной и освоенной ими задачи, в которую широко посвящает их командование. И они выполняют ее со всем огнем чувства, не боясь лишений и не щадя жизни.

В гирле Дуная, около правого его берега, замаскированный в зарослях, стоял вражеский монитор. Невидимый, он бил по нашим объектам, причиняя не столько урон своим малодейственным огнем, сколько выматывая

личный состав, заставляя его все время быть начеку. Определить местонахождение монитора было невозможно: воздушная разведка доносила, что сверху в сплошных зарослях ничего не видно. У командования созрел план: послать на лежащий возле правого берега реки остров нашу разведку, чтобы установить местонахождение монитора. Нужно было найти охотников на это опасное, ответственное дело. На призыв охотниками вызвались все. Выбор остановился на четырех моряках: сигнальщиках Савлучинском и Кортневе, мотористе Шиторееве и радисте Попове. Темной ночью, используя течение, лежа на дне маленького каюка, приблизилась и, осторожно шагая по горло в воде, высадилась отважная четверка на остров. Заняты позиции, и установлена радиостанция. Сидя на дереве и не отрываясь от бинокля, сигнальщик Савлучинский зорко вглядывался, но кругом он видел только бесконечные заросли,— признаков вражеского монитора не было. Но вот куст, за которым он наблюдал, вздрогнул, поднялся, и из-под него высунулось дуло орудия. Вспышка пламени, выстрел, и через остров с воем пронесся вражеский снаряд. Заработало наше радио, подавая сигналы. Было видно, как на советском берегу вспыхнули выстрелы. Снаряды начали падать у замаскированного монитора, выворачивая кусты, срезая тростники и поднимая столбы воды у невидимой цели. Испуганные враги поспешно отдавали швартовы. Корабль с места дал самый полный ход и устремился в глубь плавней. На второй день монитор снова приблизился, но опять точные выстрелы нашей батареи, корректируемые отважной четверкой, заставили его уйти в глубь плавней. Тогда враги поняли, что с острова кто-то корректирует стрельбу красной батареи. На остров был высажен десант. Целые сутки сидели под каюком, по горло в воде отважные моряки. Огромные, в палец толщиной пиявки впивались им в тело. Мучил голод. На острове шли поиски,— раздавались проклятия. Наконец, уверенные в том, что разведчики покинули остров, враги ушли на свой берег. Четвертый день бойцы продолжали наблюдение. В третий раз показался монитор и открыл огонь по советскому берегу. И в третий раз, по указанию храброй четверки, он был обнаружен. На этот раз ему были нанесены серьезные повреждения. В бешеной

злобе на неуловимых разведчиков уходящий монитор открыл ураганный огонь по острову. Дерево, на котором сидел Савлучинский, было у корня подрезано вражеским снарядом и свалилось на землю вместе с наблюдателем. Боец отделался синяками и ушибами. Монитор навсегда покинул опасную для нашей батареи позицию. Все четыре героя, с честью выполнив воинский долг, вернулись невредимыми.

Полуостров Ханко! Советский Гангут!.. Здесь, около этих гранитных скал, шли первенцы русского флота к первой победе, открывшей первые страницы нашей славной морской истории!

Бешеным шквалом бросался и налетал враг на советских моряков, но они были тверды и непоколебимы, как гранитные утесы, и крепки, как гранит. Ни пяди земли не отдали врагу храбрые защитники, и, более того, они расширили свою зону обороны, захватывая и укрепляя соседние вражеские острова. И ничто не сломило, не сокрушило их воли к обороне полуострова. Возрождая героические традиции русского Гангута, умножая его славу, храбрые защитники полуострова Ханко такими же крепкими, как гранит, и остались.

Самоотверженно дерутся наши славные моряки. С такими героями мы непобедимы!

1942

ПЕРЕД ЛИЦОМ ВРАГА

Идет великая, решающая битва за честь и свободу нашей родины. Стальными колоннами танков и черными стаями самолетов враг хочет сломить наше сопротивление, раздавить нашу волю и водворить на нашей земле свой жестокий произвол. Просчитавшись в молниеносной победе, он напрягает последние силы, чтобы все дальше и дальше прорваться на нашу землю, захватить в свои щупальца неисчислимые богатства наших недр и наш хлеб...

Сейчас его полчища рвутся к Волге и к Кавказу. Заревом пожаров, грудами черного пепла покрывают они наши богатые города и многолюдные донские и кубанские станицы. Сам «тихий Дон», окрашенный чужеземной кровью, возмутился и горит пламенем ненависти и борьбы. Гневно поднимает свою могучую грудь красавица Волга, величавая и гордая, как наша прекрасная родина...

Волга и Дон — чистые колыбели русского свободолюбия, русской удали и ненависти к рабству! Волга и Дон — очеловеченные в дедовских сказках, в величавых былинах и в разудалых руских песнях. Разве могут они принадлежать чужеземцам?.. Никогда!.. Кипящим потоком выйдут они из берегов, зальют и уничтожат своим великим гневом любую вражескую силу... В этом порука — дух наших людей, ставших воинами, их неизмеримая любовь к родине, их беззаветная храбрость. Прекрасные патриоты, они растворили свои сердца в этой великой борьбе и, презирая смерть, отдают все чувства,

все помыслы одной священной цели — победе. Они не оглядываются назад в бою и не жалеют жизни, если видят, что отдать ее необходимо для блага родины. Уничтожение врага — это первая заповедь наших воинов, и они выполняют ее честно, до конца.

Над нашим кораблем появились два неприятельских самолета. Сигнальщик Щеглов по боевому расписанию встал у пулемета. Тщательно прицеливаясь, точно священнодействуя, он бросал в гитлеровских коршунов очередь за очередью. Разъяренные фашисты, снижаясь до бреющего полета, забрасывали корабль ливнем пуль; отважный пулеметчик был ранен уже не один раз. Но он не отходил от своего пулемета. Когда командир приказал ему сдать пулемет товарищу, а самому идти на перевязку, Щеглов ответил:

— Разрешите не уходить. Я уже пристрелялся, а ему заново придется ловить на мушку...

В этом бою герой-моряк получил четырнадцать ран. Он ушел от пулемета только тогда, когда один вражеский самолет, объятый пламенем, упал в море, а другой поспешил скрыться.

Наша рота наступает на селение, превращенное противником в сильно укрепленный узел. Все попытки наших бойцов прорваться не приводят к успеху,— фашистские автоматчики, засевшие в окопах перед деревней, ведут ураганный огонь. Но задача, поставленная командованием, была категорична — укрепленный пункт должен быть отбит у врага. И эту задачу блестяще помог выполнить герой-боец Таньев. Тщательно маскируясь, он начал переползать от куста к кусту, пока не подобрался к неприятельским окопам. Перевалившись через бруствер, он вскакивает в окоп... Вражеские автоматчики набрасываются на него,— завязывается схватка, короткая, жестокая. Герой пал смертью храбрых, но нескольких минут, пока продолжалась рукопашная схватка, было достаточно, чтобы наши ворвались в окоп и стремительно штыковым ударом опрокинули фашистов...

В другом жарком и напряженном бою противнику удалось вывести из строя наш пулеметный расчет. Фашисты заметили это и устремились, чтобы захватить пулемет. Но наш боец, красноармеец Тарасов, опередил их: одним прыжком он бросился к пулемету и открыл огонь

по вражеским солдатам. Даже раненный, он не бросал пулемета. Не выдержав его огня, фашистские солдаты вынуждены были откатиться.

Трудно пересчитать героев и измерить глубину жертв, принесенных ими во имя родины. Трудно найти лучших, так как на великое соревнование по защите родины выступил весь народ. И глубокий старец, чувства которого были уравновешенны, старец, взиравший на мир с величавым спокойствием мудреца, при виде врага вспыхивает гневом юноши и, расправляя еще крепкую натруженную грудь, как щитом, загораживает ею свою родину. И юная девушка, только вчера осознавшая в себе взрослого человека, с хладнокровием старца поднимается на эшафот и без малейшего страха бросает своим палачам гордые слова ненависти, презрения и глубокой веры в счастье своего народа...

Незабываемой доблестью прославил себя экипаж танка, где радистом был сержант Секач.

Это было под Тихвином. Танк идет в наступление, прокладывая дорогу товарищам. Но вот немецкий снаряд поджигает машину,— танк вздрогнул, но не остановился. Враги уже торжествуют и готовятся встретить танкистов огнем автоматов. Но танк идет вперед, и люди не покидают машины. Через дым и огонь из горящего танка летит на командный пункт радиограмма, похожая на пламень сердца:

— Горим, но продолжаем двигаться вперед!..

Весь в дыму и пламени, танк все дальше и дальше мчится на врага. Невзирая на огонь, люди бьются до последнего снаряда, до последнего патрона, до последнего биения сердца и, не останавливая машины, сгорают.

Где найти меру этой жертве? Кто в истории человечества сравним с ними, с их ратным подвигом?..

Народ, рождающий таких героев, непобедим. Чистый в своей правоте, он поднялся, чтобы победить. И он вырвет победу во имя своей свободы, во имя счастья и радости всего культурного человечества.

МЫ ПОБЕДИМ

Все великие и малые завоеватели, шедшие на нас с востока и с запада, всегда ошибались в русском народе. Разве думал внук Чингис-хана, Батый, заливая кровью раздробленную на крохотные княжеские уделы русскую землю, что через короткий исторический промежуток русский народ нанесет его потомкам смертельный удар? А это случилось на Куликовом поле спустя сто сорок лет.

Страдая от насилий и грабежей внешних поработителей, превозмогая внутренние междоусобицы собственных князей, наш народ хранил в своем сердце и бережно нес великую национальную идею единства и свободы, которую он назвал правдой. В ней он воплотил все свои помыслы, всю силу, все свои надежды. За нее он сражался насмерть и под стягом Минина, и под знаменем Петра, против завоевателей, дорого заплативших за свои роковые ошибки.

Если бы по пути к Москве кто-либо осмелился сказать Наполеону, что не он ведет наступление на Россию, а русский народ наступает и охватывает его, готовя смертельный удар,— он назвал бы такого человека сумасшедшим. Он не мог предположить, что великий народ, воодушевленный любовью к родине, встал как один человек и сжимает его своею ненавистью в железное кольцо, из которого один выход — смерть. Окруженный блестящей свитой, он ждал на Поклонной горе под Москвой покорную депутацию «русских бояр»... Но ни бояре, ни крестьяне не принесли ему ключей от Кремля... Если бы ослепленный самовлюбленностью завоеватель

мог видеть, как хмуро и при каком гробовом молчании отходили по улицам столицы русские воины, с какой ненавистью к его полчищам и с какой неугасимой верой в победу оставляли они самое дорогое для человека — сердце своей родины, он не отдал бы приказа о вступлении в Москву. Лишь перешагнув порог наших древних национальных святынь, гордый завоеватель осознал, что русский народ вместо покорности приготовил ему похоронный костер... Но было уже поздно. Судьба деспота, давившего Европу, была решена в московском Кремле.

Наполеон ошибся.

Двадцать четыре года назад полчища кайзеровской Германии наводнили нашу землю. Творя жестокости, они грабили наши города и села, увозя все, от грошовой ветоши до бесценных шедевров искусства. С жадностью опустошали они украинские поля, донские и кубанские степи, сады и виноградники. Шомполами и нагайками они пороли насмерть наших людей, приучая их к покорности. Они купали своих лошадей в тихих струях Дона, демонстрируя перед казаками презрение победителей к побежденным. Но, «зачерпнувши шеломом Дону», испить его им не удалось: дружным ударом молодой Красной Армии русский народ опрокинул и уничтожил непрошеных гостей, показав им достойный путь на запад...

Подобно Наполеону и его предшественникам, кайзеровская Германия тоже ошиблась.

Но, как видно, пример никому не наука. Разбитый и, казалось бы, придавленный насмерть кайзеровский империализм оставил на германской земле яд, из соков которого вырос его достойный преемник — германский фашизм. С той же навязчивой идеей господства над миром, помноженной на бредовое сознание своей избранности, фашизм выжал на вооружение все соки из своего народа и бросил его в бойню, равной которой не было в истории человечества. Забыв уроки прошлого, он устремил все свои вожделения на нашу родину, на наши богатства, на наших людей. Но история повторяется. На широких восточных просторах живет все тот же русский народ. Все та же в нем сила, любовь к родине и стремление к свободе.

Не дрогнув, на удар врага мы ответили могучим ударом.

Четырнадцать месяцев идет беспрерывная битва. Закованный в сталь и железо, враг захватил многие наши города и области. Миллионы наших людей — женщин, стариков и детей — стонут в невыносимом рабстве, но они не смиряются ни духом, ни сердцем. В партизанских отрядах, совершая нечеловеческие подвиги, они отстаивают каждый вершок родной земли с верой в освобождение и победу... Ежечасно, ежеминутно оттуда, из-за вражеского кордона, мы слышим их голоса, призывающие к борьбе. Они говорят нам: «Пусть нашему телу нанесены раны и из него сочится кровь, но дух наш несокрушим и крепки наши руки. Крепка сталь в наших руках, выкованная всенародным порывом. Ударами этой стали мы уничтожаем и будем уничтожать вражескую силу, как уничтожают нахлынувшую на поле саранчу. Смелее вперед, на врага, товарищи! Мы победим!»

Они правы — мы победим. Мы победим, потому что мы верим в победу. Мы верим в нее со всей страстью оскорбленного достоинства и для нее развертываем всю мощь, напрягаем все нравственные и все материальные силы. Мы победим, потому что верим в великую общечеловеческую правду. Мы обрели ее и завоевали под знаменем Октября. Мы увидели настоящую человеческую жизнь. Во имя этой жизни мы должны победить. Вне ее смерть, а мы хотим жить со всею страстью юности...

Недавно я получил письмо от одного юноши, сына своего знакомого. Он работает на заводе, но рвется на фронт. Его брат уже сражается летчиком, и в защите родины ему не хочется отстать от брата. В письме он жалуется, что его по молодости не берут в армию, и сообщает о других препятствиях, которые мешают туда попасть. «...Но придет всему этому конец,— пишет он.— У меня бьется сердце, и оно добьется своего!.. Вчера прошел приписку, и меня предназначили в артиллерийские войска. Я все-таки уйду на фронт. И пусть тогда фашисты на своей спине узнают физическую и моральную силу советской молодежи...»

Страсть к борьбе этого юноши и его вера в победу — это наша всенародная страсть, наша всенародная вера. С этой верою в борьбе за правду мы всегда побеждали,— победим и на сей раз!..

РОДИНА

Когда кипели бои в верховьях Дона, многие офицеры и рядовые, проходившие селом Ново-Животинное, помнят, вероятно, такую картину. На улице около домика с фруктовым садом стоял небольшой стол, на нем — бинты, флакон с йодной настойкой, фарфоровая кружка. За столом на табурете сидел сухощавый старик с седыми усами. Возле него стояло ведро, наполненное водой. Воздух и земля сотрясались от орудийных выстрелов, за Доном горели деревни и села, тучи дыма расплывались по небу; жители села прятали, зарывали в землю имущество, зерно, а многие, бросая свое добро, бежали от приближающегося огненного шквала,— страшная, но уже ставшая привычной для защитников родины картина войны. Но вот этот старик, по-домашнему сидевший за столом, был для них непривычным явлением. И необычно было слышать его спокойно-ласковый голос:

— Водицы холодненькой не хотите ли?

Люди, истомленные жарой, опаленные горячим дыханием боя, черпали кружкой воду и жадно пили, потом кивали головой в ответ на добрую улыбку старика и говорили:

— Спасибо, папаша! Сладка твоя вода. Вот уж спасибо!

Если к столу подходили раненые, старик смазывал их раны йодом и очень умело делал перевязку.

— До санбата дойдешь, а там получше перевяжут.

— Спасибо, папаша!

И шли дальше, иногда оглядывались на необычайного старика и благодарно махали рукой.

Когда ведро опорожнялось, старик неторопливо шел к колодцу, и снова сидел за столом, радушно предлагая:

— Водицы холодненькой не хотите ли?

Многие, вероятно, помнят этого незнакомого старого человека, быть может, не раз вспоминали его щедрую кружку воды и думали: «Кто был этот папаша и где-то он теперь?»

Это был старый учитель Владимир Федорович Ильинский. Я встретился с ним осенью 1943 года в городе Тамбове, где он работал заместителем заведующего областным отделом народного образования. Он говорил мне о возрожденном и погибшем селе, о родине.

— Родина!.. Это слово самое близкое нам и самое любимое нами. Каждый из нас по-разному представляет себе родину. Для одних родина — завод, большие цеха, рабочий поселок; для других — изба на краю деревеньки и белая березка за избой; для третьих — горы, быстрые реки, облака, лежащие на скалах; для четвертых — бескрайные ковыльные степи и на них табуны лошадей, отары овец. Велика наша страна, и многие национальности населяют ее. Каждый из нас по-своему представляет себе родину — ту землю, на которой он родился, вырос и которую оставил, уходя на войну. Это так, но я твердо убежден в том, что это узкое понятие слова «родина» сейчас безгранично расширилось. Для человека, выросшего в горах, степи также стали родиной, а для человека, выросшего в степях, родиной стали горы. Я уверен, что это произошло с каждым, кто побывал в боях и видел, в какие развалины немцы превращают наши города и села. Так произошло и со мной...

Я много лет работал в селе Ново-Животинном. Об этом селе можно было бы написать чудесную повесть. Стояло оно на левом берегу Дона, в двадцати трех километрах от Воронежа по Задонскому тракту. Тридцать пять лет назад в этом селе работал земским врачом Шингарев, впоследствии член государственной думы при царском правительстве. На основе медицинского и бытового обследования крестьян он пришел к выводу, что это село обречено на вымирание. По его данным, к 1920 году ни одного жителя не должно остаться в этом селе.

Ему казалось, что нет таких сил и возможностей, чтобы предотвратить эту гибель. И в самом деле: в каждой избе была нужда, в каждой семье было горе. Крестьяне голодали, болели туберкулезом и сифилисом. Женщины изнывали в непосильной работе, мужчины заливали горе вином, на завалинках плакали истощенные, рахитичные дети... А в 1935 году в Ново-Животинное приехал профессор Ткачев... Он знал, что жители этого села были обречены на вымирание, и решил проверить: как же живут они при советской власти? То, что увидел профессор, поразило его. Медицинское обследование крестьян показало, что никаких следов вымирания не осталось, исчезли туберкулез и сифилис в возрожденном селе. Это было похоже на чудо, но чудес в наше время не бывает, и мы не верим в чудеса. Чем же объяснить, что обреченное на гибель село возродилось, оздоровело, разбогатело? Объясняется это заботой Советского правительства о гражданах своей страны, заботой о их духовном развитии и материальном благополучии. Во времена царизма в селе было только одно культурное учреждение — маленькая школа, где обучалось сорок детей. А перед войной в Ново-Животинном мы могли бы залюбоваться прекрасным зданием среднего учебного заведения, вмещавшего в своих стенах шестьсот человек учащихся. Кроме того, в селе были: педагогический техникум, родильный и детский дома, детский сад, амбулатория, аптека, биологическая станция, изба-читальня с большой библиотекой. Все это создавалось на моих глазах, и я видел, как возрождалось и крепло Ново-Животинное. Я полюбил это село и считал его своей родиной. Я отдавал ему все свои силы и все свои знания. Я сорок лет проработал педагогом. Правительство наградило меня медалью «За трудовую доблесть», а местные власти подарили мне дом с земельным участком. На этом участке я развел сад и думал в тишине и спокойствии прожить здесь остаток своих дней. И вдруг разразилась война. Полчища современных гуннов вторглись в нашу страну. Они все ближе и ближе подходили к Дону, и мы с каждым днем все сильнее и сильнее ощущали горячее и смрадное дыхание войны. И вот наступил день, когда враги захватили село Хвожеватое на противоположном берегу Дона и начали бить из орудий и минометов по Ново-Животинному.

И я видел, как разрушалось все, что возродило это село. Взлетела на воздух амбулатория, сгорел родильный дом, объятые пламенем, испепелялись больница и техникум. Вы понимаете, какая ненависть к фашистам горела в сердцах крестьян,— ведь гибло все, что спасло их от вымирания. Многие из них стали партизанами. Я вместе с другими педагогами ушел в истребительный отряд и несколько месяцев пробыл в тылу врага. Потом я заболел, был отправлен в наш тыл и вот теперь работаю здесь. Много видел я разрушенных сел и городов, расстрелянных мирных жителей, видел следы такого варварства, перед которым содрогнулись бы гунны и орды Чингисхана. Вот тогда-то я почувствовал, что «родина» — такое огромное слово, которое включает в себя не только село Ново-Животинное. Ведь за годы советской власти города и села нашей страны росли, оздоровлялись, начали жить по-новому, а теперь многие из них превращены в развалины. И родиной стал для меня каждый клочок земли, на который вступала моя нога; и горы, и степи, и леса — все это моя родина...

После я побывал в Ново-Животинном, вернее, на том месте, где стояло село. От села ничего не осталось. Я видел груды обгорелых бревен, кучи кирпичей, изрытую, опаленную землю, и слезы туманили мой взгляд... Мне шестьдесят два года, но любовь моя к родине сейчас сильнее, чем когда-либо. Родина, родина!.. Когда я слышу это слово, мне снова хочется взять винтовку, уничтожать врагов и отдать за родину последнюю каплю своей крови...

РУССКИЙ МАТРОС

Каждый раз, когда речь заходит о матросах, мне невольно вспоминаются слова адмирала Нахимова, говорившего своим офицерам:

«Матрос есть главный двигатель на корабле, а мы только пружины, которые на него действуют. Если мы не себялюбивы, а действительно слуги отечества, то мы и в матросе воспитаем сознательность в исполнении долга, смелость и геройство».

Вот золотые слова, данные для характеристики матросов и громадной их роли на корабле. Передовые флотоводцы хорошо это понимали. И всегда, когда матросами руководило разумное и любимое командование,— на поле брани они творили чудеса. С ними двести с лишком лет назад Петр I одержал при Гангуте неслыханную победу. Наш флот состоял тогда из галерных гребных судов. У противника были линейные корабли. И враг не только был наголову разбит, но десять его судов и сам адмирал попали в плен. Это была первая победа нашего флота, положившая начало его славному будущему.

Так же ярко матросская доблесть выявилась в войне с французами в 1799 году. Крепость Корфу в Ионическом архипелаге, служившая основной базой французских морских и сухопутных сил, считалась неприступной. До этого никто не осмеливался штурмовать ее. И только наш гениальный флотоводец Ушаков решился на это. Его не останавливало ни то, что он имел эскадру из плохих кораблей, ни то, что на стороне противника было численное превосходство в людях и материальной части. Он мог надеяться только на свое мастерство в сражении и на неустрашимую храбрость своих подчиненных. Высадив на

сушу десант, он с другой стороны открыл с эскадры ураганный огонь по крепости. И через два дня под натиском русских моряков эта неприступная твердыня сдалась. Слава о русских матросах прогремела на весь мир.

Умели воспитать матросов, привить им чувство патриотизма и пробудить в них силу воли к достижению намеченной цели такие адмиралы, как Сенявин, Нахимов, Корнилов и другие лучшие представители нашего флота.

Самопожертвование, любовь к родине и своему флоту, презрение к смерти, бесстрашие перед сильным врагом — вот основные черты русских матросов, которые они всегда проявляли в сражениях на морях и на суше. Их славные традиции передаются из поколения в поколение и никогда в них не заглохнут.

Это особенно ярко показала Севастопольская оборона, в свое время изумившая все цивилизованные народы. Соединенные нации, несмотря на громадное преимущество в живой силе и технике, одиннадцать месяцев бились против севастопольской крепости и хорошо поняли, на что способны русские матросы. Со слезами на глазах, с зубовным скрежетом моряки потопили родные корабли у входа в гавань, чтобы преградить путь неприятельскому флоту, и переселились на берег. Но и здесь, на суше, на бастионах, как и на воде, они являли собой образец воинской доблести. Имена простых матросов покрылись здесь неувядаемой славой. В памяти народа не померкнет имя легендарного матроса Кошки. О его сказочных подвигах я слышал, будучи еще мальчиком, в глухом селе, когда я еще совсем не читал книг. А сколько было в Севастополе менее известных матросов, показавших себя настоящими героями! Сколько было таких безвестных героев во всей истории русского флота!

При Цусиме после дневного боя наш броненосец «Орел» был совершенно изувечен. Центр тяжести на нем переместился. По заключению трюмных инженеров, броненосец мог выдержать крен не более восьми градусов. А он при крутом повороте давал крен до двенадцати градусов. Была темная ночь. «Орел» с девятьюстами человеческих жизней шел во Владивосток, рискуя каждую минуту перевернуться. Нужен был герой, чтобы спасти положение. Таким оказался рулевой, боцманмат Копылов, плотный и смуглый сибиряк с жесткими усами. Это

был лучший рулевой, знавший все тонкости своей специальности, хорошо освоивший все капризы судна при тех или иных поворотах. Все его лицо было исцарапано мелкими осколками. Кисть правой руки была наспех обмотана ветошью: ему оторвало в дневном бою два пальца. С утра, как только появились на горизонте японские разведочные крейсеры, он занял свой пост и, хотя потерял много крови, бессменно стоял перед компасом, словно притянутый к нему магнитом.

По ходу событий эскадренный миноносец «Быстрый» вынужден был выйти из боя и отправиться к берегу, чтобы спасти команду. Он сел на мель довольно далеко от суши. Решено было взорвать корабль — иначе он мог достаться врагу. Для этого в патронный погреб провели бикфордов шнур. Командир обратился к команде с вопросом: не найдется ли охотник выполнить его распоряжение. На это сейчас же отозвался минный квартирмейстер Галкин. Это был тихий и скромный, исполнительный человек, ничем не выделявшийся среди других ни во время похода, ни в бою. Осенью кончался срок его службы. Казалось бы, главные его интересы должны сводиться к тому, как бы скорее попасть в родную семью. Все посмотрели на него с изумлением. Они хорошо понимали, что взорвать судно, находясь на его палубе,— это значит иметь только один шанс из ста на спасение. Когда люди с «Быстрого» добрались до берега, Галкин поджег бикфордов шнур и, убедившись, что все идет ладно, бегом направился на носовую часть судна. Здесь один конец заранее приготовленного пенькового троса он прикрепил к леерной стойке, а другим опоясал себя и спустился за борт. Вскоре раздался страшный взрыв. Миноносец превратился в развалины. Матрос Галкин чудом остался в живых.

Если я рассказываю об отдельных героических личностях из команды того или иного корабля, это не значит, что остальные матросы вели себя во время боя с прохладцей. Например, крейсер «Светлана», бывшая яхта царского дяди, Алексея Александровича, совершенно не приспособленная к бою, сражалась против превосходящего врага до последнего снаряда, хотя и была заранее обречена на гибель. Кто может сказать, сколько на ней было героев из матросов? Крейсер «Дмитрий Дон-

ской» бился с шестью напавшими на него неприятельскими крейсерами и два из них вывел из строя. И только потом уж, исчерпав все свои боевые средства, он открыл кингстоны и погрузился в морскую пучину. Тут были все герои, начиная с командира и кончая рядовым матросом. Крейсер «Варяг» из первой эскадры один сражался против целой неприятельской эскадры. Весь избитый, он вернулся в гавань и здесь был потоплен экипажем, который предпочел гибель позорному плену. Таковы были на нем люди. Недаром до сих пор вся наша страна поет о них песню.

Отличились наши моряки и в мировую войну 1914—1918 годов. На море немцы были намного сильнее нас, и все же сколько они ни старались завоевать наши порты на Балтике, ничего не добились. Всюду они встречали с нашей стороны такой убийственный отпор, что их морские силы разбивались о стойкость русских моряков, как волна о гранитный утес.

Кто только у нас не знает, какими смелыми и настойчивыми бойцами показали себя матросы в гражданскую войну! На фронте, там, где только они появлялись, всегда успех был обеспечен. Уже много писалось о таких героях, как Маркин, один из организаторов Волжской флотилии, Полунин и Берг, первые комиссары Астрахано-Каспийской флотилии. Большой славой и известностью пользовался Железняков (по песне Железняк). На своем бронепоезде он вносил панику в ряды тех, кто хотел подавить поднявшийся народ. Все эти герои погибли, но имена их навсегда останутся в истории русской революции.

Мужество матросов всегда пленяло мое воображение. Откуда берутся такие бесстрашные и лихие люди? Ведь наряду с моряками, выросшими на берегу моря, попадают на флот и другие — из таких мест, где нет никакой речки и где можно увидеть воду только в колодцах или в лужах во время дождя. И все же они, прослужив на корабле два-три года, совершенно изменяются — становятся боевыми матросами. Сама водная стихия, суровая военно-морская служба делают их такими.

Это бесстрашие отличало русских людей еще в те времена, когда они впервые вышли на своих утлых ладьях в море. Можно только представить себе, какие удары

испытывали они от бурь, плавая на галерных судах. А взять парусный флот. Налетит шквал с дождем, забушует океан. Корабль мечется в грозных объятиях волн. Вокруг грохочущая и беспросветная ночь. Кажется, все злые силы, какие есть на свете, обрушиваются на моряков. Начинается напряженная работа. Матросы, разбуженные от сна, лезут по вантам на мачты, чтобы закрепить паруса. Нужно спешить, иначе шквал может сломать мачты или даже совсем опрокинуть корабль, и тогда — всем гибель. И вот на головокружительной высоте, в непроглядной темноте, не думая о своей жизни, они работают в обнимку со смертью. Хлещет дождь, точно розгами, а ветер вырывает из рук мокрый парус, из-под ногтей сочится кровь. Но матросы не поддаются и защищают свой корабль, словно крепость.

Не легче бывает и на шлюпке, когда буря застигает ее в море. Впервые я испытал это, будучи молодым гребцом, на четырнадцативесельном баркасе. Мы отправились в Ревель с утра и, принимая там различные машинные принадлежности, провели почти целый день. Возвращались на свой корабль уже вечером. За это время разразилась буря. Как только мы вышли из гавани, наш баркас вздыбился, словно испуганный конь. С ревом рвал ветер. Над нами низко клубились темные, грязные тучи, похожие на дым, как будто все небо загорелось, но еще не пробилось пламя. Вся поверхность моря находилась в неистовом движении. Вырастали, пенясь и обдавая брызгами, водяные бугры. Наш баркас лез на волну медленно, но тут же, перевалив через ее хребет, стремительно спускался в кипящую пучину. Замирало сердце... Но все гребцы сознавали, что нужно работать, если хочешь еще пожить на свете. Боцманмат, управляя рулем, свирепо вращал глазами и, сопровождая свои слова отъявленной руганью, орал на нас хрипящим басом:

— Навались, окаянное племя! Не матросы, а медузы на цыпочках! Душу выбью из вас, как пыль из угольного мешка!

Мы сами хотели заглушить в себе страх и со всей силой наваливались на весла. Но каждый раз, когда перед нами, словно сказочное чудовище, вырастала пучеглазая волна, рыча и потрясая встрепанной белой гри-

вой, мне казалось, что я доживаю последние секунды. Все это было похоже на то, как будто мы шли в атаку против сильнейшего врага.

Такое впечатление у меня осталось от первого столкновения с морской стихией. И лишь впоследствии, плавая на кораблях, я понял: то был только средний шторм и напрасно я тревожился за свою судьбу. Потом мне приходилось переживать настоящие бури, когда судно действительно находилось под угрозой катастрофы. И все-таки это уже не страшило меня, как первый раз, и я, как и мои одногодки, перестал ощущать в каждой волне приближение неминуемой смерти.

Вот почему у матросов, прослуживших год-другой во флоте, появляются такая отвага и удаль. Сама морская обстановка требует от них в опасные минуты смелости и решительности. Отсюда понятно, что товарищи могут простить матросу все, кроме трусости, ибо от его поведения во время боя зависит жизнь всего корабля.

В Великой Отечественной войне против фашистских захватчиков доблесть наших моряков засияла особенно ярко. В этой войне советские воины защищают свою родину, свой народ. Отечественная война зажгла в душе каждого советского человека неугасимую потребность отдать все материальные и духовные силы для защиты родины. Многие тысячи скромных и незаметных прежде людей превратились в героев, имена которых известны теперь каждому. В одной из первых шеренг этих героев находятся и наши моряки.

Ханко, Одесса, Ленинград, Севастополь и Сталинград показали всему миру величие духа советского моряка, его горячую любовь к родине, его богатырскую неустрашимость.

О героях Ханко, славных гангутцах, знают все. Такие имена простых моряков, как Петр Сокур, Михаил Копытов и Василий Комолов, прогремели на всю страну. Но эти имена не одиноки — они только яркие звезды в многочисленном созвездии героев.

Герои Ханко сражались, как львы. Тридцать шесть вражеских наступлений выдержали они, полмиллиона снарядов и мин упало на их головы, но гангутцы стояли до конца и до конца остались непобежденными...

Краснофлотец Моисеев во время десантной операции вел под обстрелом шлюпку с ранеными. Воздушная волна от разрыва снаряда выбросила Моисеева из шлюпки. Раненых понесло к вражескому берегу. Несколькими взмахами Моисеев догнал шлюпку, ухватился за киль и потащил ее к берегу. Он сам с трудом держался на воде, но сознание, что он спасает раненых товарищей, придавало ему силы. Одной рукой он греб, другой тянул за собой шлюпку. Дотянув ее наконец до более мелкого места, он вывел ее из обстреливаемой зоны.

Так сражались не только герои легендарного Ханко.

Можно написать героическую повесть о подвигах трех черноморцев, проявивших безумную отвагу и спокойный ум во время десантной операции у Новороссийска. Это был боевой расчет носового орудия катера «СК-025». Состоял он из командира орудия и парторга катера старшины 2-й статьи Константина Сапожникова, наводчика краснофлотца Василия Терехова и подносчика снарядов краснофлотца Виктора Алеева.

Катер их горел от кормы до носа. Но боевой расчет, невзирая на бушующее пламя, стрелял по врагу до последнего снаряда. Их считали погибшими. Но герои не погибли. Захватив гранаты, пулемет и наган, они прорвались сквозь пламя и бросились в воду. Вплавь они добрались до берега и влились в десант. Шесть дней они бились с врагом. Пробиваясь к своим, они уничтожили десять гитлеровцев и принесли с собой трофеи и ценные документы.

Смелость сочетается у наших моряков с находчивостью и смекалкой, с железной выдержкой и выносливостью. Матрос никогда не растеряется — ни во время шторма, ни в бою.

Славные традиции и боевые подвиги предков зажигают сердца потомков огнем былой славы, неустрашимости и презрения к смерти.

Защищая Черноморское побережье от вторжения оккупантов, краснофлотец Иван Прохоров побывал в небольшом селении Архипо-Осиповке. Там, почти у самого берега моря, он увидел старый небольшой чугунный памятник русскому солдату Архипу Осипову. Он узнал также, что здесь когда-то было укрепление, которое защищал небольшой отряд наших воинов. Однажды на это

укрепление напал вдесятеро сильнейший враг. Бой шел на уничтожение. Как львы, дрались русские воины, но подавляющая сила врага брала верх. Враг уже ликовал и стремился овладеть боеприпасами, которые хранились в пороховом погребе. В это время рядовой солдат Архип Осипов с факелом в руке вошел в пороховой погреб и взорвал его. Герой погиб, но вместе с ним взлетело на воздух все укрепление с тысячами наседающих врагов...

Подвиг Архипа Осипова поразил Ивана Прохорова бесстрашием и чистотой жертвы. Пламя, в котором взорвалось и сгорело сердце предка, воспламенило сердце потомка. В десантном отряде морской пехоты Прохоров шел на штурм Новороссийска. Он одним из первых ворвался в город и очищал от врага важнейшие опорные пункты. Но вот путь преграждает минное поле. Задержка в штурме могла дать врагу возможность оправиться и взорвать электростанцию, путь к которой преграждало минное поле.

— Ждать больше нельзя, товарищи,— твердо сказал Прохоров.— Саперы заняты, и нам их не дождаться. Я иду вперед, а вы дожидайтесь, когда взорвутся мины. Кто останется в живых, пусть передаст, что краснофлотец Иван Прохоров выполнил свой долг до конца...

Прохоров кинулся вперед. Через минуту раздался взрыв. Не теряя ни минуты, краснофлотцы устремились в коридор, проложенный в минном поле, и электростанция была взята.

Краснофлотец Черноморского флота Иван Прохоров выполнил свой долг до конца.

Бесчисленны подвиги русских матросов. Каждый шаг, каждое движение их говорит о львиной храбрости, самопожертвовании и неугасимой ненависти к врагу. Пренебрегая опасностью и презирая смерть, они несут врагу месть за разрушенные города и села, за кровь и слезы женщин, стариков и младенцев. Народы Советского Союза не забудут моряков-героев: на всех языках о них будут слагать богатырские былины и петь песни. Советские моряки будут жить в этих былинах и песнях неумирающими символами великой бескорыстной жертвы, любви к родине и безграничного стремления к ее счастью и свободе.

1943

ДАЖЕ СТАРИКИ ПОДНЯЛИСЬ

В Белоруссии на многие километры раскинулись дремучие леса, непроходимые болота и топи. Человек, впервые попавший в эти места, может заблудиться и погибнуть в непроходимых дебрях. А Никите Шешко эти урочища знакомы, как свой родной дом. Много лет работал он лесником и жил в деревне Гастино, Стародорожского района, Минской области. Зимой и летом, днем и ночью без компаса мог он пройти лесами и болотами. По солнцу, звездам, муравьиным кучам, ветвям деревьев он безошибочно определял, где юг и север, где восток и запад. Был знаком каждый звук и каждый запах лесных чащ.

Восемьдесят один год было Никите, когда началась война. Давно подготовившись к войне с Советским Союзом и вероломно напав на него, гитлеровцы продвигались вперед. Красная Армия отступала, сдерживая чудовищный натиск врага. Фашисты думали внезапным нападением разгромить советские войска и, стремительно пройдя Белоруссию и Смоленскую область, овладеть Москвой, но каждый километр приходилось брать с боя. Кровопролитные, упорные бои гремели в тихой Белоруссии. Один такой бой произошел около разъезда Верхучино, недалеко от деревни, где жил Шешко. Спустя день после боя Никита пришел на это место, увидал изрытую снарядами землю и на земле разбросанные немецкие и русские винтовки, гранаты, ящики с минами и патронами. Бой, как гроза, прошел этим местом и теперь громыхал где-то вдали. Увидав разбросанное оружие, Ни-

кита подумал: «А ведь это может пригодиться». Он подобрал несколько винтовок, отнес их в лес и спрятал, зарыв в муравьиную кучу. С того дня, пользуясь каждым удобным моментом, он подбирал винтовки, гранаты, ящики с минами и патронами. Однажды ему удалось унести и спрятать три пулемета. В муравьиных кучах, в лесных чащах, в болоте прятал Шешко вооружение и даже опускал его на дно реки возле берега, тщательно заметив место.

Гитлеровцы оккупировали Белоруссию, но война в ней не прекратилась: на место отошедшей Красной Армии встали отряды партизан. Они множились с каждым днем, не давая покоя врагу, они взрывали мосты, железнодорожные составы, нападали на гитлеровские гарнизоны. Трудно было захватчикам бороться с партизанами, которые в любой момент могли скрыться в лесах и болотах, куда враг не решался пойти. Нередки были случаи, когда партизаны отступали в бою и, заманив гитлеровцев в лес, внезапно окружали и истребляли их. В деревнях и селах фашисты следили за каждым человеком, никому не разрешалось выходить из деревни. Такое разрешение в деревне Гастино было дано только одному Никите Шешко, так как он по роду своей службы должен был обходить лес. Они даже строго наказали Никите: если он узнает, что в лесу прячутся партизаны, то немедленно должен сообщить об этом гитлеровскому командованию. И Никита искал партизан, но совсем для другой цели. Он хотел передать партизанам спрятанное им оружие. Однажды он наткнулся в лесу на двух парней. Они лежали под деревом, недоверчиво смотрели на старика, неохотно и скупо отвечали на его вопросы. Было заметно, что они не доверяли ему. Никита догадался, что это и есть партизаны. Долго пришлось разговаривать с ними Шешко, пока рассеялось у них недоверие. Через этих парней он связался с партизанским отрядом и передал ему три пулемета, сто пятьдесят винтовок, пятьдесят гранат и тридцать ящиков с минами и патронами. Эта была огромная помощь партизанскому отряду в борьбе с немецкими захватчиками. В Стародорожском районе чаще и чаще стали взлетать на воздух железнодорожные составы, чаще и успешнее совершались нападения партизан на гарнизоны и отдельные от-

ряды врагов. Но этого показалось мало Никите Шешко. Он вместе со своими двумя сыновьями покинул родной дом и ушел в партизанский отряд. Великолепно знающий лес и болота, он был у них разведчиком и вместе с ними совершал диверсии. Он пользовался среди них огромной любовью и уважением. Так воевал он несколько месяцев. Но трудно человеку восьмидесяти двух лет переносить партизанскую жизнь, и Никиту Шешко на самолете переправили в Москву. Правительство наградило его медалью «Партизану Отечественной войны» первой степени.

Сейчас Никита Шешко живет в Москве, но связь с партизанами не теряет: время от времени приходят ему письма из родных мест. Недавно он получил письмо от боевых своих товарищей. Командир партизанского отряда писал ему:

«Привет тебе от нашей партизанской бригады, которая часто вспоминает твое старание в деле вооружения наших партизан. Твое пожелание нам при отъезде — бить без пощады озверелых гитлеровцев — выполняем с честью. На днях они хотели ограбить крестьян деревни Глядовины и пришло их до 1 500 человек. Наша бригада вступила с ними в бой, который длился четыре часа. Не добившись своей цели, фашисты отступили, потеряв много убитыми и ранеными. Заверяем тебя, что данное нам тобою оружие оправдает твой труд. Привет тебе от всех партизан!»

Никита Шешко часто читает это письмо, которое вызывает в его памяти родные места и лица родных людей. И думает над этим листком бумаги старый Никита, что недалек тот день, когда враг будет окончательно разгромлен и он, Шешко, вернется на свою родину, где радостно встретят его любимые и близкие люди.

1944

К. М. СТАНЮКОВИЧ

За всю историю русского флота никогда не уделялось столько внимания и заботы морскому воспитанию молодежи, как теперь. Большое это государственное дело — растить кадры для мощного советского Военно-морского флота. В этом важном деле немалую роль играют и книги, воспитывающие наше юношество в духе любви к морю, к славному прошлому русского моряка, к неумирающим традициям русского боевого флота.

Среди таких книг на почетном месте — «Морские рассказы» К. М. Станюковича.

Прошло уже более ста лет со дня рождения их автора, а рассказы, полные свежести и молодости, по-прежнему восхищают наших юных читателей, пробуждают в них горячую любовь к морю, вдохновляют молодых советских моряков, всей своей жизнью связанных с флотом, бдительно охраняющим морские пути и берега нашей великой советской державы.

Интересна судьба писателя. Сыну влиятельного адмирала Константину Михайловичу Станюковичу предстояла блестящая карьера во флоте. Но прогрессивные веяния 60-х годов прошлого столетия увлекли его по иному пути: он стал писателем. Сотрудничал в газетах и журналах, в частности в журнале «Дело», руководителем которого был Н. Шелгунов; написал ряд романов («Без исхода», «Два брата», «Равнодушные», «Жрецы»), не представляющих большой художественной ценности, но характерных для прогрессивных взглядов писателя-семидесятника. За близость к народовольцам Станюко-

вич был арестован, а затем выслан в Томскую губернию. Здесь, в сибирской глуши, он начал писать свои знаменитые «Морские рассказы», показавшие нам, что любовь к морю, к русскому моряку навеки сохранилась в сердце писателя. Этой любовью согрета каждая строчка его рассказов.

«Морские рассказы» — лучшее в творчестве Станюковича. Это — замечательная картина жизни русского военно-морского флота 60—70-х годов прошлого столетия, написанная талантливо и правдиво. Перед читателем проходит целая галерея русских моряков, храбрых, мужественных, сильных духом, славных патриотов, горячо любящих свою родину, свой флот. Это не схематические наброски, а живые люди, суровые на вид «морские волки», в которых бьется доброе и любящее сердце. Описывая нравы, царившие тогда в военно-морском флоте, Станюкович в то же время убедительно показывал, что и в этой суровой школе вырастали замечательные характеры, люди строгих нравственных правил, храбрые и честные моряки. Гардемарины и мичманы, «грозные» и «беспокойные» капитаны и адмиралы—все те люди, которым были дороги славные традиции русского флота, честь мундира, достоинство русского офицера,— проходят перед нами в рассказах Станюковича.

С особенной любовью описывает писатель матросов— простых русских людей, отважных, мужественных, добрых и отзывчивых, людей большой нравственной силы, преданных родине и воинскому долгу. По существу, Станюкович впервые в русской литературе создал образ матроса — подлинного сына народа на родных морях. После Станюковича о русских моряках писали многие литераторы того времени: и Черномор, и Беломор, и лейтенант Свистунов, и барон Косинский, но никому из них не удалось по-настоящему раскрыть перед читателем душу русского моряка, его любовь к морю, к родному флоту.

Для меня в начале моей писательской деятельности «Морские рассказы» явились настоящим откровением. Я учился у Станюковича и его пониманию жизни моряка и тому теплому, любовному отношению к людям, которое так характерно для этого талантливого писателя. Помню, как любили матросы читать Станюковича и как

трудно было раньше во флотских библиотеках достать его рассказы. Только у офицеров можно было порой найти эти притягательные для нас книжки. Ведь они благотворно действовали на душу каждого моряка, а в особенности в дореформенную эпоху, когда во флоте царили весьма суровые нравы.

У Станюковича учился не только я, но учатся и сейчас наши молодые писатели-маринисты. А для советских моряков, посвятивших свою жизнь службе в родном флоте, его «Морские рассказы» особенно полезны. Они учат их любить море, свой корабль, славные традиции русского флота, свою великую родину.

Мне, ученику этого талантливого моряка-писателя, особенно радостно сознавать, что его рассказы не забыты, что их любят и ценят и юные и взрослые читатели. И сейчас, когда в беспощадной борьбе с врагом вновь ожили героические традиции русского флота, замечательные рассказы Станюковича о русских моряках становятся нам особенно близки и дороги.

1944

ПРИМЕЧАНИЯ

В пятый том собрания сочинений А. С. Новикова-Прибоя вошли незавершенные романы «Капитан 1-го ранга», «Два друга» и небольшая часть очерков и публицистических статей, напечатанных им в разные периоды жизни.

«Капитан 1-го ранга» — роман. Написан в Москве в 1936—1944 годах; работа над второй книгой романа была прервана смертью А. С. Новикова-Прибоя.

Первая книга романа опубликована в журнале «Знамя» № 10 за 1942 год; в 1943 году выпущена Гослитиздатом отдельным изданием.

Вторая книга была напечатана в журнале «Новый мир» №№ 6—7 и 8—9 за 1944 год. Обе книги романа вышли отдельным изданием в 1945 году в Дальгизе (Хабаровск), а в 1946 году включены в состав сборника А. С. Новикова-Прибоя «Избранное», выпущенного Гослитиздатом.

Замыслом романа о современном Красном флоте Новиков-Прибой впервые поделился с переводчицей своих произведений на французский язык Н. В. Трухановой, жившей в Париже. В письме от 30 сентября 1930 года он сообщил ей: «Побывал я на кораблях, поплавал, участвовал в маневрах в Балтийском море. Подготовляю материал к будущим работам. Когда кончу «Цусиму», возьмусь за изображение современного Красного флота» [1].

Подготовительной работой к роману «Капитан 1-го ранга» явилась статья Новикова-Прибоя «Новая страна, новые люди», опубликованная в газете «Правда» № 53(6299) от 23 февраля 1935 года. В ней давалось развернутое сопоставление военной службы на кораблях царского флота времен Цусимы и на кораблях Военно-Морского Красного флота. Автор статьи писал: «При Цусиме наша экспедиция потерпела небывалое поражение. Нас разгромили за отсталость, за бескультурье, за неподготовленность к войне, за неумелую организацию службы на кораблях, за отсутствие боевого управления эскадрой и за многие другие грехи импе-

---

[1] «Вопросы литературы» № 4, 1957, стр. 200.

рии... Что было тогда, мной без утайки рассказано в «Цусиме». А сейчас можно с уверенностью сказать, что жуткие картины ужасов этого величайшего в истории морского сражения не устрашат наших любимых бойцов Красной Армии. Что я вижу теперь? Я побывал во многих красноармейских частях, плавал и на кораблях Красного советского флота. Все изменилось коренным образом. Вместо прежней слепой субординации введена строгая, но сознательная и разумная дисциплина, вместо бессмысленной муштры красноармейцы и краснофлотцы вооружаются знаниями военной техники, готовятся по-настоящему постоять за свою социалистическую родину... И мне начинает казаться, что не 30 лет, а несколько веков отделяют меня от пережитого грозного боевого урока истории, пошатнувшего основы самодержавия».

В 1935 году Новиков-Прибой встретился с Петром Пучковым, бывшим вестовым адмирала Рожественского. Когда-то они первогодками плавали вместе на крейсере «Минин», а затем их дороги разошлись: матрос Алексей Новиков был списан на броненосец «Орел», а Петр Пучков участвовал в Цусимском сражении на броненосце «Суворов». В советские годы Пучков служил кондуктором на Октябрьской железной дороге. Дружески принятый в семье писателя, он частенько навещал его и рассказал ему много нового о «бешеном адмирале». Рассказанное показалось Алексею Силычу настолько значительным, что он для характеристики главного виновника цусимского поражения ввел в третью редакцию эпопеи — редакцию 1937 года — специальную главу под названием «Адмиральский вестовой». Эта глава является как бы первым фрагментом романа «Капитан 1-го ранга». Одаренность Пучкова и его мечта стать машинистом или минером стала основным звеном в характеристике центрального героя романа «Капитан 1-го ранга» — Захара Псалтырева. Назначение Пучкова в вестовые было таким же неожиданным, как оно изображено в романе. Можно отметить даже такое совпадение: когда Пучков был назначен вестовым к Рожественскому, тот состоял в чине капитана 1-го ранга. Наконец, в самой обрисовке семьи Рожественского есть некоторое сходство: Пучков скрывал от адмиральши любовные похождения ее мужа так же, как это делает Захар Псалтырев в отношении жены капитана Лезвина.

Беседы с Пучковым были очень важными для автора «Цусимы», и в том же 1935 году он написал планы двух рассказов под общим названием «Вестовые». Так как в этих конспектах были намечены многие события, вошедшие в роман, приведем их полностью по рукописи, хранящейся в архиве писателя[1].

> «Первый рассказ ведется от первого лица в форме разговора. Вестовой рассказывает, как барин (капитан 2-го ранга, пожилой человек) поручил ему следить за молодой женой. От барина он получал за это по два рубля лишних сверх жалованья. От любовника барыни, молодого мичмана, за каждое посещение по 20 копеек. Сама барыня, если свидание с

[1] Публикуется впервые.

любовником было удачным, награждала его тремя рублями. Доход шел с трех сторон.

Однажды вестовой пришел в экипаж весь избитый.

— Что случилось? — спросили мы.

— Накрыл барин мичмана. Ну и досталось же мне. Думал, убьет до смерти».

Эпизод этот, с усилением драматического и комического элемента, целиком вошел в роман. Перенесена также в роман заинтересованность и живейшее сочувствие матросов к судьбе своего товарища.

«Второй вестовой

Этот рассказ — в третьем лице. Описание наружности смекалистого вестового. Он быстро разбирался в военно-морском деле. Это был самородок. Если бы ему пришлось служить во времена Наполеона I, он был бы произведен в генералы.

Вестовой замечал все непорядки на корабле и сообщал об этом командиру. Командир отдавал приказ:

«Мною замечено, что минное дело у нас поставлено из рук вон плохо...»

Шло перечисление недочетов.

В заключение старший минный офицер получал выговор.

То же самое получал и старший артиллерийский офицер, старший штурман, старший механик. И никто не подозревал, что фактически управлял кораблем вестовой.

Этот командир был холостяк. Любил выпить сильно, но слыл за трезвенника. Он жил только с вестовым вдвоем. Причем вестовой по его распоряжению одевался во время таких «загулов» в командирскую форму. Оба, выпивая, называли друг друга по имени и отчеству. Критиковали адмиралов. Командир, напившись, приказывал:

— Раздевайся. Снимай с меня сапоги и т. д.

Однажды во время такой гулянки командиру стало дурно. Командир, хватаясь за друга, закричал:

— Сердце, сердце... Скорее доктора...

Вестовой, находясь под сильным хмелем, побежал в экипаж, забыв снять командирский мундир с эполетами. Конечно, ни один часовой, видя перед собой человека в офицерской форме, не мог задержать вестового. Прибежав к доктору, он крикнул:

— Ваше высокоблагородие! Мой барин умирает... Скорее... Скорее...

Доктор принял его за сумасшедшего. А когда выяснилось, что это матрос в офицерской форме, вестового арестовали. Пошли на квартиру командира. Тот лежал на полу мертвым.

Вестовой пошел под суд».

Работа над «Капитаном 1-го ранга» продвигалась успешно. В 1937 году «Литературная газета» (№ 15 (651) от 20 марта) опубликовала главу из романа — «Граф», в 1938 году журнал

«30 дней» (№ 5) напечатал новый отрывок из этой же книги — «Рассказ капитана». В 1938 году в газете «Красный флот» (№№ 12, 13 и 14 от 26—28 февраля и 1 марта) был дан в трех номерах подряд большой фрагмент романа о встрече рассказчика с Захаром Псалтыревым во время его службы на учебном корабле.

В 1939 году Комитет по делам кинематографии заказал А. С. Новикову-Прибою совместно с писателем А. В. Перегудовым литературный сценарий комедии «Настоящие моряки». Сценарий был закончен незадолго до Великой Отечественной войны, но в производство так и не был пущен. «Настоящие моряки» — это веселая комедия, напоминающая повесть Новикова-Прибоя «Ералашный рейс», но значительно усложненная. Работая над сценарием, Новиков-Прибой и Перегудов длительное время находились на военных кораблях. Это помогло автору «Капитана 1-го ранга» в работе над второй книгой романа.

Первая книга «Капитана 1-го ранга» имеет две редакции: журнальную и редакцию издания 1943 года. Во второй редакции книга делится на 18 глав вместо 16, напечатанных в журнале: введена новая глава о посещении Псалтыревым Андреевского собора в Кронштадте; кроме того, автор разделил XI главу романа на две самостоятельные главы, а в XIII главу ввел эпизод с сигнальщиком Хлудовым.

Главы I, II, VI, VII, VIII, XIV, XVI дополнены во второй редакции новыми эпизодами из деревенской и матросской жизни Захара Псалтырева. В VIII главу введена сказка о «Правде и Кривде», в символической форме выражающая народную уверенность в конечном торжестве справедливости на земле. Значительно изменена сказка Захара Псалтырева о встрече «на том свете» двух душ — царя и крестьянина-бедняка. Автор произвел также и стилистическую правку текста.

Роман «Капитан 1-го ранга» не был завершен. Тем важнее свидетельство А. В. Перегудова, который в своей «Повести о писателе и друге» сообщает примерное содержание заключительных глав, рассказанных ему Новиковым-Прибоем: «В «Капитане 1-го ранга» не нужно говорить о военных действиях, о подвигах моряков,— это увело бы меня далеко в сторону, нарушило бы композицию романа. Об этом нужно писать в новом, самостоятельном произведении. Сейчас передо мной стоит такая задача: не говоря о военных действиях на море, показать твердую уверенность советских моряков в победе. Как это сделать? Я много думал об этом, и пока лучшим мне кажется такой вариант конца романа. Война началась, война идет. На линкоре, которым командует капитан 1-го ранга, все в боевой готовности. И вот капитан получает какое-то боевое задание. Линкор снимается с якоря. По тому, как ведут себя в это время моряки, по их непоколебимой уверенности в том, что задание они выполнят, читатель поймет: враг будет побежден...» [1].

В послевоенные годы Таллинская киностудия по мотивам ро-

---

[1] Александр Перегудов «Повесть о писателе и друге». Военное издательство Министерства обороны СССР, М.-Л., 1953, стр. 215—216.

мана «Капитан 1-го ранга» создала широкоэкранный фильм под тем же названием.

В настоящем издании роман печатается по текстам: «Капитан 1-го ранга» (часть первая), Гослитиздат, 1943, и «Капитан 1-го ранга» (часть вторая), журнал «Новый мир», 1944.

«Два друга» — отрывки из романа. В архиве писателя хранится машинописный оригинал этого незаконченного романа. Он состоит из 13 глав.

Роман «Два друга» является как бы продолжением цикла охотничьих рассказов, написанных А. С. Новиковым-Прибоем в 1919—1924 годах (рассказы «На медведя», «Среди топи», «Речная Клеопатра» и др.). Роман оформлялся как собрание отдельных рассказов, объединенных одними и теми же героями — художником Басыгиным и его «четвероногим другом» Задором. В 1928 году, когда были найдены материалы о Цусимском сражении, А. С. Новиков-Прибой прервал свой труд над романом «Два друга». Он мечтал вернуться к нему по окончании «Цусимы», но работа над «Капитаном 1-го ранга» не позволила ему осуществить свой замысел.

Некоторые главы романа были опубликованы при жизни писателя: в журнале «Земля Советская» № 2 за 1929 год была напечатана в качестве самостоятельного рассказа вторая глава романа — «В разлуке»; в сборнике охотничьих рассказов «По полям и лесам» (изд. «Советский писатель», М., 1937) — рассказы «Жизнь изменилась» («В разлуке»), «Клок шерсти» и «Птичья мать»).

В 1948 году Ярославское областное издательство выпустило книгу А. С. Новикова-Прибоя «Два друга» с подзаголовком «Из неопубликованных рассказов». В книгу вошли четыре фрагмента незаконченного романа («Радостное приобретение», «В разлуке», «У нового хозяина», «Клок шерсти») и обращение сына писателя, Игоря Новикова, «К читателю этой книги», кратко излагающее творческую историю романа «Два друга».

С незначительными сокращениями отрывки из романа «Два друга» были опубликованы в 1958 году в альманахе «Охотничьи просторы» №№ 9 и 10.

В настоящем издании роман печатается по рукописи, хранящейся в архиве писателя.

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ

К очерку и публицистической статье А. С. Новиков-Прибой обращался на всех этапах своей жизни. Особенно часто писатель выступал с публицистическими статьями в 30-е годы и в период Великой Отечественной войны. В настоящем томе печатается лишь незначительная часть очерков и статей Новикова-Прибоя.

«Мой путь» — автобиографический очерк, опубликован в «Литературной газете» № 15(651) от 20 марта 1937 года.

«Мой путь» — четвертая автобиография, написанная А. С. Новиковым-Прибоем. Первая, самая краткая, кончавшаяся годами

эмиграции, была им написана в Лондоне в июле 1909 года по просьбе Н. А. Рубакина и была выслана адресату в специальном письме, хранящемся в рубакинском фонде Библиотеки имени В. И. Ленина в Москве. Она была опубликована в журнале «Вопросы литературы» № 4 за 1957 год, стр. 193—195. Вторая автобиография была помещена в сборнике «Писатели» (автобиографии и портреты современных русских прозаиков), выпущенном в 1926 году издательством «Современные проблемы». Автобиография в основном содержала перечень наиболее важных событий в жизни Алексея Силыча. Третья автобиография, более развернутая, была напечатана в первом томе собрания сочинений, выпущенного издательством «Пролетарий» (Харьков) в 1926 году, и повторялась во всех изданиях Зифовского собрания сочинений.

Автобиография «Мой путь» была написана в связи с исполнявшимся 24 марта 1937 года 60-летием со дня рождения писателя.

«Кто научил меня». Статья была опубликована в газете «Читатель и писатель» № 20 за 1928 год от 19 мая.

«Флагман советской литературы». Статья посвящена памяти А. М. Горького, опубликована в «Литературной газете» № 36 (599) от 26 июня 1936 года.

«Счет литераторам». Опубликована в газете «Водный транспорт» № 89 (1177) от 2 июля 1936 года.

«Русские женщины». Опубликована в газете «Вечерняя Москва» № 237 (5368) от 7 октября 1941 года под названием «Наши женщины». Эта статья — один из первых публицистических откликов А. С. Новикова-Прибоя на события Великой Отечественной войны.

«Моряки в боях». Опубликована в газете «Вечерняя Москва» № 25 (5466) от 31 января 1942 года.

«Русский матрос». Опубликована в газете «Красный флот» № 308 (1566) от 30 декабря 1943 года.

«Даже старики поднялись». Опубликована под названием «Партизан Никита Шешко» в газете «Вечерняя Москва» № 4 (6061) от 5 января 1944 года.

«К. М. Станюкович». Опубликована в газете «Вечерняя Москва» № 79 (6136) от 3 апреля 1944 года. Написана к 100-летию со дня рождения К. М. Станюковича. Эта статья была последней работой А. С. Новикова-Прибоя.

Статьи «Перед лицом врага», «Мы победим», «Родина» были написаны для радио. Точная дата написания их не установлена.

Статьи и очерки печатаются по рукописям, хранящимся в архиве писателя.

В. Красильников

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ к 1—5 тт. СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ А. С. НОВИКОВА-ПРИБОЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Индекс 70644

Собрание сочинений в 5 томах.
А. С. Новиков-Прибой.
Том 5.

Редактор
К. Платонова.

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.

Оформление художника
Р Алеева.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 27/II. Тираж 350 000 экз.
Изд. № 193. Зак. 3582. Форм. бум. 84×108 1/32.
Бум. л. 5,56. Печ. л. 18,25+4 вкл. (0,41 печ. л.).
Уч.-изд. л. 18,77. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.

